

БЕГСТВО СО СВЕТЛОГО БЕРЕГА

Айви ЛОУ-ЛИТВИНОВА

Айви ЛОУ-ЛИТВИНОВА

БЕГСТВО СО СВЕТЛОГО БЕРЕГА



Айви ЛОУ-ЛИТВИНОВА

БЕГСТВО СО СВЕТЛОГО БЕРЕГА

АЙВИ ЛОУ-ЛИТВИНОВА



Aivi Lou-Litvinova

БЕГСТВО СО СВЕТЛОГО БЕРЕГА

Перевод с английского М.Г. Лебедева

МОСКВА
Общество «Мемориал» –
Издательство «Звенья»
2012

ББК 83.3
Л81

Издательская программа Общества «Мемориал»

Редакционная коллегия

**А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова,
Т.И.Касаткина, М.М.Кораллов, Н.Г.Охотин,
Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский (председатель)**

**Издание осуществлено
стараниями семьи Литвиновых**

ISBN 5-7870-0113-6

©Наследники А.В.Лоу-Литвиновой, 2012
©М.Г.Лебедев, предисловие, 2012
©Д.А.Сенчагов, оформление, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хотелось бы, чтобы издание книги, которую держит в руках читатель, было первым шагом на пути возвращения русского писателя в русскую литературу.

Такое пожелание может показаться парадоксальным. Этот сборник рассказов переведен с английского, а для их автора – Айви Лоу-Литвиновой – английский язык был не просто родным языком, нет, гораздо более, он был ее прибежищем в той ситуации, которую ее биограф Дж. Карсуэлл назвал коротким словом *Exile*. Так он озаглавил ее жизнеописание, и именно тем, что означает это емкое слово (то есть *Изгнание* или *Ссылка* – и что из этого легче?), было для А.Л. ее долгое пребывание в *советской* стране. Ей она всегда оставалась чуждой, и эта чуждость, отстраненность не может остаться незамеченной в книге.

А все могло сложиться по-иному. Уже к двадцати пяти годам А.Л., выросшая в средней британской семье, была автором двух романов – *Growing Pains*¹ (1913) и *The Questing Beast*² (1915). Британская литература во все времена была богата женскими именами. Вспомнить ли чудных писательниц XIX века – Джейн Остин, чьи, казалось бы, старомодные романы пользуются столь нежданной популярностью в наше время; Мэри Шелли, давшую жизнь Франкенштей-

¹ «Болезни роста».

² «Зверь рыщущий».

ну; так непохожих друг на друга сестер Бронте... А устремившись – вместе с А.Л. – в более отдаленное прошлое, мы увидим, как она (или ее героиня) работает над книгой под названием *Двадцать девять женских имен в литературе* (рассказ «*Прощание с дачей*»). Возвращаясь в более близкое время, мы не можем не вспомнить Вирджинию Вулф на грани XIX и XX веков, и в еще более близкое время Берил Бейнбридж, Фэй Уэлдон и Ребекку Уэст. К этой когорте могла бы принадлежать и А.Л., если бы... если бы не случилась встреча, перевернувшая ее жизнь, встреча, после которой говорят «...и для любви хочу пожертвовать судьбою»³.

Встреча была с русским революционером Максимом Литвиновым, чье имя она вскоре стала носить. И в 1918 году, с двумя детьми на руках, она отправилась вслед за ним в эту дальнюю страну, объятую безумием революции. Шок, видимо, был силен, настолько силен, что вызвал многолетнюю немоту – не физическую, а писательскую. Для писателя, впрочем, иметь изо дня в день перед глазами белый лист, на котором не появляется ни строчки, ни буквы, – пытка, может быть, худшая, чем невозможность произнести слово...

Последовавшее исцеление можно назвать анекдотическим. В 1924 году, после смерти В.Ленина, советское правительство пригласило в Москву немецкого профессора Фохта для исследования мозга покойного (что они там надеялись отыскать?⁴). Фохт поселился в том же здании на

³ Строка одного из «Стихотворений Елены Дариани» – тоже женское сочинение... хотя в действительности эти стихотворения сочинены мужчиной – прекрасным грузинским поэтом Паоло Яшвили (пер. Тристана Мачабели).

⁴ Некоторые сведения об этом недавно были опубликованы на сайте <http://www.diletant.ru/interview/19702/>

Софийской набережной, что и семья Литвиновых (впоследствии дом этот долгие годы занимало британское посольство – сколько совпадений!). Разговорившись с профессором, А.Л. рассказала ему о своих бедах, а тот предложил помочь делу... сеансом гипноза!

И гипноз помог! А.Л. взялась за перо и написала первый русский детективный роман *His Master's Voice* («Голос его хозяйина»), выпущенный в Англии издательством *Heinemann* в 1930 году. И в эти же примерно годы на родине А.Л. рождается из-под пера одной молодой писательницы образ великого детектива Эркюля Пуаро, так что мы могли бы поставить А.Л. еще в один ряд – вместе с Агатой Кристи, Нгайо Марш, Ф.Д.Джеймс. Но «Голос» остался единственным опытом А.Л. в этом жанре. Будем надеяться, что и этот роман в свое время дойдет до российского читателя. Современному любителю детективов, привыкшему к острым поворотам сюжета и в дурном смысле слова «психологизму», роман А.Л. может показаться пресным. Что ж, в этом, может быть, его прелесть, как и в описании давно исчезнувшего быта Москвы двадцатых годов XX века.

Все же одного сеанса проф. Фохта явно не хватило: новых книг А.Л. писать не стала. Она много переводила на английский язык – Чехова, Достоевского, Тургенева, она писала учебники, составляла словари (ее Русско-английский словарь лежит сейчас передо мной – восьмое издание, вышедшее в свет в 1989 году; может быть, были и позднейшие).

Человека со сколько-нибудь сложной судьбой рано или поздно одолевает соблазн подвести некоторый итог в форме автобиографии. Этому соблазну не избежала и А.Л., но сделала она это очень по-своему. Короткие заметки на разные темы, множество записей, наговоренных на магнито-

фонную ленту⁵, легли в основу того, что она назвала изобретенным ею словом *Sorterbiography* (а по любви к словам и игре ими А.Л. не уступала другому русско-английскому и англо-русскому писателю, нашему соотечественнику Владимиру Набокову – их судьбы словно отразили друг друга в зеркале, хотя, быть может, и с неровной поверхностью).

Так что же такое *sorter*? В словаре найдете *сортировщик*; возможно, и этот смысл имелся в виду – сортирование событий и людей. Но в собственном языке А.Л. слово *sorter* происходило еще и от французского *sortie*, слова, вошедшего, впрочем, и в английский язык и означающего *выход наружу*. Для нее это слово превратилось в термин из любимой ею игры в бридж. Как и в одной версии преферанса, в бридж играют вчетвером, но при каждой сдаче карт в игре принимают участие лишь трое. Четвертый не участвует – он есть *dummy* (болван) или, как назвала его А.Л., *sorter* (выходящий). Его взгляд на игру – взгляд со стороны. Таким и был взгляд А.Л., взгляд отстраненный, но не безучастный, ибо в бридж играют парами, и, не имея возможности вмешаться в игру, *sorter* с трепетом следит за игрой партнера. Кто был партнером А.Л., об этом чуть ниже.

Нельзя не иметь в виду еще один «смысл» этого загадочного слова. *Sorter* – тот, кто выходит, уходит, и так вправе именовать себя каждый человек, стоящий на пороге, разделяющем жизнь и небытие. *Sorterbiography* – это биография человека, расстающегося с жизнью и кидающего на нее прощальный взгляд.

Но и это не все. Благодаря созвучию имеем *Sorterbiography* = *sort of biography*, то есть «нечто вроде биографии»

⁵ Эти материалы хранятся в виде 15 ms boxes (?) в Архивах Гуверовского института Стэнфордского университета и еще ждут своего исследователя.

или, употребляя современный российский жаргон, «типа биография».

Чем же должна была быть такая «типа биография»? Казалось бы, биография человека, принадлежавшего, пусть формально, к советской элите, супруги наркома иностранных дел и посла СССР в Вашингтоне в годы Второй мировой войны, должна была содержать главы *типа* «Мои встречи со Сталиным... Троцким... Рузвельтом...» Это вызвало бы всеобщий интерес и подняло рыночную стоимость книги.

Ничего подобного! Ничего подобного не было написано. В мемуарах постоянная борьба шла между реальностью вымысла и реальной реальностью, и первая – более сильная – победила. Из биографии выделился сборник рассказов, тот самый, что держит в руках читатель. И в этих рассказах А.Л., отстраненная, вышедшая из игры, показала, за чьей игрой она следит, кому сочувствует, на чьей она стороне. При этом чуждость «советскости» вовсе не вылилась в чуждость России, чуждость простым людям, рядом с которыми она жила, дышала одним воздухом, вместе страдала (как, впрочем, и людям ее родной Британии). И недаром юная героиня рассказа «*В страховой компании*», читая «Накануне» Тургенева, думает о России и воображает себя в этой далекой стране. Быть может, замечает ее мать, «сейчас какая-нибудь русская девушка лежит в степи и читает "Ярмарку тщеславия"». Две судьбы, две страны, два языка неразрывно переплелись в творчестве А.Л.

Итак, сборник, состоящий из пятнадцати рассказов. Уместнее всего охарактеризовать его, прибегнув к термину, придуманному Андреем Битовым, – «роман-пунктир». Пунктиром намеченная история жизни, и не только своей, но и нескольких поколений. В одном из рассказов первой,

«английской», части сборника речь идет об Англо-бурской войне как о событии, которому еще предстоит случиться, и даже в не очень скором будущем («...паренек, остановившийся у ограды, отделился от нее и, насвистывая, продолжал свой путь. Он подумал, что, пока он жив, никогда не забыть ему этих глаз; он не знал, что в это самое время генералы в Уайтхолле уже составляют планы, в которые входит смерть тысяч насвистывающих паренков, и ему самому осталось жить не больше четырех лет»). Кто нынче помнит эту войну? Несколько строчек в энциклопедии говорят, что она велась между Британской империей (это была ее последняя и самая кровопролитная колониальная война) и двумя южноафриканскими государствами – Оранжевой республикой и Трансваалем – с 11 октября 1899 года по 31 мая 1902-го и что именно в ходе этой войны было опробовано такое изобретение, как концентрационные лагеря, и появился сам термин. Итак, упомянутый эпизод происходит в конце XIX века. Но, продолжая пунктир вместе с автором, мы углубимся во времени и до середины того же века, встретив упоминание об «увеличенных фотографиях доблестных офицеров дяди Фреда и дяди Дика, чьи кости лежат на офицерском кладбище в Севастополе». Это уже Крымская война – печальный эпизод в общей истории России и Британии.

Последние, «русские» рассказы сборника датированы семидесятыми годами XX века, но эта датировка не налагает на них временной рамки. Хотя описываемые события и происходят где-то в шестидесятые годы, на них падает тень тогда еще недавнего прошлого – ГУЛАГа, раскулачивания, сталинизма (рассказы «*Апартеид*», «*Бегство со Светлого Берега*», «*Где ты была сегодня, киска?*»). Это прошлое вторгается и в нашу жизнь, чему свидетельством хотя бы

нескончаемые споры о сталинизме и Сталине, ведущиеся в наше время. И потому пунктир, начатый А.Л. в середине позапрошлого века, длится – может быть, к несчастью – даже до сего дня. Трудно не вспомнить слова Александра Блока: «Коротенький обрывок рода / Два-три звена, – и уж ясны / Заветы темной старины».

Итак, сборник распадается на три части. Первая, «английская», часть предельно автобиографична и описывает жизнь и взросление героини от самого пробуждения сознания до момента, когда она устремляется в Россию 1917 года за своим возлюбленным, русским политэмигрантом, услышавшим «набат революции». Один из рассказов этой части описывает второе замужество матери героини и, в соответствии с нелегким ее выбором между двумя претендентами, назван *She knew she was right*, то есть «Она знала, что не ошиблась». Заглавие рассказа А.Л. позаимствовала у своего любимого писателя Энтони Троллопа, заменив лишь местоимение *he* на *she*. Подобные вещи очень в ее стиле. Как сказано выше, реальность литературного вымысла была для А.Л. равна реальной реальности, а потому и вся книга пронизана литературными реминесценциями, и заглавия многих рассказов представляют собой цитаты – из того же Троллопа и из английской народной песенки, из Шекспира и из Виктора Гюго.

В английском издании весь сборник получил имя вышеупомянутого рассказа. Издавая книгу на русском языке, мы сочли возможным дать ей название, связанное с «русской» частью сборника, – «Бегство со Светлого Берега». Светлый Берег – название морского курорта, но два рассказа, действие которых происходит в этом, казалось бы, идиллическом месте, пронизаны грустью и печалью и говорят о крушении надежд, так что в конце концов кажет-

ся вполне естественным вопрос, поставленный одной из героинь: «А кто счастлив в этой жизни?» Вся жизнь А.Л. стала бегством из этого «рая», и в этом она разделила судьбу ставшей ей родиной России, все существование которой в двадцатом веке было бегством со светлого берега утопии. И сейчас, когда эта попытка к бегству вроде бы и удалась, она (Россия) все еще с тоской вглядывается в прошлое, как бы раздумывая, стоило ли вообще куда-то бежать.

Так или иначе, прощание А.Л. с Россией произошло. Последняя фраза последнего рассказа «русской» части сборника *«Прощание с дачей»* произнесена по-русски, и в ней звучит подлинное имя автора: «До свиданья, Айви Вальтеровна».

Третья часть сборника вновь «английская» и соответствует возвращению А.Л. на закате жизни (в семидесятые годы) в родную Британию. Пунктир, начатый в Лондоне, описав круг или более замысловатую кривую, вернулся к исходной точке. Но, вернувшись на родину, А.Л. не отрясла, как прах с ног своих, Россию и русский опыт. Воспоминания о России присутствуют в рассказе *«Да, это Даниил»* и, еще поразительней, в рассказе *«Асфодели в саду»*, где о России нет ни слова. В этом рассказе, описывающем один день из жизни женщины на склоне лет, в которой нельзя не узнать автора, легко узнаваемы и другие члены семьи Литвиновых (для тех, кто их знал, конечно), вплоть до собачки Тяпы, выступающей в рассказе под кличкой Вогс (под своим истинным именем она появляется в рассказе *«Прощание с дачей»*). Это узнавание можно уподобить наводке на резкость в старых пленочных фотоаппаратах «лейка», которыми все снимали во времена, описываемые в рассказах А.Л., а сейчас кто снимает? Вращение объектива в таких аппаратах совмещает два изображения и создает

одно, резкое. Но в рассказе, о котором идет речь, изображение остается слегка расфокусированным и после описанной процедуры. Амабель, героиня рассказа, вспоминая о поездках в Женеву во времена своей молодости, говорит, что не хотела в очередной раз пускаться в путь в этот город. Тем вызывая удивление окружающих: «как?.. не хотите поехать в Женеву?..» Подобное удивление, даже изумление, было бы вполне характерно для обитателей советской России, заключенных на своем светлом берегу, но вряд ли типично для британца, да, к счастью, и для гражданина современной России.

Итак, пунктир, начатый в Лондоне, там же и окончился. А пунктирный путь, начатый в первом, «детском», рассказе сборника, заканчивается в последнем его рассказе – смертью одинокой, почти никому не нужной старухи. Но этот конец отсылает вновь к началу, ибо особенно сильно звучит здесь тема (она присутствует и в ряде других рассказов) неприятия смерти ребенком. «Почему она умерла? – яростно вопрошает маленькая девочка, подружившаяся с ушедшей из жизни старухой. – Я не хочу, чтобы она умирала». В этих последних словах последнего рассказа сборника, быть может, и сконцентрирована его главная тема – неприятие смерти, отдельного ли человека, духовной ли гибели целой страны, общества, неприятие смерти и ее преодоление – чем? может быть, творчеством?

Остается лишь сухо добавить, что Айви Лоу-Литвинова писала свои рассказы в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века. По мере их написания они публиковались американским литературным журналом *New Yorker*. Впоследствии они составили сборник, неоднократно переиздававшийся различными издательствами Великобритании и США. В 1989 году издательство *Suhrkamp*

в Германии издало сборник в переводе на немецкий (под названием *Ein Fall von Liebe*). И только на второй родине А.Л. ее творчество остается по сей день неизвестным, почему и хочется вернуться к началу нашего предисловия и еще раз пожелать, чтобы издание этой книги было первым шагом на пути издание русского писателя в русскую литературу.

М. Лебедев



Айви в детстве



В 1910-е годы



С мужем М.М. Литвиновым

НЕ СЕГОДНЯ, ТАК ЗАВТРА

Было слово Кембридж, а в имени этом были и другие имена. Сначала это были только мамочка, и папочка, и Элиза, а потом появилась Дорис, и Эйлин пришлось ходить рядом с коляской. Когда Дорис научилась сидеть, в коляске появилось место и для Эйлин, но Элиза сказала, что она не хочет сажать ее туда, потому что девочки так странно смотрят друг на друга. «Как это, странно?» – спросила мамочка, а Элиза сказала: «Как будто только и ждут случая, чтобы вцепиться друг в друга». И еще были улицы, а на них дома, и у некоторых такие высокие стены, что Элиза шла по самой дороге, а Эйлин шла впереди, и однажды она упала на колесо коляски, в том месте, где резина оторвалась, и теперь посредине левой брови у Эйлин было лысое местечко, потому что, сказала Элиза, волосы не растут поверх шрама. Много, много лет спустя, когда Эйлин выросла, люди, взглянув ей в лицо с близкого расстояния, иногда спрашивали: «Откуда у вас этот шрам, дорогая?» – но по большей части никто ничего не замечал.

Потом появилась Би. Би вроде бы значило *бэби*, но это было и ее имя, сокращенное от Биатрис, и теперь Эйлин и Дорис шли на прогулке по обе стороны от коляски. И Элиза толкала коляску правой рукой, а левую давала держать одной из девочек. Вообще-то ни Эйлин, ни Дорис не любили ходить с Элизой за руку, но ни та, ни другая не хотели, чтобы руку держала ее сестра, потому что та начинала скакать и прыгать, напевая: «Тили-тили-тесто, потеряла место».

Девочки слышали, как вечером мамочка говорила об этом папочке. Она сказала: «Как ты думаешь, как быть, если взрослая женщина учит детей быть злобными?» И папочка вздохнул и сказал, что да, надо что-то сделать, а мамочка вздохнула и сказала: «Да, но что?» А после Дорис спросила у Эйлин: «Откуда она знает?» А Эйлин сказала: «Откуда я знаю, откуда она узнала?» Но она знала, потому что она-то и рассказала обо всем мамочке.

О папочке в Кембридже Эйлин помнила три вещи, а знала она, что это случилось в Кембридже, потому что только там она спала в комнате с мамочкой и папочкой; когда они уехали из Кембриджа, ей пришлось спать в детской. Там тоже случались ужасные вещи, но они были ужасны по-другому.

Однажды она проснулась рано утром и попросилась на горшок, и мамочка подскочила в другом углу комнаты, где они спали с папочкой в большущей, просто огромной кровати с маленькими колокольчиками, звеневшими иногда по ночам, но, когда подойдешь к ним днем, их там не было, а были только маленькие шишечки, а папочка говорил: «Каждый день я закрепляю эти чертовы штуки, а они всё звякают». И мамочка посадила Эйлин на горшок, и дала ей сухарь, и снова положила в постель, и ушла к себе, и сухарь весь раскрошился, пока Эйлин грызла его, и она пыталась подобрать крошки и съесть их, но самые мелкие крошки остались и кололи ей спину, и она заплакала, и мамочка пришла и подняла ее и посадила на край кровати, пока она сметала крошки, и положила ее снова и сказала: «Ну что же, заснешь ты, наконец, и дашь мамочке хоть минуту покоя?» Но две крошки остались на простыне и кололи пятку Эйлин, и она снова заплакала. На этот раз мамочка не встала, и Эйлин услышала, как она говорит папочке: «Что делать с маленькой девочкой, которая не дает спать бедной мамочке?» А папочка сказал тихим сонным голосом: «Ну так отшлепай

ее». После этого в комнате стало очень тихо. Эйлин не могла даже плакать, она чувствовала, как сжимается в тугий маленький комочек. Это была самая ужасная вещь из всех, что случались с ней раньше, потому что она знала, что папочка всегда на ее стороне, а тут он сказал: «Отшлепай ее».

Вторая ужасная вещь сначала причинила ей сильную боль, но кончилось все совсем не ужасно, а очень приятно. Элиза уже повязала Эйлин салфетку перед обедом, но потом вышла из комнаты, а Эйлин встала на диван, чтобы лучше разглядеть картинку, на которой котенок играл с клубком шерсти, а картинка упала на покрывало, и Эйлин села и попыталась вставить маленький гвоздик, на который был намотан моток бечевки, в маленькую дырочку в рамке, но он там никак не держался, и тогда Эйлин стала наматывать бечевку вокруг среднего пальца, и бечевка сжимала ей палец все туже и туже, а Эйлин уже не могла размотать ее обратно, потому что гвоздик врезался в моток и зацепился там. И ее палец онемел, а за ним вся ладонь, и она заревела, и в комнату вбежал папочка, размотал бечевку, и поцеловал ее пальчик, и взял ее онемевшую руку в свои громадные теплые ладони, и держал ее так и тер, пока она не потеплела.

Третья ужасная вещь случилась, когда Элиза увела ее от Дорис, с которой они играли в картинки на полу в детской, умыла ей лицо и одела ее в белое шелковое платье с голубым поясом, а папочка посадил ее в экипаж, и они поехали, а потом лошадь остановилась, и они вышли и вошли в какой-то дом, поднялись по лестнице в темную комнату, в которой было множество детей, и дяди и тети, все без лиц. Все как будто старались держаться поближе к окну, и папочка с Эйлин тоже. И из-за окна послышался шум, у-у-у и э-э-э, и когда Эйлин взглянула, она увидела, как мир за окном рассыпался на крошечные цветные кусочки, темно-красные и темно-синие, оранжевые и зеленые. Эйлин вскрикнула и

вцепилась папочке в ногу. Потом за окном стало совсем темно, и острая боль страха внутри Эйлин утихла, но тут снова раздалось у-у и э-э-э, и снова тьма рассыпалась на миллионы цветных осколков. Эйлин закричала так сильно, что папочке пришлось протиснуться с ней сквозь толпу к выходу и спуститься вниз и посадить ее в ожидавший их кэб.

И теперь уже за окошком не было ничего, кроме приятной, редкой почти-темноты, и белых домов, и лучей бледного света от уличных ламп. Эйлин перестала плакать и прислонилась к папочке, а он только сказал: «Бедная девочка, она напугалась», и вытер ей лицо своим носовым платком, от которого так утешительно пахло трубкой.

Дома Эйлин с виноватым видом стояла между мамочкой и папочкой, который рассказывал всю историю. Мамочка взяла лицо Эйлин в свои холодные ладони и сказала:

– Надеюсь, она не вырастет трусихой.

И была еще одна вещь, которая запомнилась в Кембридже, но она была вовсе не страшная, а приятная. Однажды днем, когда Элиза уложила ее поспать после обеда, а она села в кровати, кто-то тихо вошел в комнату, и она не успела лечь снова. Сидеть в постели было гадким поступком, тем более что Эйлин не просто сидела, она натянула одеяло на голову и смотрела наружу сквозь крошечные простроченные дырочки. И тогда этот кто-то сел на край ее кровати, а это еще одна вещь, Которую Нельзя Делать, и под одеяло просунулась голова и прислонилась к головке Эйлин, и щека была чуть-чуть колючая, но, все равно, она была такая чудесная. «Что ты тут делаешь, котенок?» – спросил он. Эйлин поднесла кончик пальца к пятнышку света, а потом убрала его и сказала «они мигают», сказала хриплым голосом, потому что под одеялом было жарко и душно. «О, – сказал папочка, – звездочка!» Ах, папочка, ах, звездочки! И, ах, папочка, и Эйлин в теплой душевной темноте, и звезды кругом и над ними.

И еще в Кембридже был Фоллоу. Фоллоу был огромный пес у лавки мясника, и он позволял папочке посадить Эйлин себе на спину, у самой своей тяжелой головы, и ждал, пока она зароется обеими руками в его густую шерсть, а потом вставал на свои сильные короткие лапы и ходил взад и вперед перед лавкой. И Эйлин говорила: «Не держи меня, я не упаду», но папочка всегда шел с ними рядом, приставив руку к ее спине. И папочка водил Эйлин кататься на Фоллоу каждый день. А однажды, когда у Эйлин была корь, мясник разрешил папочке привести Фоллоу к ним домой, и пес положил подбородок ей на колени, а Элиза рассердилась, потому что он напустил немного слюны на юбочку, которую она специально выстирала и накрахмалила для доктора. А вот Дорис боялась Фоллоу.

Однажды у дверей их дома остановился экипаж, запряженный очень худой лошадейю с поникшей головой. Папочка засунул большой чемодан под сиденье и поставил маленький сундучок на пол экипажа, чтобы Эйлин и Дорис могли поставить на него ноги; он поднял их и усадил в экипаж, потом помог войти мамочке и вошел сам, и экипаж двинулся и загромыхал по мостовой, и они знали, что едут на станцию и будут жить в Лондоне, и когда экипаж покатился и завернул за угол улицы, Эйлин и Дорис обменялись многозначительными взглядами. Не было Би. Но когда они приехали на станцию и экипаж остановился, папочка вышел и высадил Эйлин и Дорис на мостовую, а там стояла Элиза и улыбалась в коляску. А мамочка сказала «Дай ее мне» и держала Би на руках всю дорогу до Лондона. Эйлин и Дорис взглянули друг на друга и отвернулись.

Дорис ничего не помнила о Кембридже, кроме отъезда. Она была уверена, что бэби была с ними всегда, и, уж конечно, она не верила, что когда-то не было и самой Дорис. И она даже не помнила Фоллоу, но это, конечно, потому, что она его боялась.

В Лондоне детская спальня была на верхнем этаже, и там на полу не было никакого ковра, только линолеум, а дневная детская была в самом низу, и девочки могли смотреть оттуда на улицу, и там на другой стороне тоже был тротуар и дома с железными оградами, и можно было открыть маленькую железную калитку и спуститься по железным ступенькам к задней двери, а там был дворик, ниже уровня улицы. Мальчишки-разносчики сновали взад и вперед по тротуару и спускались по железным ступенькам во дворик. По субботам приходил человек с шарманкой и играл «Родина, милая родина» и «Назарет», играл только мелодию, но в гостиной на пианино лежала книга со словами всех песен на свете, и мамочка играла музыку и учила Эйлин и Дорис словам. Но когда мамочка хотела научить девочек милым песенкам, которые больше подходят детям, таким, как «Где ты была сегодня, киска?» или «Где спрячутся ромашки, когда пойдет снежок?», она посылала Эйлин вниз дать шарманщику пенни, чтобы он перешел на другую сторону улицы, и кусок сахара для его обезьянки. Иногда приходили двое мужчин, один из них с арфой, и девочки любили смотреть, как тот, что с арфой, снимал с нее кожаный чехол и отдавал другому, который перекидывал его через руку и пел «Ушел на войну менестрель» и «Одежды наши зелены»¹, а тот, что с арфой, играл мелодию, но девочкам больше нравился шарманщик из-за обезьянки, а однажды мальчишка на велосипеде, пытаясь удержать на плече маленький лоток с мясом, упал вместе с велосипедом прямо в канаву перед их двориком, и Анни вышла на улицу, взяла баранью ногу и помогла ему поднять связку колбас и две телячьи отбивные, и сказала ему, чтобы он никогда больше не садился на велосипед с этим блюдом с мясом, а то она пожалуется мяснику. «Она так и сказала "блюдо"?» – спросила мамочка, когда дети рассказали ей всю историю, и была так довольна, когда они вместе

завопили «Блюдо! Блюдо!», что даже ничего не сказала Анни насчет того, что она подобрала мясо из грязной канавы. А когда пришел папочка, они слышали, как мамочка говорила ему: «Она назвала это блюдом».

А самой интересной вещью из тех, что они видели из окна своей детской, был переезд. Люди, жившие напротив, поместили в своем окне карточку с голубыми буквами К.П.², и в тот же день фургон величиной с целый дом, запряженный двумя громадными широкогрудыми лошадьми с поросшими шерстью копытами, остановился у дверей и подался назад, пока колеса не подкатили вплотную к бордюру. Лошади смотрели на девочек, кивая головами и постукивая огромными копытами, и Эйлин и Дорис слышали, как с лязгом цепей откинулась вниз и уперлась в тротуар задняя стенка фургона, и увидели, как кучер и еще один толстый мужчина вошли в дом, а потом выносили оттуда буфеты, шкафы и цветы в горшках. А когда в дом въезжали другие люди, было не так интересно, потому что видны были только их спины, но зато потом было так здорово увидеть, как лошади выгнули шеи и, цокая копытами, увезли пустой фургон так легко, словно это был простой кэб.

А иногда кэб со звяканьем появлялся из-за угла и оставался перед их собственным домом, оттуда выходил джентльмен, расплачивался с кучером, а потом поднимался по ступенькам и тянул шнурок звонка. Тогда Элиза бросалась причесывать Эйлин и переодевать ее, и отводила ее в гостиную, всегда только Эйлин, потому что она могла подать руку и ответить, когда с ней заговаривали, не то что Дорис, которая свесит голову набок и выпятит нижнюю губу, а если гости задают ей слишком много вопросов, может и заплакать. А однажды некий джентльмен сидел у камина напротив мамочки и пил чай, а когда увидел Эйлин, поставил чашку на поднос и сказал: «Неужели это Эйлин? Как же

она выросла!» А мамочка спросила: «Ты не помнишь мистера Кларка?» Но Эйлин не помнила, и мамочка сказала: «Из Кембриджа Эйлин не помнит никого, кроме Фоллоу». Мистер Кларк сказал: «Фоллоу попал в немилость. Старик умер, а сын его женился на женщине, которая не любит собак». Эйлин вспомнила, как она упала на колесо детской коляски, и, вернувшись в детскую, сказала Дорис: «Бедный Фоллоу упал в немилость». Но Дорис не помнила Фоллоу.

Никогда, даже в самых причудливых снах, девочки представить себе не могли, чтобы к их собственным дверям мог подъехать фургон Картера Патерсона, но однажды это случилось. Лошади выехали рысью из-за угла, и девочки прильнули к окну, чтобы увидеть, где они остановятся. Кучер повернул лошадей, подал назад, откинул заднюю стенку фургона на лязгающих цепях, и она коснулась тротуара. А в огромном зияющем проеме стоял большой рыжеватый зверь с короткими свисающими ушами и белой грудью. Какое-то мгновение он стоял тихо, потом поднял голову и гавкнул один раз, что прозвучало словно одинокий удар большого колокола, и спустился по наклонным сходням на тротуар и взошел по ступенькам на крыльцо, где его ждали Элиза и Эйлин, а Дорис пряталась сзади, в холле. Фоллоу прибыл в Лондон.

Все, кто раньше был в Кембридже, теперь собрались в Лондоне, но они же оставались и в Кембридже, и когда Эйлин хотела, она могла видеть их там и сама она была там, стоя в Лондоне и глядя назад в Кембридж, и Дорис больше не боялась Фоллоу, но ночью он вылез из своей будки во дворе, насколько ему позволяла цепь, и завыл так, что мог своим воем разбить чье-нибудь сердце, и папочке пришлось выбраться из постели и выйти на улицу через заднюю дверь (потому что Анни всегда держала ключи от передней двери у себя под подушкой), и он взял толстую, с жесткой подо-

швой лапу Фоллоу в свою руку и сказал: «В чем дело, старина? Фоллоу, дружище, в чем дело?», и показал ему миску с водой, и Фоллоу сделал несколько глотков и лизнул папочке руку. Девочки так и не проснулись, когда Фоллоу завыл, а только услышали, как папочка и мамочка говорили об этом за завтраком. Мамочка думала, что Фоллоу никогда не сможет забыть то злое время, когда умер мясник, а его сын женился на женщине, которая не любила собак и держала его день и ночь на цепи на заднем дворе.

– Зачем люди держат собак? – спросил папочка. – Не хватает им своих забот?

– О, Уолтер, не говори так! – воскликнула мамочка, и девочки расплакались и сказали: – О, папа, не говори так!

Но Анни не позволяла псу входить в кухню, говорила, что от него дурно пахнет. А когда приходили тетя Грэйси и тетя Флорри, они не подпускали его к себе, а тетя Флорри говорила:

– Эта бедная дворняга немного великовата, верно?

А тетя Грэйси вторила:

– Не надо тебе было разрешать Уолтеру брать его, такого старого пса. Тебе надо думать о детях, Вин.

Одни говорили, что зима 1895 года была самой холодной в Англии за последние сто лет, а другие – что за семьдесят пять или пятьдесят. Дети не выходили из дома целых десять дней, на стоянках не было кэбов, а omnibusы еле двигались. Лошади иногда падали замертво на улицах, а у тех лошадей, что перевозили еду в фургонах и гробы в катафалках, свисали из носов вдоль подбородка длинные ледяные нити. На Темзе жгли костры, и Фоллоу впустили в дом, а папочка пришел однажды со службы простуженный и лег в постель, и каждый день приходил доктор, а однажды утром, очень рано, девочек одели в шубки, покрыли им головы одеялами и

отвели в дом напротив, где жил портной, а у него была кошка-мама с тремя котятами, и еще он дал девочкам поиграть толстые связки с образчиками материи, а потом Элиза отвела их назад, и когда она сняла с них шубки, а потом с себя платок, они увидели, что у нее черная лента на шляпе, а это была ее лучшая шляпа, и она сказала: «Это по вашему отцу». И мамочка вошла в детскую и сказала: «Папочка умер». А на следующий день светило солнце, и снег таял, и люди говорили, что всё как весной. Но мамочка сказала, что папочка больше никогда не вернется. И когда бы Эйлин ни вспомнила Кембридж, папочка был всегда там, как и все остальные. Но в Лондоне его больше не было, он теперь навсегда останется в до-Лондоне, а это был Кембридж, нельзя быть сразу в двух местах, если ты умер, – вот что значит «умер». И теперь был Сэнди. Сначала он был мистер Харт, и, когда он приходил, Эйлин звали в гостиную, он сажал ее на колени и читал ей сказку про Принца Лягушку. Но вскоре после этого он уходил с мамочкой и возвращался, когда дети уже были в постели, и они должны были теперь звать его Сэнди. Он научил Эйлин песенке «Снова на мельнице Сэнди живет» и читал ей про Принца Лягушку, всегда про Принца Лягушку, а Дорис всегда плакала и пряталась за занавесками, когда он хотел поиграть с ней. И он говорил, что Фоллоу – чудесное создание, вот только «если называть вещи своими именами, мэм (он называл мамочку «мэм»), старичок пованивает».

Шел день за днем, и вот настал день, когда Би, больную туберкулезом, отвезли в санаторий у моря, а Эйлин и Дорис нарядили в белые платица и напялили им на головки соломенные шляпки («пойдите купите им соломенные шляпки», слышали девочки, как говорила мамочка тете Грэйси и тете Флорри) с гирляндами маргариток на длинных стеблях. У каждой из них были коралловые бусы, застегнутые сзади, и они обе выступали теперь подружками невесты. И как

только Элиза закончила застегивать свое серо-голубое воскресное платье, все отправились в церковь святого Андрея смотреть, как мамочка выходит замуж за Сэнди. Фоллоу выбрался по ступенькам во дворик и с надеждой топтался возле них. «Тебя-то кто спустил с цепи?» – пробормотала Элиза. Большой пес отступил от ее топающих ног, но тотчас вновь подошел, виновато помахивая хвостом. Тетя Грэйси ждала их перед церковью. Она велела Элизе сию же минуту увести Фоллоу, потому что за ним в любую минуту может прийти ветеринар.

Эйлин и Дорис провели в церковь и велели идти за мамочкой, только не наступать на ее платье. Все они прошли в придел, и там священник в белом стихаре что-то говорил, очень громко, мамочке и Сэнди. Он называл их Виннифред и Джон, и они оба сказали «да». И тогда все прошли в маленькую комнатку, и болтали и смеялись, как будто уже не были в церкви, хотя там висела картина с девой Марией с младенцем Иисусом на руках, а на противоположной стене увеличенная фотография какого-то священника. И мамочка, и Сэнди, и тетя Грэйси, и джентльмен, которого девочки не знали, что-то написали в книге, а потом все вернулись в церковь и прошли сквозь придел на улицу, и там, перед дверьми, их ждала Элиза. Тетя Грэйси посмотрела на нее, подняв брови, и Элиза кивнула и взяла Эйлин и Дорис за руки и пошла с ними. На пути домой они сели в экипаж, и кто-то поднял руку в белой перчатке и помахал им букетиком рассыпавшихся фиалок. *Мамочка*. Пока они шли к передней двери, экипаж ждал у тротуара. У кучера на рукояти кнута был белый бант, и девочки просили Элизу посмотреть на лошадь, какое у нее милое лицо. Элиза провела их наверх, к открытой двери гостиной, и оставила там. В гостиной было много чужих дам и джентльменов, все болтали и смеялись, но все смолкли, когда кто-то сказал: «Вот

подружки невесты!» Им стали протягивать стаканы с лимонадом и куски пирога, но они ничего не могли взять, пока не пришла мамочка и не забрала букеты из их рук. Все спрашивали, как их зовут и сколько им лет, но Дорис выглядела так, словно вот-вот заплачет, и мамочка велела Элизе отвести их в детскую. Девочки оставались в платьях подружек невесты, пока не настало время попрощаться с мамочкой и проводить ее с Сэнди к экипажу. Мамочка, на которой было пурпурно-красное платье и шляпка с искусственными фиалками, поцеловала их у дверей и сказала, что она очень скоро вернется и они все вместе поедут и будут жить в славном маленьком домике в деревне.

Когда экипаж исчез из виду, завернув за угол улицы, Эйлин и Дорис спустились во дворик пожелать доброй ночи Фоллоу, но конура была пуста и цепь свисала с крюка и лежала на плитах, по-страшному тихая и похожая на змею.

Девочки великолепно вели себя с тетей Грэйси. Они ни разу не спросили, когда вернется мамочка.

– Они по ней нисколько не скучают, – говорила тетя Флорри. – ...и они ни разу даже не спросили про Би.

– Боюсь, у детей всегда так: с глаз долой – из сердца вон, – весело отвечала тетя Грэйси. – Казалось бы, они по крайней мере захотят узнать, где Фоллоу. – Тетя Грэйси и в самом деле находила это немного странным, но она всегда знала, что они не слишком чувствительные дети. – Им вечно приходится напоминать, когда надо кого-нибудь поцеловать.

Несколько дней спустя, когда Эйлин и Дорис проснулись, Элизы не было в комнате, и даже тогда они не сказали ни слова.

Шли дни, ничего не случалось, и девочки вели себя чудесно, и только когда они были одни в детской, взрослые могли слышать, как свирепо они ссорятся. Но наконец у передних дверей зазвонил звонок, и тетушки побежали из столовой,

где они все вместе обедали. Услышав голос мамочки в холле, Эйлин почувствовала, как внутри у нее все как-то странно оборвалось, а посмотрев на Дорис, увидела, что ее щеки побелели как воск. Ни одна из них не бросилась в распростертые объятия мамочки, появившейся в дверях столовой, они только подняли головы и уставились на нее через стол.

– Им, похоже, и невдомек, что я уезжала, – сказала мамочка.

– О, мы тут прекрасно ладили, – сказала тетя Грэйси.

– Ну так мне, может, лучше уехать? – сказала мамочка, но Дорис уронила ложку в тарелку и разразилась угрюмым воплем. Мамочка поставила на пол сумочку и стрелой помчалась через комнату. Она обняла плачущую девочку и, жарко целуя ее, обещала никогда-никогда больше не уезжать от своих девочек. Она сказала, что Дорис, как хорошая девочка, должна закончить обед, а тетя Грэйси оденет ее и все они поедут и будут жить в славном маленьком домике в деревне. Потом она повернулась к Эйлин, которая сидела за столом, повесив голову и смотря искоса.

– Доедай свою рыбу, милая. Тетя Флорри оденет тебя, и мы поедем, как только вы будете готовы.

И Эйлин сказала довольно неуверенно: «И я тоже?» Увидев же, как тетя Грэйси торопит Дорис выйти из комнаты, она подцепила остатки рыбы с тарелки и в минуту была готова.

Прежде чем они ушли, тетя Грэйси поместила карточку с буквами К.П. на окне, и Эйлин поняла, что мебель, снесенная в холл с верхнего этажа, будет перевезена Картером Патерсоном в деревню. Еще этим утром они видели, как тетя Грэйси и тетя Флорри отнесли их кровати вниз, но не стали спрашивать – почему.

Первое, что увидели девочки, выйдя из поезда, было объявление о продаже угля, точно такое же, как те, что, по мнению Эйлин, остались навсегда на Фулхэм Роуд. «И это

деревня?» – захныкала она. Но мамочка сказала, чтоб она потерпела чуть-чуть, привокзальные места везде безобразны. И когда она вывела их на улицу и они обогнули пустырь, заросший крапивой, то тут и в самом деле место показалось им похожим на деревню. Вдоль тротуара выстроились домики, а перед ними садики, в которых росли домашние цветы, а на другой стороне улицы тротуара не было, только изгородь и силуэты коров, медленно бредущих по уходящему вверх полю. Девочки останавливались у каждой калитки с радостным криком «здесь?», но мамочка вводила их дальше, пока коттеджи и сады перед ними не закончились высокой осмоленной изгородью. Из-за изгороди доносились пыхтение, хрипы и скрежет и время от времени пронзительные свистки, и когда дети посмотрели сквозь щелку, они увидели там приземистые паровозы, то исчезавшие за поворотом пути, то спешившие обратно. Их сердца дрогнули: неужели *это* деревня? Но мамочка провела их через дорогу, и оттуда по шатким деревянным ступенькам они спустились на тропинку, пролегавшую между высокими стенами, над которыми выступали ветви деревьев в цвету. На тропинке было темно, но в конце ее их ожидал весь блеск солнечного дня, и мамочка отпустила их руки и велела бежать вперед, пока они не увидят маленькую красную калитку, а на ней надпись золотыми буквами «На холме». Сама улица, на которой они теперь очутились, шла по склону холма, и девочки стали задыхаться от бега мимо калиток разных цветов – темно-зеленых, пурпурных, коричневых, даже одной бледно-малиновой, но ни одной красной они найти не могли. Дома шли парами, и Эйлин читала названия на каждой калитке. «Лавры», «Джесмонд Дин», «Солнечный вид» и «Уголок» прочесть было легко, но были и другие – «Auchinleck», «Notre Nid», «Beau Lieu» и «Sans Souci»³, которые ей никак не давались. Они проскочили дом «На холме», не заметив его, и их

пришлось звать назад. Сад перед домом был такой же, как и все другие, – темные кусты и одинокий золотой дождь у калитки. Девочки уныло потащились по дорожке вслед за мамочкой. Но тут передняя дверь отворилась, и в проеме появилась Элиза в белом фартуке и голубом хлопковом платье, и они бросились ей навстречу с радостными криками. Они-то думали, что никогда больше не увидят Элизу. Мамочка подтолкнула их в холл, мимо вешалки, на которой пока не висело ни единого пальто или шляпы, в темный коридорчик вдоль лестницы с перилами, устремившимися вверх, где они исчезали из виду. Она остановилась и отворила дверь напротив лестницы: «Вот ваша комната». Посредине комнаты стояла лошадка-качалка, словно долго ждала этого мгновения, но прежде чем они заметили ее, Дорис сжала ноги и ее пришлось утащить из комнаты. Оставшись одна, Эйлин прошла бочком мимо лошади, стараясь не смотреть на ее блестящие малиновые ноздри. Окно выходило во двор, огороженный с одной стороны забором, с другой низкой стенкой, в которой были окошко и дверь, а сверху крыша, а с третьей стороны была решетка, увитая листвой; лучик света у края решетки давал понять, что она не доходит до забора, а движения за ней намекали на качающиеся ветви деревьев. Но Эйлин не поняла, что это выход наружу, и готова была расплакаться от разочарования. И это деревня? Этот убогий двор, переполненный мусорный бак в углу, черный навес под окном, у которого она стояла, – это и есть деревня? В ее глазах стояли слезы, и она не заметила, как Элиза вошла в детскую, приблизилась к ней и тронула за локоть.

– Ну что, бедняжка, как ты думаешь, тебе здесь понравится? – спросила она.

Продолжая держать Эйлин за локоть, Элиза провела ее через коридор, куда из окна на первой лестничной площадке сквозь перила просачивались лучи света, потом через свет-

лую кухню с двумя спускающимися из коридора ступеньками и в буфетную с каменным полом. «Иди в сад», – сказала она и едва ли не вытолкнула Эйлин во двор. Теперь Эйлин увидела, что там между забором и решеткой, обросшей листвой, было большое пространство, и тут же она очутилась на гравиевой дорожке на краю невыкошенной лужайки. Над лужайкой свесило ветви большущее дерево из соседнего сада, а сама лужайка заканчивалась у длинной дернистой насыпи, усаженной яблоневыми деревьями. Качание ветвей и вспышки света сквозь ветви намекали, что за ними открывается настоящий сад. Но маргаритки с розовыми лепестками и одуванчики пришлись Эйлин больше по душе, чем цветочные клумбы, и она прошла по лужайке лишь до пня, к которому была прислонена железная лопата. Только она принялась рассматривать его изблизи (а это был какой-то очень интересный пень), как маленькая птичка упала с самого неба на край лопаты. Головка у нее была чернильно-черного цвета, крылья коричневые, а на грудке милый серовато-желтый пушок. Эйлин надеялась, что железо лопаты не повредит розовым птичьим коготкам. Птичка посмотрела прямо на нее, открыла вздернутый клюв и громко защebetала, а потом проскакала по лопате и прощebetала еще раз, и снова со щebetом вернулась к самому краю, и наконец проскакала на одной ножке вновь до середины лопаты, пропела три пронзительные ноты, подняла и опустила коричневые крылья и исчезла из виду.

Эйлин и Дорис привыкли к внезапным исчезновениям и появлениям Би, поэтому они не были удивлены, когда, вернувшись с утренней прогулки, увидели ее лежащей на диване в столовой. Другое открытие заставило забиться их сердца – заброшенная собачья будка в заросшем крапивой уголке сада. *Может ли быть, что Фоллоу вернется? Неужели*

они увидят его – не сегодня, так завтра – на дорожке в саду, и он замашет хвостом и высунет язык? Вместе они обыскали каждый уголок и закоулок двора и сада, но столь желанный ком плоти так и не бросился к их ногам при их приближении. Однажды они разглядели что-то коричневое сквозь спутанные ветви куста рододендрона, но это был лишь клочок оберточной бумаги, выпавший из мусорного бака, пронесенного на чьем-то мощном плече сквозь ворота к ожидавшей повозке. Иногда им слышалось какое-то сопение, а ночью жалобный вой, и как-то раз Эйлин прокралась вниз в ночной рубашке и, стоя у двери на колючем коврикe, прислушивалась через замочную скважину, но это был лишь шум ветра в деревьях. Однажды отчетливый стон донесся с верхнего этажа; Эйлин и Дорис бросились вверх по лестнице, до последней площадки и открытой двери. Но это были всего лишь Анни и миссис Оуэн, уборщица, приходившая раз в неделю, и они толкали ветхое кресло на трех колесиках в чулан, где ему суждено было составить компанию груде чемоданов, буфету с одним недостающим ящиком и швейной машинке с выпавшей иглой. Никаких следов Фоллоу так и не нашлось, а мамочка сказала, что Картер Патерсон привезет им котенка – не сегодня, так завтра.

НЕТ, ОНА НЕ ОШИБЛАСЬ

Уже через несколько месяцев после смерти своего первого мужа в возрасте тридцати лет Вин занялась поисками другого. Никому, однако, и в голову не приходило осуждать ее: а что прикажете делать, если на деньги, выплаченные по страховке, долго не проживешь?

Вин была высокая статная молодая дама, но грудь у нее была, как у птички, а ягодицы плоские, как доска. Пытаясь сгладить эти недостатки, она подкладывала чулки и салфетки в верхнюю часть корсажа и подшивала к юбкам турнюр. Но проку от этого было мало, и сестра ее жениха в свое время писала: «Уолтер собирается жениться на девушке без бюста и без зада». От неизвестной болезни, которой она переболела в пансионе, поредели ее волосы, а еще у нее была привычка ковырять в носу, когда ей казалось, что никто на нее не смотрит. Но мужчины сходили от Вин с ума, хотя она была вдовой с тремя детьми и ртом, полным искусственных зубов, – печальное следствие трех родов. Все это было горькой пилюлей для двух ее сестер, Грэйси и Флорри, у которых зубы были почти в полном порядке, а дурные привычки отсутствовали. У Вин было несколько воздыхателей и два преданных поклонника, Джон Харт и Джон Хедли, или ее Джон и ее другой Джон.

Джон Хедли, в дальнейшем именуемый Мак, служил в Форин-офис, учреждении, которое Вин и ее сестры научились с почтительной фамильярностью называть Ф.О. Джон Харт, он же Сэнди, работал всего лишь в Британском музее,

который вызывал в умах сестер Вин и их подруг смутные ассоциации со статуями, превышающими нормальные размеры, и служителями в униформе. Он был маленького роста, со скрипучим голосом и имел обыкновение рассказывать несмешные истории, сам захлебываясь от смеха и пытаясь поднятием указательного пальца привлечь внимание окаменевших слушателей.

Единственным подарком, который Джон Харт преподнес своей возлюбленной, была «Книга песен шотландского студента», и *его* вечера (оба Джона никогда не появлялись одновременно) были целиком заняты игрой на фортепиано. Следуя за руладами певца, Вин отважно импровизировала аккомпанемент и блуждала между тоникой и доминантой, пока ее пальцы не попадали наконец в нужную тональность. Она прилагала все усилия, чтобы не заглушить мычащий тенорок Сэнди, а он думал, что никто до сих пор так хорошо не понимал музыку, звучащую в его душе. Грэйси и Флорри оставались в своей спальне, пока не приходило время подняться по не покрытой ковром лестнице в детскую. На обратном пути они останавливались на минутку послушать у дверей гостиной, после чего спускались в холл и затем по черной лестнице в подвал, где находилась кухня. По пению у себя над головой они определяли момент, когда нужно было подавать ужин; при первых же тактах песни «В тоске влачу я дни свои» они ставили чайник на спиртовую горелку и снимали его, чтобы при последних звуках «Дуй, зимний ветер, дуй сильнее!» заварить в глиняном кувшине шоколад. Ликующий припев песни «Снова на мельнице Сэнди живет» был для них знаком, что пора подниматься вверх с нагруженным подносом.

В те вечера, когда приходил Мак, музыки не было, но можно было рассчитывать, что перед тем как подняться в гостиную, он оставит на буфете в прихожей бутылку с длин-

ным горлышком или корзинку фруктов от Фортнума и Мэйсона¹. Грэйси и Флорри говорили друг другу, что нечего и сравнивать этих двух претендентов, имея, конечно, в виду, что сравнение целиком в пользу Мака. То, что Вин еще колеблется, было выше их разума. «По плодам их познаете их», – восклицала Флорри, вгрызаясь в мясистую щечку тепличного персика. «И не только это, а и весь стиль человека», – с упреком вторила Грэйси, счищая ногтем большого пальца кожуру с мандарина.

Воскресные дни принадлежали двум Джонам по очереди. Сэнди всегда являлся спозаранку и кратчайшим, хотя и утомительным, путем вел пешком Вин на Паддингтонский вокзал, откуда они отправлялись на поезде в тенистый Букингем. Там до самой темноты они бродили по лугам и рощицам, время от времени останавливаясь, чтобы Сэнди мог справиться со своей картой. Лишь один раз за весь день они останавливались на отдых в каком-нибудь придорожном пабе и подкреплялись там хлебом с сыром, запивая его имбирным лимонадом. Вин была компанейской натурой, и она отважно вышагивала рядом с Сэнди на высоких каблуках, но после этих поездок возвращалась утомленная и голодная.

Как-то воскресным июньским утром мимо ограды дома № 9 по Фейрхолм Роуд проходил, насвистывая, какой-то мальчишка и остановился вдруг, пораженный необычным зрелищем. У дверей дома стоял экипаж, а по ступеням спускался элегантный джентльмен в сером плаще и черных брюках, неся на руках маленькое существо в чепчике и белой пикейной юбочке. За ним следовала дама в крохотной шляпке, надвинутой на лоб, подбирая левой рукой платье. В дверях стояли две дамы с прическами на манер принцессы Александры; обе держали за руки маленькую девочку с испуганным взглядом, одетую в белый передничек и сан-

дали. Из окна подвальной кухни, приподняв занавеску, за происходящим наблюдала служанка, а из спуска в подвал, насколько позволяла цепь, высовывался сенбернар, положивший передние лапы на верхние ступеньки лестницы. Джентльмен посадил девочку в экипаж ближе к окну, помог подняться даме и сам вошел вслед за ней. Женщины в дверях дома замахали руками и пытались заставить маленькую девочку, стоявшую между ними, сделать то же самое. Кэбмен хлестнул лошадь, сделавшую крутой поворот, и глаза девочки, сидевшей в кэбе, промелькнули словно две черные кометы, упавшие вслед за вспышкой белого света. Женщины в дверях задержали дыхание и обменялись улыбками; служанка, наблюдавшая за сценой из кухонного окна, произвольно приложила руку к сердцу, а паренек, остановившийся у ограды, отделился от нее и, насвистывая, продолжил свой путь. Он подумал, что, пока он жив, никогда не забыть ему этих глаз; он не знал, что в это самое время генералы в Уайтхолле уже составляют планы, в которые входит смерть тысяч насвистывающих пареньков, и ему самому осталось жить не больше четырех лет².

– А вот Сэнди скорее умрет, чем позволит кэбу задержаться больше чем на двадцать минут, – пробормотала Флорри, прожевывая шоколад, который она засунула в рот как только за ними затворились двери холла. Грэйси кисло напомнила ей, что Маку есть на что жить, кроме как на свое жалованье: у него было кое-какое состояние. Флорри и сама это прекрасно знала; этим-то он ей и нравился.

Экипаж быстро отвез Мака, Вин и Эйлин на Паддингтонский вокзал, и поезд в мгновение ока увез их из города. Пока что Мак следовал тем же маршрутом, что и Сэнди, впрочем, при гораздо меньших затратах сил. Все, кто хотел провести день на природе, устремлялись в Букингем, в Тенистый Бук, потому что не было места, куда было бы легче

добраться. Они сошли с поезда в Хай Винкомб³ и направились к гостинице «Белый олень». Там Вин оставила Эйлин передохнуть, отдав ее на попечение улыбающейся служанке, а сами они с Маком отправились побродить по лесу, пока готовится заказанный завтрак. Мак обращался с ней подчеркнуто почтительно; он лишь слегка коснулся ее руки, помогая выбраться из зарослей ежевики. Потом в обеденном зале «Белого оленя» Вин уселась на темно-красном плюшевом диване и развернула прохладную сверкающую салфетку. Оглянувшись кругом, она увидела, что на соседних столах в мельхиоровых вазах стоят заурядные подсолнухи и маргаритки, а потом ее ликующий взгляд упал на собственный стол, где в хрустальной вазе стояли чайные розы – настоящие *Gloire de Dijon*! Сам метрдотель, предоставив своим подручным подавать менее важным посетителям бараньи котлеты из дежурного меню, поставил перед Маком вазу еще больших размеров, из которой устремлялись вверх хрустящие бело-зеленые листья латука; и когда, с церемониальной торжественностью, метрдотель принялся размешивать соус в салатнице, поддетые ложкой из слоновой кости наверх выплыли кружки нарезанных помидоров и ломтики сваренных вкрутую яиц. Как раз в тот момент, когда перед Маком, в ожидании его одобрения, был поставлен жареный цыпленок, вращающиеся двери в глубине зала открылись и по-прежнему улыбающаяся служанка передала Эйлин в руки улыбающегося официанта, который провел ее через зал к матери. Посетители оторвались от своих тарелок и взглянули на интересное трио, и в каждом взгляде Вин видела, что очарование ребенка придает прелести и ей самой. Когда же она посмотрела на Мака, то была едва ли не подавлена обожанием, светящимся в его глазах. Она спросила себя, смотрел ли на нее когда-нибудь подобным образом Уолтер, забыв о том, что

Уолтеру не было нужды вымаливать любовь, в которой ему никогда не отказывали.

Когда стол убрали перед тем, как подать десерт, Мак положил на стол сжатую ладонь, а потом, приподняв ее, резким движением большого и указательного пальцев извлек на свет Божий спрятанный там предмет. Золотое колечко, ярко вспыхнув, завертелось по скатерти и легло перед изумленной девочкой. Она схватила его своей пухленькой ручкой, но тут же выронила, когда оно укололо ей палец. «Не бойся, – сказал Мак, – оно тебя не укусит». Но Эйлин действительно напугалась, и ее невозможно было убедить взять кольцо снова. Мак попытался еще раз закрутить кольцо, но на этот раз он был не так ловок, и оно скатилось со стола. На помощь поспешила официантка; она наклонилась, едва не задев юбки Вин, и поднялась с кольцом в руках. Вид у нее был такой, словно она не знает, кому – даме или ее спутнику – вручить кольцо.

– Правда ведь оно милое? – спросил Мак.

– Очень милое, сэр, – сказала девушка. – Я бы даже сказала, чудесное.

Вид ее бледных десен и неровных бесцветных зубов, которые она столь бесхитростно выставила на обозрение, смутил Вин, и она отвернулась, но Мак не мигая смотрел в желтовато-болезненное, покрытое пятнами лицо девушки.

– Возьмите его себе, – добродушно сказал он, – здесь оно никому не нужно. – Он слегка кивнул в сторону Вин, которая в этот момент была занята тем, что поправляла салфетку под кудряшками на шее Эйлин.

– О, сэр! – хихикнула девушка. Она непроизвольно сжала кольцо, но уже в следующее мгновение положила его на скатерть подалше от края стола и поспешила прочь при приближении бдительного метрдотеля.

Мак подобрал кольцо не глядя и положил в карман пиджака.

На обратном пути Мак нашел пустое купе первого класса, и Эйлин скоро заснула на руках у матери. На какое-то мгновение у Вин мелькнула мысль, что, как ни влюблен был в нее Сэнди, никогда этот человечек не взял бы билеты в первый класс, даже ради того, чтобы остаться с ней наедине; но она отогнала эту мысль как недостойную. Мак, какое-то время молча смотревший на нее, вдруг резко встал и опустил окно, чтобы покурить в щель. Сделав пару затяжек, он выбросил сигарету и со сдавленным вздохом сел рядом с Вин, притянул ее к себе и стал целовать через голову спящей девочки. Она уже успела забыть вкус чужих губ на своих губах. Каким благоухающим было дыхание Мака! Что он шептал? «Виннифред! Виннифред! Виннифред!» – все снова и снова. Он первым отстранился от нее, но лишь затем, чтобы взять спящего ребенка и переложить на противоположное сиденье. Затем он вновь придвинулся к Вин, уверенный в себе, словно судебный пристав, которого не могут не впустить в дом. Но миг очарования уже был позади. Дыхание Мака было таким же, как дыхание любого пообедавшего мужчины, и пламя его губ больше не вызывало дрожи у Вин. И все же она чувствовала себя, словно связанная обещанием. На мгновение она дала ему ощутить свое ответное чувство; пойти на попятную было бы теперь просто жестоко.

Поезд въехал в туннель, и все кругом наполнилось беспорядочным гулом. Когда он выбрался на свет, рев внутри и снаружи внезапно прекратился. Мак встал и спотыкаясь подошел к окну, приглаживая волосы и вытирая лицо платком. Потом, найдя опору в раскачивающемся вагоне, он вновь полез в карман пиджака. Эйлин уже опять была на коленях у матери и сонно мигала. Мак наклонился и разжал ее ладонь.

– Дай это мамочке, – сказал он, сжимая пальцы девочки вокруг кольца. Вин взяла его сама и принялась разглядывать бриллиант в изящной оправе. – Скажи мамочке, чтобы она его надела.

– Надень его, мамочка, – послушно пропищала она.

Никто из взрослых не улыбнулся. Вин стала натягивать кольцо на палец, не переставая смотреть печальным взором на пролетавшие мимо телеграфные столбы. Но Мак разразился торжествующим кличем, который донесся до низкого потолка купе, словно рык льва в клетке, и до слез напугал Эйлин. Рыдания и взрывы восторга, слова утешения и торпливое завязывание тесемок чепчика сопровождали их, когда поезд въезжал в гулкую пещеру вокзала.

Кольцо привело в восхищение Грэйси и Флорри, и они с трудом оторвались от него, чтобы дать Эйлин поужинать. Но настроение Вин было самым мрачным. Она грозилась отослать кольцо назад, если ее сестры скажут еще хоть слово по этому поводу, и в самом деле сорвала его с пальца и бросила в угол. Флорри кинулась за ним с криками ужаса; она попыталась надеть его на собственный палец, но не смогла продвинуть дальше второй фаланги. Грэйси выхватила у нее кольцо и вручила Вин, а та положила его в свою сумочку.

На следующий день сестры нашли Вин в слезах.

– Это убьет Сэнди, – рыдала она, – он никогда, никогда этого не перенесет.

Грэйси в ответ стала насвистывать мелодию детской песенки «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота».

Этим утром Грэйси и Флорри рано ушли в свою комнату. Когда воцарившееся в доме молчание было нарушено звонком дверного колокольчика, они вцепились друг в друга, пытаясь сквозь его ослабевающий звук различить легкие

шаги Вин по лестнице. Пять минут спустя, услышав глухой звук закрывающейся входной двери, они поняли, что Джон Харт получил отставку.

– Хоть бы пригласила бедного малого в комнаты, – сказала Флорри.

– Она совершенно права, – отрезала Грэйси. – В таких делах чем меньше слов, тем быстрее конец.

На следующий день прибыл Мак с бутылкой шампанского и букетом роз. Грэйси и Флорри были готовы принять его с восторгом, не будь только Вин такой серьезной и отстраненной; они чувствовали, что им не пристало казаться счастливее, чем сама нареченная. Поэтому в первых же приветственных словах ощущался какой-то похоронный мотив, и старшие сестры с радостью поспешли за бокалами и вазой для цветов. Когда Флорри вернулась с розами, влюбленные сидели у камина по разные стороны прикаминного коврика и *оба курили*.

– Она прикуривала сигарету от его сигареты, – волновалась Флорри. – Как ты думаешь, неужели она не боится потерять его уважение?

– Я думаю, она гораздо больше боится, что он узнает про Би, – отвечала Грэйси.

Теперь каждый вечер принадлежал Джону Хедли, но Вин вовсе не вела себя как невеста на выданье. Она поднималась поздно, большую часть дня проводила в халате, не хотела слышать и слова о свадебных нарядах и запрещала сестрам распространять новость о помолвке. Они заметили, что она надевает кольцо лишь перед встречей со своим женихом. Флорри была расстроена, и Грэйси тоже совершенно не нравился ход событий. Незаметными движениями стрелка барометра чувств перемещалась вниз от верхней точки, благоприятствовавшей Джону Хедли. Достигнув сво-

ей цели, он стал таким же эгоистичным и невнимательным, как большинство мужчин. Анни жаловалась, что он проходит мимо нее, не проронив ни слова, тогда как мистер Харт всегда с приятной улыбкой обращался к ней: «Добрый день, Анни. Что, дамы у себя?» Мистер Харт всегда приветствовал Грэйси и Флорри со старомодной учтивостью, о которой они с сожалением вспоминали теперь, когда обращение Мака с ними свелось к фальшиво-радостным возгласам при встречах, при явном желании поскорее выпроводить их из комнаты и остаться наедине с Вин. Эйлин привыкла к тому, что в ухаживаниях за ее матерью ей отведена своя роль; но теперь, когда вместе с Вин она входила в гостиную, одетая в серое платье с черным пояском, Мак пару минут спустя вручал ей пакетик леденцов или мандарин и отправлял прочь с наказом поделиться гостинцем с сестренкой Дорис. Однажды, не захватив подарка, он вложил в ладошку Эйлин трехпенсовую монетку. «Она не знает, что это такое», – нежным тоном сказала Вин, но почувствовала себя при этом уязвленной, а когда Мак появился в следующий раз, Грэйси вернула ему монету. «Наши дети не приучены брать деньги у гостей».

Однажды Вин пришло письмо с почтовым штемпелем из Ньюкасла, и Грэйси вертела его в руках и так и сяк. Адрес был написан четким почерком Джона Харта, и она непременно вскрыла бы его, если бы только осмелилась. Она подумывала даже, не бросить ли его в кухонную печь. Все знали, что Джон Харт уехал на север искать утешения в лоне своей семьи; с какой стати позволять ему напоминать о себе Вин? В конце концов благовоспитанность победила, и Грэйси положила письмо на буфет в прихожей. Она знала, что Вин оставит письмо у себя на туалетном столике. Исследовав его пару часов спустя, Грэйси не нашла в надорванном конверте ничего, кроме нескольких фотографий, заверну-

тых в сложенный листок почтовой бумаги. Единственная фраза на листке была написана маленькими, очень черными буквами (каллиграфический почерк, который Джон Харт использовал в служебной переписке) и располагалась прямо под выдавленным адресом: «Сэнди всегда твой». Грэйси бросила снисходительный взгляд на фотографии: пирс, памятник Коллингвуду⁴, место отшельничества Достопочтенного Беды⁵.

Тем же вечером Вин сказала Маку, что она получила весточку от Сэнди.

– Как он перенес удар? – спросил Мак.

Вин была не в восторге от его тона.

– Он говорит, что он всегда мой.

– Отлично, но надеюсь, ты не всегда его.

– Джон Харт очень хороший человек.

– Но замуж ты выйдешь за меня.

– Да, Мак, но есть кое-что, о чем я должна тебе сказать.

– Говорите, прекрасная дама, слуга ваш внимает вам.

– Это о детях. Я еще не говорила тебе...

Мак нетерпеливо шевельнулся в кресле.

– Твои дети будут моими детьми. О чем тут еще говорить? –

Мак полагал, что она вновь собирается затронуть старую тему, и не желал тратить драгоценное время на пустые разговоры.

Когда ранним утром Вин провожала своего возлюбленного, полисмен, ходивший в отдалении по улице, был, похоже, единственным, кроме них, человеком, бодрствующим, в Лондоне. Вдалеке колеса рыночных тележек сонно дребезжали по Кингсроуд на пути к Ковент-Гардену. Вин закрыла за Маком дверь и, продрогшая до костей, поднялась к себе. Утром она проснулась с чувством глубокой, необъяснимой тоски, и, после того как Анни принесла ей утреннюю чашку чая, никто из домочадцев не видел ее, пока она, все еще в халате, не появилась у детей за обедом. Прошло не-

сколько дней, и однажды она поднялась, едва только выпила чай в постели, и оделась как на сражение – корсаж, лиф и нижняя юбка из тафты в сборку под серым кашемировым платьем, сменившим ее глубокий траур. Она надела тесную шляпу с короткой вуалью и вышла из дому, не сказав никому ни слова. Грэйси, желая обсудить с Флорри необыкновенную ситуацию за завтраком, крикнула вниз на кухню, чтобы Анни отвела детей на прогулку. Никогда прежде Вин не выходила из дому в такую рань. Они еще допивали чай с тостами, когда Вин вернулась и встала в дверях, стаскивая перчатки, готовая швырнуть свою бомбу.

– Я сделала это! – вызывающе бросила она. – Я послала за Джоном Хартом.

– Так я и знала! – взвизгнула Грэйси. – Я знала, что так ты и сделаешь.

– Что ты ему написала? – спросила практичная и любопытная Флорри. – Как ты смогла выразить это в телеграмме?

– Я выразила это в пяти словах, – гордо ответила Вин. – Я даже не поставила подписи. – Под принуждением сестер она наконец назвала заветные слова: *Снова на мельнице Сэнди живет.*

– Ты спятила, – презрительно произнесла Грэйси. – Просто спятила.

– А он поймет? – спросила Флорри.

Последующие события этого дня показали, как прекрасно понял все Джон Харт. Каждые несколько часов к ним приходила телеграмма. Всего их было три, но слова были одни и те же: «Сэнди возвращается». А на следующее утро, в девять тридцать, пришла еще одна: «Сэнди вернулся».

– Он, должно быть, посылал по телеграмме с каждой станции, – раздраженно сказала Флорри и принялась подсчитывать их общую стоимость.

Подруги Вин были удивлены, услышав, что она вернула кольцо с бриллиантом Джону Хедли ради такого скучного и ничтожного человечка, как Джон Харт. Вин объясняла им, что в своей области Сэнди достиг выдающихся успехов, что он был ученым с европейским именем, *истинным* авторитетом по средневековым иллюминированным рукописям. Вин с удовольствием употребила бы слово «корифей», будь она уверена в его произношении.

Друзья Джона Харта (а ведь и у скучных людей бывают друзья) также не слишком обрадовались. Он был капризен и утомителен, но он принадлежал их кругу; образованный, добродетельный, опрятный, обладающий твердым положением, он был желанным гостем в академических рощах, где взрослая дочь томилась под родительским кровом либо сестра засиделась в доме женатого брата. Так к чему же Джону Харту брать жену из полуграмотных дочерей Велиала, обитавших в западном Кенсингтоне и Бэйсуотере, но копировавших манеры и обычаи тех, кто живет в Мэйрфэре («А вы видели ее сестер, дорогая?»), вдову без состояния да еще и с маленькой дочерью в придачу? С двумя, поправлял кое-кто, но этому не особенно верили, ибо видели ее всегда только с одной девочкой. Женами музейного народа овладела поистине навязчивая идея – оградить свои дома от Вин; но при этом они настойчиво советовали своим мужьям «поговорить» с мистером Хартом, – разумеется, самым дружеским образом.

И вот однажды коротышка Хилл из отдела печатных книг, проходя мимо столика, за которым Джон Харт сидел в кафе рядом с библиотекой Мьюди⁶ на углу Музеум-стрит и Холборна, насмешливо поздравил его с приобретением готовой семьи. Харт задумчиво взглянул на него, положил вилку и нож и проглотил пищу. «Спасибо, Хилл», – просто ответил он. Мистер Хилл, более чем наполовину устыжен-

ный, бросился к столику, находившемуся как можно дальше от Харта, отпугнув мрачным взглядом двух дам, намеревавшихся было занять места напротив него. Открыв «Морнинг Пост», он не без удовольствия прочел, что граф Галлоуэй оштрафован на пять шиллингов на Марлборо-стрит за езду, создававшую угрозу для пешеходов, шедших по Парк-Лейн, и за сопротивление полисмену при исполнении служебных обязанностей. Не то чтобы мистер Хилл недолюбливал графов – на самом деле, он им скорее симпатизировал (просвещенный аристократ – предел мечтаний для ученого), но на сей раз были удовлетворены его чувства человека из народа. Продолжив чтение, он с неудовольствием узнал, что «лишь немногие из выпускников Оксфорда знают, кто написал "Айвенго" и что собой представляют "Посмертные записки Пиквикского клуба", а имена миссис Прауди, Бекки Шарп и мистера Микобера для них пустой звук». Несколько меньше его встревожил тот факт, что в лондонских больницах находится 342 человека, больных оспой, – власти, вероятно, сумеют удержать ситуацию под контролем, но никто не сможет заставить выпускников читать Троллопа.

Украдкой взглянув поверх газеты, он увидел мистера Харта со сложенным номером «Таймса» под мышкой, со счетом за завтрак в одной руке и чашкой кофе, выплескивавшегося на блюдце, в другой; по переполненному залу Харт пробирался к нему. О, как жалел теперь мистер Хилл, что отпугнул тогда этих безобидных дам! Как он жалел о «разговоре» с мистером Хартом! Но ему нечего было бояться. Харт тоже прочел газету, и его мысли были также заняты судьбами страны. Едва усевшись рядом с Хиллом и поставив чашку на стол, он выложил свой «Таймс».

– Как вы думаете, что это значит? – спросил он, постукав костяшками пальцев по заголовку сообщения агентства Рейтер: **НОВЫЕ УСТУПКИ РОССИИ В МАНЬЧЖУРИИ.**

– Ничего хорошего, – отвечал мистер Хилл, который, как и все на свете, любил показать свою озабоченность. И в течение следующей четверти часа из имен собственных в разговоре упоминались лишь мистер Гладстон, лорд Розберри, Маньчжурия и Армения.

На протяжении многих лет Джон Харт был единственным холостяком в отделе иллюминированных рукописей, и вот теперь он тоже готовился надеть на себя ярмо. Тайный триумф окружающих стремился выразить себя в публичном торжестве, и однажды утром Джона Харта провели в комнату в конце коридора, где обычно собирались покурить и поболтать сотрудники разных отделов. Серьезные бюллетени и труды были убраны со стола, чтобы дать место небольшому взводу бутылок и бокалов, и тосты за здоровье Джона Харта зазвучали среди веселого хлопанья пробок. «А теперь за вдову... лет тридцати!» – воскликнул некий смельчак. Все опорожнили бокалы и присоединились к хору поздравлений. Терсфилд из отдела Древней Греции предложил еще более смелый тост: «А теперь за малютку вдовы!»

– У нее две малютки, верно, Харт? – Вопрос был задан Сколсом из отдела печатных книг, новым человеком в музее – он состоял в штате всего восемь лет и еще не усвоил тон, принятый в этом учреждении.

– И что ты сказал на это? – спросила Вин.

– Я сказал, что так оно и есть и что я женился бы на тебе, будь их у тебя и трое.

– У меня их трое, – сказала Вин.

Джон Харт едва не подавился, но принял это сообщение как джентльмен. Он любил Вин и был готов полюбить и ее детей. Когда Вин прерывающимся голосом рассказала ему, что из-за неумелой операции ножка Би никогда не сможет

сгибаться в колене, чувство жалости и сострадания заглушило у Сэнди все эгоистические соображения. Его сестра Мэри служила экономкой в хирургической больнице святого Фомы в Вестминстере и лично знала всех выдающихся хирургов; нельзя упускать ни единого шанса. Вин положила ему голову на плечо и заплакала. Момент признания, внушавший ей такой страх, принес успокоение. Это был счастливейший час из всех проведенных ими вдвоем и из всех, что им предстоит провести. Когда Сэнди шутливо спросил: «У меня есть брат Эдвард, он преподает древние языки в Итоне. Может, у тебя припрятана где-нибудь еще одна славная малышка?», она едва ли не пожалела, что такой больше нет.

После свадьбы сестры Вин переехали в маленькую квартиру рядом с Мэрилбоун Роуд, а новобрачные поселились в доме в Харлоу-он-Хилл: Сэнди хотелось иметь свой сад, и считалось, что там будет хорошо детям.

Вин не хотела принимать гостей, пока дом не будет окончательно обустроен, но Сэнди быстро намекнули, что его коллеги и их жены желают посетить новобрачных. Уже некоторое время в воздухе витали некие странные слухи, исходившие из кухонь и более благопристойных клубных комнат, и жены музейщиков, которые громче всех требовали объявления бойкота миссис Харт, толпой повалили на свадьбу; но, покидая ее, они чувствовали, что их любопытство не только не удовлетворено, но даже обострилось. Теперь они стали надоедать своим мужьям, чтобы те напросились в гости, и измученная Вин должна была принимать пару за парой в течение двух воскресений, хотя она и не чувствовала себя к этому готовой.

Дамы были очарованы ее домом. Дети были милые крошки, и все воочию представляли себе, какой прекрасный

подымется сад, когда в нем вырастут розы. И как раз когда хозяйка водила их по скользким тропинкам мимо голых клумб, и было сделано открытие. Слухи и шепотки, звучавшие на свадьбе, получили подтверждение: она и в самом деле сидела под деревом, вытянувшись на кушетке на высоких колесиках, эта маленькая девочка, чье существование до той поры так тщательно скрывалось.

Когда Эйлин и Дорис подросли, мать стала вывозить их с собою. Нужно было дать полностью развиться превосходным манерам Эйлин, и что-то нужно было сделать с болезненной застенчивостью Дорис. «Я хотела бы съездить с девочками к бедному старому Маку, – сказала однажды за завтраком Вин. – К тому же он живет рядом с Музеем мадам Тюссо».

Слова «о да» в устах Сэнди прозвучали как-то особенно ворчливо, и девочки переглянулись за столом. Они отлично помнили, кто такой бедный старый Мак. «Известно ли этому джентльмену, что ему окажут такую честь?» – спросил Сэнди.

Мак сделал все, что мог, чтобы нежданные гости чувствовали себя в его тесной однокомнатной квартирке как дома. Он откупорил бутылку вина, принес из буфета миндаль и изюм и показал девочкам, как вращать ручку стереоскопа, чтобы увидеть в фокусе водопады Лодоры и Пизанскую падающую башню. Утомленные однообразной мерзостью залов Музея Тюссо, Эйлин и Дорис, набив рты очищенным миндалем, с вялым любопытством изучали виды в стереоскопе; среди них не оказалось ни одного, который бы они не видели десятки раз в дедушкином стереоскопе. Мак достал из незаклеенного конверта новые кадры и дал их Вин на просмотр. «Боюсь, ты скажешь, это не для молодежи».

Вин вытянула из конверта два кадра и, посмотрев их, положила обратно в конверт и вернула Маку. «В самом деле, не

для молодежи, к тому же, ты знаешь, Мак, меня никогда не привлекала нагота».

Пора было уходить. Сэнди того и гляди возжаждет своей жены и своего ужина.

– А как поживает его святейшество? – спросил Мак, открывая и закрывая крышку ящичка для сигар, стоящего на резном столике.

– Как всегда, непогрешим, – с легкостью отвечала Вин, и в тоне ее ответа прозвучало нечто такое, что не понравилось детям. Они недолюбливали Сэнди, но сохраняли верность своему дому.

Мак склонился над рукой Вин и поцеловал запястье.

– Не часто ты изволишь потревожить нашу заводь, – пробормотал он. – А когда я гляжу на это прелестное личико... – Он прервал речь, разглядывая Эйлин, которая вертелась за спиной у матери. – Это твое подобие, Вин, живая ты тех дней, когда я узнал тебя. – Он словно забыл, что, когда он узнал Вин, ей уже исполнилось тридцать.

– Как ты нашла его превосходительство? – спросил Сэнди, склонившись над порцией мяса с картофелем.

– Такой же, как всегда, – отвечала Вин. – Сидит целыми днями дома, курит сигары и читает французские романы, а ночи проводит в таинственных притонах.

– Это завещание не пошло Хедли на пользу.

– Оно могло бы принести ему счастье, – оживленно сказала Вин. – Ему не надо было уходить из Форин-офис. Я бы никогда не позволила ему уйти. Теперь он мог бы стать уже послом.

– А ты супругой посла. Вы поставили не на ту лошадь, мэм. – Это было невеликодушно с его стороны, если иметь в виду, что Вин пожертвовала Маком с его твердым положением и блестящим будущим ради полунищего Сэнди. Но когда ревность бывает великодушной?

Сэнди перевел сверкающий взгляд с лица Вин на смущенные детские физиономии.

– Как насчет того, чтобы стать маленьким превосходительством, а, Эйлин? Дорис это, наверное, не подошло бы, она у нас слишком положительная.

Обе девочки нахмурились, а Вин с усталостью подумала, зачем ему постоянно нужно противопоставлять красоту и блеск Эйлин основательности Дорис.

– Хорошо все-таки, что она выбрала Сэнди! – говорила Эйлин ночью, обращаясь к Дорис через столик, стоящий между их постелями. Дорис не могла не согласиться. Как? Неужто этот противный старый хрыч с обвисшими складками кожи на шее, в нелепой шапочке с кисточкой мог стать их отчимом! Видит Бог, Сэнди не был сокровищем, но привычка взяла верх над враждебностью, выработав терпимость, которую, как говорят, лошадь чувствует по узде. Девочки заснули, как путешественники, которые достигли гавани, избежав смертельной опасности.

По другую сторону стены Вин лежала без сна, обсуждая сама с собой все ту же тему. Она говорила себе, что Мак ни за что бы не пал так низко, выйди она за него замуж. Конечно, у него всегда были эти странные наклонности, свойственные молодым людям из Винчестера, но Вин знала, что она сумела бы с ними справиться. Мак был самодоволен, но он никогда не стал бы отравлять ее жизнь придираками и замечаниями, на которые был охоч этот хвостун с возвышенным умом, что свернулся сейчас калачиком рядом с нею и мирно посапывал. Где-то в глубине ее глаз закипали слезы, но усилием воли она не позволила им пролиться, ибо знала, что плач повредит действию дорогостоящего крема, который она втирала перед сном в кожу лица и шеи и от которого у нее раскалывалась голова. Ей хотелось выглядеть как можно лучше на следующий день, ведь она собиралась

пойти на «Вторую миссис Танкерей»⁷ с человеком, которого все-таки избрала.

Она знала, что ей следует сосредоточиться на приятных мыслях, постараться убедить себя, что все случившееся было к лучшему. Она легко могла выйти замуж за Мака, но вполне обдуманно предпочла Сэнди. Ей не в чем было себя упрекнуть, и что-то подсказывало: случись ей вновь оказаться перед этим выбором, она бы вновь выбрала Сэнди. Теперь нужно было только как следует выспаться, и она решительно закрыла глаза.

Но тесная сетка для волос, туго завязанная под подбородком, раздражала ее. Она дернула тесемку, но та не развязывалась; тогда она сорвала все сооружение с головы и резким движением отшвырнула его прочь.

В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Вин направлялась в свою спальню, но задержалась, услышав приглушенные рыдания, доносившиеся из комнаты дочери. Распахнув дверь, она увидела, что Эйлин сидит в постели, положив подбородок на колени, и плачет навзрыд. Когда мать вошла в комнату, она подняла голову, прервала плач, чтобы простонать «Не хочу служить в страховой компании», и вновь разрыдалась.

Вин присела на краешек кровати и убрала волосы со лба дочери. «И не надо!» – сочувственно воскликнула она, обняв рукой вздрагивающие плечи Эйлин. Но, увидев, что Эйлин ободрилась и вытерла слезы краем простыни, она продолжала, уже холодным тоном:

– Во всяком случае, это может случиться не раньше, чем через полтора года. Смешно заглядывать так далеко. Спи. – Она уложила голову Эйлин на подушку, поцеловала ее в мокрую щеку и направилась к двери. – Спи. Уже первый час. Опять опоздаешь в школу.

Эйлин была теперь совершенно уверена, что после школы ей придется работать в страховой компании. Она тихо лежала на спине и плакала, но слезы скатывались ей в уши, и ей пришлось повернуться на бок.

Затея отправить Эйлин в страховую компанию по окончании школы имела тот смысл, что у одного из ее дядюшек там был друг в Совете директоров. Еще важнее Вин казалось то, что в компанию брали девушек только из хороших семей. Испытания при приеме на работу практически не

проводились – достаточно было уметь читать, писать и считать, – но еще прежде, чем заполнить бланк с просьбой о приеме, вам надлежало представить рекомендацию от приличного человека, свидетельствующую, что вы сами приличный человек. И именно это больше всего нравилось Вин, которую терзала мысль о том, что Эйлин придется оставить свой дом, чтобы зарабатывать на жизнь. Ее бойкое воображение рисовало вереницы девушек из хороших семей, которые не испортят манеры и произношение Эйлин; у некоторых из них, возможно, окажутся даже благовоспитанные братья.

Но случилось так, что через полтора года Главное почтовое управление вознамерилось принять на работу меньше мужчин и больше девушек, чем обычно, как только откроется новое отделение в Хэммерсмите; до этого места было лишь четверть часа ходьбы, и Эйлин могла бы приходить домой обедать. Вступительные испытания ожидалось нестрогие, жалованье было выше, чем в страховой компании, и с него откладывались пенсионные взносы. Больше того, отделение располагалось на своей собственной территории с теннисным кортом и закрытым плавательным бассейном, и к тому же там имелись разные языковые и другие образовательные курсы. Но для Вин была ненавистна фраза «Моя дочь работает в почтовом управлении»; люди скажут «Как мило!» и представят себе Эйлин ударяющей резиновым штемпелем по конвертам или продающей марки за решетчатым окошечком. Сэнди возражал, что дочь старины Вильсона отлично устроилась в почтовом управлении, но для Вин это говорило отнюдь не в пользу этой идеи: значит, они берут кого попало! (старина Вильсон служил посыльным в Музее). Сэнди робко напомнил ей, что старина Вильсон выглядит, как герцог, но Вин раздраженно ответила, что как раз настоящие герцоги так не выглядят.

Сэнди мог бы приустроить Эйлин перепечатывать латинские и древнеанглийские рукописи для исследователей; но, хотя эта работа хорошо оплачивалась, она всегда была непостоянной, и от нее никогда нельзя было отказываться, как бы ты ни был занят, из опасения потерять связи.

Сэнди, самый заботливый отчим на свете, хотел, чтобы Эйлин поступила в колледж, но столкнулся с отпором ее матери: «О, эти бесчисленные девы-учительницы – и с твоей стороны, и со стороны отца Эйлин». Что с того, что в компании плохо платят? Такая привлекательная девушка, как Эйлин, не задержится с замужеством. Вин будет собирать приличных мужчин на вечера и устроит так, чтобы Эйлин оказалась в обществе приличных мужчин во время своих каникул. А на теннисных кортах и в лагерях отдыха почтового управления Эйлин не встретит никого, кроме прыщавых клерков.

Обстановка в компании оказалась даже хуже, чем Эйлин себе представляла. Служившие там девушки были абсолютно неинтересны; что касается их будто бы приличных семей, то по большей части они были дочерьми мелких торговцев и банковских клерков. Руки Эйлин, не знавшие маникюра, ее сборники стихов и высокоумные романы они сочли за несказанное жеманство. Сами они едва ли были знакомы с именами авторов, но зато страстно любили романы с продолжением, публикуемые в газетах, которые получали их отцы. Они даже обсуждали героинь любовных историй и других книг в оранжевых обложках, которые Эйлин до сих пор видела лишь в ящиках кухонного шкафа. Единственной работой, которую ей доверили за шесть месяцев, было переписывание имен, адресов и номеров счетов из старых гроссбухов в новые, куда не полагалось вносить жирно вычеркнутые, ликвидированные счета. При

малейшей ошибке контролер, не говоря ни слова, выдирает из гроссбуха страницу. Позже ей поручили перепечатывать письма, руководствуясь правилами, которые она должна была самостоятельно усвоить из книги инструкций, принятых в компании. Каждый месяц в течение недели каждый сотрудник должен был поработать на всеми ненавидимой адресной машине.

Как новенькая, Эйлин не могла выбрать время отпуска, и ей определили две недели в марте. Вин была в отчаянии. Никто, по крайней мере никто из приличных мужчин, не уходит в отпуск в марте; ей самой придется поехать куда-нибудь с Эйлин. Единственное, что могла придумать Вин, был визит к тете Тэмзи, которая жила теперь в меблированных комнатах в Рамсгейте¹. Вин уже давным-давно собиралась провести бедную старушку. Теперь она убьет двух зайцев одним выстрелом. Даже трех – свежий морской воздух (у-у! – вздрогнула Вин, любившая негу, как кошка) пойдет ей на пользу после столь частых вечеров в Лондоне, когда она засиживалась до поздней ночи.

В своих меблированных комнатах Тэмзи была похожа на гигантскую черепаху в зоопарке, которая греется на солнце перед входом в темную пещеру, куда она уползет ночью. В большой комнате окно в эркере было затенено разросшимся азиатским ландышем в обитой железом кадке с заржавевшими ручками. Проволочные корзины с папоротниками свисали с потолка перед каждым оконным стеклом; на окнах висели плюшевые занавески, украшенные бахромой, и шторы на роликах, наполовину опущенные, чтобы не дать проникнуть блеску моря или неба, но отнюдь не взору чужака, ибо Тэмзи обитала на третьем этаже, куда не мог заглянуть случайный прохожий. На противоположной стороне улицы не было домов, только некрутые дюны, в которых пытались укорениться лишь пучки жесткой тра-

вы, узкая полоска пляжа за дорогой и затем океан до самого горизонта. В ясные дни можно было разглядеть кусочек побережья Франции. Не было никакого обмана в том, что улицу назвали Океанской Террасой, а сам дом, в котором проживала Тэмзи, по праву мог именоваться «Морским Видом». Тэмзи, дочь британского офицера, вела кочевую жизнь армии мирного времени, до тех пор пока ее отец не получил последнего повышения в чине за проявленную храбрость при осаде Севастополя и закончил карьеру в, если так можно выразиться, оккупационной армии в Индии.

Тэмзи постоянно переезжала с места на место, забирая с собой в меблированные комнаты в Бейсуотере, Четленхэме и одном за другим морском курорте остатки домашних фетишей, включая поднос из Бенареса, медный гонг с утраченным биллом, индусский молитвенный коврик, используемый как подставка для папоротника, и ручную раскрашенные вазы. Увеличенные свадебные фотографии ее новой хозяйки были безжалостно содраны со своих мест над каминном и заменены увеличенными фотографиями доблестных офицеров дяди Фреда и дяди Дика, чьи кости покоились на офицерском кладбище в Севастополе, а красный угол комнаты теперь заняло величайшее сокровище – портрет на фарфоре фельдмаршала, отца Тэмзи. Мертвенно-бледная плита была поставлена на мольберт и задрапирована кашемировой шалью, вышитой золотом, а его украшенная плюмажем треугольная шляпа действительно *стояла* на маленьком столике перед мольбертом. Шляпа, густые усы да вздернутый нос – вот все, что сохранилось на плите от облика фельдмаршала. К огорчению матери, Эйлин не проявляла интереса к своим военным предкам, никогда не могла разобраться в чинах дяди Фреда и дяди Дика и едва ли представляла, где находится Крым и из-за чего разгорелась вся история вокруг Константинополя.

Лицо Тэмзи высунулось из шалей и косынок; взгляд ее был невидящим, глаза блестели, как у черепахи; но на коричневом лице почти отсутствовали морщины, а выточенные, чувственные ноздри и резкие линии полных губ выказывали темперамент, свойственный отнюдь не земноводным. В действительности, Тэмзи была бичом божьим, как могла бы сказать в любой день недели ее служанка Ева. Могла бы, но никогда не говорила. Ева была *предана* Тэмзи, *рада* приезду Вин и Эйлин, *удивлена* тем, как выросла Эйлин, хотя последнее, в конце концов, могло и не удивлять, если учесть, что они не виделись целых восемь лет.

Ева испекла особый пирог на хозяйкиной кухне и принесла его вместе с клубничным джемом из запасов Тэмзи. Но она испортила и крепкий чай, и яйца на тостах по-деревенски, и клубничный джем тем, что встала у угла стола, положив руку на бедро, и болтала в течение всего ужина: «Мисс Берч то-то, ваша тетушка Эмили то-то», причем смысл каждой фразы сводился к тому, что Тэмзи всегда уверяла ее, Еву, как она любит ее, как она ценит ее и не может жить без нее. Впервые Эйлин осознала, что Тэмзи вовсе не настоящее имя Тэмзи. И вот мама рассказывает ей, растаяв от воспоминаний, что так окрестил Тэмзи младший брат мамы, дядя Джорджи, которого Эйлин никогда не видела (он утонул в море). «Тетья Эмми живет на Темзе».

Когда Ева взяла чайный поднос и вышла из комнаты, Вин закурила сигарету (она усвоила эту дерзостную привычку, обычно практикуемую фривольными дамами), схватила спички и глазированную керамическую пепельницу с надписью «Гинесс вам понравится», украденную хозяйкой из местного паба для своих жильцов-мужчин, и быстро встала из-за стола.

– Пойдем-ка в спальню, пока этот Иисусик не подкрадет-ся и не застанет меня курящей, – сказала она.

Эйлин была неподдельно шокирована; она все еще верила, что люди, которые *преданны* вашим родным и *очень рады* видеть вас, когда вы наносите визит их нанимателю, обязаны быть милыми. Как часто слышала она в разговорах между матерью и тетей Флорри с тетей Грэйси: «Что бы делала Тэмзи без Евы?»

– Но Ева добрая, правда? – робко спросила она, как ждущая Истины; да так оно и было на самом деле.

– Из этих шотландских сектантов, – отвечала Вин. – Она бы с радостью застигла меня за курением и донесла об этом Тэмзи. И вот появляется новое завещание, и мы с тобой можем распротиться с круглыми хрустальными часиками и севрским чайным сервизом.

Словно завороженная, Эйлин представила себе адвоката в парике, будто сошедшего с рисунков Крукшенка², крадущегося к постели Тэмзи с чернильницей из рога и гусиным пером. Она вдруг обнаружила, что ей всегда не нравился неприятный блеск рыбьих глаз Евы, а в ее круглом низеньком лобике чудилось что-то вульгарное; она испытала чувство облегчения, едва ли не освобождения, от мысли, что теперь не обязана любить Еву. Но она была и уязвлена: впредь, когда люди станут хвалить кого-нибудь, она никогда не будет уверена, что они говорят правду. Однако же юность легко приноравливается к обстоятельству. «Ева чем-то похожа на Урию Гиппа?»³ – спросила она, дав духу сообщничества заменить в себе искателя Истины.

Вин крепко обняла ее, тронутая отзывчивостью дочери, да и много ли девушек читают в наши дни Диккенса? Это была их первая ночь на Океанской Террасе, и они уже собирались лечь спать, после того как Вин затушила сигарету и закопала окурков в большом горшке, из которого рос глянцеви́тый азиатский ландыш, заслонявший нижнюю часть окна в эркере.

– Полагаю, нам надо выйти подышать морским воздухом, прежде чем ложиться, – нехотя сказала Вин.

– Не надо, – завершила ее Эйлин. – Кому нужен морской воздух в марте?

Вин была только рада, что ее разубедили.

До сих пор им не приходилось спать в одной постели, и Эйлин вытащила из-под подушек валик и положила его посередине вдоль кровати.

– Как меч в брачную ночь⁴, – весело сказала втайне обиженная Вин. Валик занял так много места, что одеяло не удалось подоткнуть под матрас; Вин проснулась ночью, дрожа от холода, ибо Эйлин постепенно перетащила все покрывала на свою сторону. Вин поняла, что проиграла; она поднялась и надела фланелевый халат и толстую юбку, которую сняла, ложась спать. Натянув все это на себя, Вин положила в ноги диванную подушку и снова заснула.

Март был на удивление теплый, так что Вин и Эйлин могли брать с собой книжки и проводить часок-другой на склонах песчаных дюн. Эйлин привезла из дома «Накануне», а Вин выдернула «Сад Аллаха»⁵ из единственного ряда книг в доме Тэмзи. Эйлин лежала на боку, упершись одной рукой в песок и прислонив книгу к одинокому корню; Вин устроилась сидя, натянув юбку на лодыжки. Молодые люди, по одному, по двое проходившие мимо, вздрагивали от неожиданности, увидев двух женщин, сидящих на пляже в столь раннее время года. Каждая пара глаз на какой-то миг останавливалась на распростертой фигуре Эйлин.

– Милая, – нервно сказала Вин, – я не думаю, что это очень хорошо – лежать, приподняв бедро и выставив напоказ ноги. Мужчины смотрят на тебя не слишком доброжелательно. А тот последний, с усами, я уверена, нарочно переступил через твои ноги.

– Так лучше? – Эйлин повернулась на спину, выставив руки вверх.

– Теперь у тебя выдается животик.

Эйлин опустила руки и села, охватив ими колени.

– Я прочла в книжке, – задумчиво сказала она, – что мужчина может оценить фигуру женщины, только увидев ее лежащей на спине с вытянутыми по бокам руками.

– Что это была за книжка, хотела бы я знать.

– О, *La Vie Parisienne*^b или что-нибудь в этом роде.

Вин была поистине шокирована.

– Никогда не называй журнал книжкой, обещаю мне, что никогда не будешь (судя по ужасу в ее голосе, это было равносильно хуле на Святого Духа). Так поступают только служанки: «По почте прислали книжку, мэм», – а оказывается, что это всего-навсего «Фортнайтли».

– Девушки в страховой компании тоже так говорят. – Эйлин сказала это, чтобы досадить матери, по настоянию которой она поступила в компанию. Но Вин думала совсем о другом.

– Это значит, что в таком положении видно, не отвислая ли у нее грудь, – сказала она.

Эйлин подняла «Накануне».

– Я хочу поехать в Россию, – сказала она.

– Уверяю тебя, что сейчас там какая-нибудь девушка лежит в степи, читает «Ярмарку тщеславия», – резко ответила Вин, – и мечтает поехать в Англию.

– Жаль, что мы не можем с ней поменяться.

Вин пренебрежительно фыркнула.

– Слава Богу, что нет.

Бывало, что Эйлин часами бродила по скалам, пока Вин сидела, читая, перед камином в гостиной, наносила визиты вежливости Тэмзи или дремала перед обедом. Хотя самый сезон был еще далеко впереди, кругом было полно мужчин,

молодых и пожилых, неспешно или торопливо гуляющих вдоль морского берега. Раньше Эйлин полагала, не особо об этом задумываясь, что единственные постоянные обитатели приморских городков – это владельцы отелей, которые, вероятно, впадают в спячку на весь зимний период. Но теперь ей постоянно встречались по-городскому одетые молодые люди с портфелями и девушки, похожие на машинисток (так ей казалось). Для них ежедневно работали бакалейные магазины, булочные и магазины канцелярских товаров, а также торговцы тканями и модистки, которые энергично рекламировали ткани, ленты, шляпки, перчатки и носовые платки, предлагая всевозможные скидки. Некоторые молодые люди выглядели так, словно они не прочь завести знакомство, но никто не преследовал небрежно одетую, свирепого вида девушку, шагавшую по плитам променада, засунув руки в карманы. К Эйлин ни разу в жизни не «приставал» незнакомец, а ее отпугивали полотняные фуражки молодых людей в Рамсгейте (или, возможно, сам угол, под которым они их носили) и крошечные серебристо-золотые значки футбольных клубов на лацканах. Классовое чувство было надежным стражем добродетели, и она говорила себе, что с этими юношами у нее нет ничего общего.

Обойдя весь город в тщетных поисках интересной встречи, она стала выходить за его пределы. Его границей была изогнутая трамвайная линия, за которой начинался немощеный скалистый берег и поля высокой пшеницы колыхались при дуновении ветра. На отроге скалы, в удалении от моря, стояли приземистые монастырские здания. Спереди они выглядели низкими и широкими, и вымощенная камнем дорожка вела к дверям крошечной часовни; но в той части, где жили монахини, постройки были уже и выше. Иногда Эйлин встречала или проходила мимо монахинь, сновавших, словно заводные мышки, по верху скалистого бере-

га. Больше всего ей нравилось, когда две монахини, спешившие в разных направлениях, проходили друг мимо друга, не обменявшись ни словом, ни каким-либо знаком, словно два маленьких черных трамвая.

Эйлин знала, как смочить большой палец святой водой из каменной раковины у входа в часовню. Ее мать была прихожанкой Высокой Церкви⁷ со времен дружбы с преподобным Гербертом Кингсфордом и более или менее увлекла за собой всю семью. У Кинги – помощника приходского священника – было впалое лицо, и он ходил в сутане и берете. Эйлин могла проводить по целому часу одна в зябком, насыщенном ароматами воздухе часовни. Ей нравились серые стены и купол здания, помутневшие сцены Страстей Господних на каменных колоннах, мерцающий рубиновый свет лампы перед алтарем. В атмосфере святости меркла яркость статуй Пресвятой Девы и Иисусова Сердца. Здесь, каким-то образом приобщившись к сплетению необыкновенного и привычного, она отдыхала от горечи повседневной жизни. Она зажигала свечу, бросала трехпенсовую монетку в жестяной ящик под нею и пыталась представить себя во Франции.

После нескольких посещений Эйлин свела знакомство с одной дамой средних лет, которая почувствовала мгновенную привязанность к отрешенной фигурке девочки-школьницы, которая, казалось, была как у себя дома в любом уголке часовни, хоть никогда и не преклоняла колени перед будкой исповедника или во время мессы. Мисс Роджерс имела комнату в монастыре и, руководимая священником, проводила по полдня в часовне, ставшей местом ее отшельничества. Она сочла, что эта одинокая девушка не случайно встретилась на ее пути, и, пригласив Эйлин в свою комнатку с выбеленными стенами, нагрозила ее неисчислимыми брошюрами, распространяемыми в Англии

католической церковью. Мисс Роджерс не могла понять, почему бы Эйлин не стать истинной католичкой, но Эйлин и так считала себя католичкой. Кинги убедил ее (приучил ее думать), что англиканская церковь есть просто ветвь церкви римской и раскол между ними лишь недоразумение, произошедшее по вине Генриха VIII, и в этом убеждении она была тверда и не думала от него отступить. И тщетны оказались все потуги мисс Роджерс вытащить это милое поленце из уготованного огня, хотя она и удвоила свои молитвы и обеты. Она сказала Эйлин, что постоянно молится за нее, а Эйлин спросила: «А мне можно молиться за вас?»

– Вам не нужно молиться за мое обращение, – напомнила ей мисс Роджерс.

– Я буду молиться за ваше счастье, – ответила Эйлин, и эти восхитительные встречи в выбеленной монастырской келье завершились долгим, теплым поцелуем, после чего, однако, Эйлин избегала подходить близко к монастырю.

Эйлин вернулась домой к обеду, но комнаты на нижнем этаже, где они жили с матерью, были пусты; однако через десять минут Вин постучала в оконное стекло, и Эйлин впустила ее, покрасневшую от ходьбы, в дом.

– Мне стало смертельно скучно, – сказала она дочери, – и я решила пройтись – вдруг встречу какого-нибудь интересного человека.

– Неужели ты заговорила бы с незнакомым человеком? – спросила, широко раскрыв глаза, Эйлин.

– Ну, до этого я бы не дошла, но когда двое хотят познакомиться, они всегда находят способ. Однако же никого не нашлось. Масса мужчин прогуливаются взад и вперед по променаду, но почти у всех эти проклятые футбольные ярлычки на цепочках часов, и я знаю, что они не подойдут.

– О да, я знаю. Ужасно, правда?

– Знаешь что, милая? – сказала Вин после обеда. – Давай-ка сядем на трамвай и доедем до конца линии. Может быть, нам встретится что-нибудь интересное.

Еще согретые недавней вспышкой симпатии, они умиротворенно болтали, но вскоре Вин все испортила, вернувшись к преследовавшей ее, излюбленной теме: за кого выйдет замуж Эйлин? Эйлин было всего девятнадцать, но так или иначе, думала Вин, ее бесконечное детство уже позади и пора думать о будущем. Вин никогда не осознавала, что потратила жизнь на то, чтобы гнать от себя мысль о надоедливом настоящем и «думать» о будущем. Допустим, Сэнди умрет – не то чтобы она желала этого дорогому Сэнди – и ей придется выйти замуж за порядочного обеспеченного человека. У нее было несколько таких на примете, и хотя все они были женаты, никогда не знаешь, что может случиться. Допустим, она возьмет с собой Эйлин на Ривьеру и они встретят там порядочного молодого человека из хорошей семьи и с видами на будущее... нет, *она* сама поедет на Ривьеру и покорит порядочного молодого человека, а потом приведет его домой, чтобы он взял в жены Эйлин.

– Я вовсе не корыстна, – объясняла она в тысячный раз, – но я просто не понимаю, почему, разумеется, при прочих равных, девушка не может полюбить *приличного* человека с *небольшим* состоянием. Наверное, это не труднее, чем влюбиться в какого-нибудь захудалого клерка.

Это был лейтмотив века, тема любого викторианского романа.

– Да, но допустим, кто-то влюбится в клерка, – возражала Эйлин, сразу же указывая на слабое место в рассуждениях матери.

– Ну да, именно об *этом* я и говорю, – чистосердечно отвечала Вин. – Избегай их, не давай себе шанса! Держись по-

дальше от неподходящих людей, и тогда рано или поздно встретишь подходящего.

– А вдруг нет? – с опаской спрашивала Эйлин.

– О, непременно найдется.

– А как насчет тебя с папой? – спросила Эйлин.

Вин нервно сжала кулаки.

– Ах, это была Настоящая Любовь, этому нельзя было противиться, – мрачно признала она. – Не думаю, что в мире часто бывает такая любовь, как была у нас.

– Я бы хотела, чтобы такая была у меня, – сказала Эйлин.

– И я бы этого хотела, – отвечала Вин, тронутая искренностью дочери. – Но я не понимаю, почему Настоящую Любовь нельзя встретить среди порядочных людей. Твой отец был школьный учитель, и еврей, но я бы любила его не меньше, будь он... будь он из того круга, из которого я вышла.

– Но он не был, а ты его полюбила, – упрямо отвечала Эйлин.

Трамвай не привез их в какое-либо интересное место. Трамвайная линия заканчивалась вблизи ряда краснокирпичных вилл с покрытыми шифером крышами и темными ступеньками у входа; их ряд внезапно обрывался у поля, поросшего крапивой и чертополохом. Моря не было видно, и, не считая чистого соленого воздуха, это место могло быть любым недостроенным предместьем любого английского городка, скучившимся вокруг церкви, двух пабов и нескольких магазинчиков. Вин и Эйлин выпили по стакану лимонада, закусив булочками с тмином, и им ничего не оставалось делать, как вернуться на трамвайную остановку и сесть в тот же трамвай, что привез их сюда, а теперь ждал, пока наберется достаточно пассажиров, чтобы имело смысл совершить обратную поездку. Минут за двадцать в трамвай сели пять женщин и священник, и трамвай тронулся. Вин и Эйлин сидели одни наверху, и Вин так и не смогла выманить

из Эйлин ни слова относительно того человека, за которого ей хотелось бы выйти замуж.

На следующий день Вин страдала привычной мигренью, и Эйлин пришлось отправиться в аптеку за тем единственным лекарством, которое хоть как-то облегчало ее страдания. Никто не знал, что в нем содержится, но Сэнди, с трудом разобрав докторскую собачью латынь, присвистнул и сказал, что каломели в нем достаточно, чтобы убить лошадь. Аптека находилась посередине Главной улицы; это было милое старомодное здание, в окнах которого стояли темно-красный сосуд и синий сосуд, сродни тем, что так любила Розамунда⁸. Когда Эйлин вошла, в аптеке был только один посетитель, мужчина неприятного вида, словно сошедший с карикатур Фила Мэя⁹; на нем был светлый жилет, на голове сдвинутый на бок котелок, а кончики усов он нафабрил так, что они сходились на концах в точки. Эйлин он сразу не понравился, и она отвернулась от его хищного взгляда. Помощник аптекаря, совсем мальчишка, взял рецепт Вин вместе с рецептом, по которому Ева просила купить лекарство для Тэмзи, и ушел с ними в подсобное помещение; через пару минут он вернулся и выложил на прилавок три перевязанные резинками коробочки размером несколько больше спичечных. Мужчина с нафабранными усами взял одну из коробочек, при которой не было ни ярлычка, ни рецепта, передал серебряную монетку через прилавок, подмигнул в сторону Эйлин и попытался обменяться заговорщическим взглядом с помощником аптекаря. Тот, однако, только и сказал «Спасибо, сэр», не приподняв головы, и смотрел, как Эйлин забирает свои две коробочки и раскладывает по карманам жакета. Потом он сказал «Спасибо, мисс» и очень скромно улыбнулся ей. Она подарила ему сияющую улыбку и всю дорогу

домой думала, как мило с его стороны, что он не улыбнулся в ответ на зловонную ухмылку этого ужасного мужчины.

На ее звонок Ева открыла переднюю дверь и заспешила наверх сразу же после того, как Эйлин, взглянув на коробочки, вручила ей ту, что была предназначена Тэмзи. Сама она направилась в гостиную, и Вин, протянув безжизненную руку, простонала: «Стакан воды». Но когда Эйлин вернулась со стаканом, мать сидела в постели, с негодованием глядя на кучу розовых шариков в открытой коробке.

– Ты принесла мне эти дурацкие пилюли из ревеня для Тэмзи. Сейчас же сходи и забери у Евы мое лекарство.

Не успела Эйлин ступить и шагу, как в комнату ворвалась Ева и остановилась на коврике перед камином, держа в руке открытую коробку.

– Взгляните на это. Мисс Берч хочет знать, что это значит.

Вин и Эйлин вытянули шеи и увидели кучу мягких бесформенных предметов, свисающих из коробки. Эйлин не могла понять, почему ее мать как-то странно взвизгнула, а Ева выглядела по-настоящему злой.

Вин показала Еве ярлычок на коробке «Мисс Берч, пилюли из ревеня», а потом ярлычок на другой коробочке «Миссис Харт, от головной боли».

– Доктор не выписывал этих вещей для мисс Берч, – прорычала Ева.

– Ты ей показала? – в голосе Вин был ужас.

– Она сама открыла коробку.

– И что она сказала?

– Сказала? Она смеялась так, что ей чуть не стало дурно. Она сказала: «Убери их, Ева, я ими не пользуюсь».

– Так скажи ей, что и я тоже.

Вин поднесла платок к губам, чтобы подавить неудержимый смех, но, когда Ева удалилась с пилюлями Тэмзи, дала

себе волю, пока губы Эйлин не дрогнули непроизвольно и она тоже начала смеяться, сама не зная почему.

– О Боже, Боже, мне даже от этого полегчало, – сказала наконец Вин, вытирая слезы в уголках глаз, – но теперь моей бедной голове стало еще хуже. – Она откинулась на подушки и закрыла глаза. – Я не засну всю ночь, – простонала она. – Боюсь, милая, тебе придется отнести эту гадость назад и взять мне лекарство. Тебе не надо ничего говорить, их владелец, наверное, уже явился за ними. – Она многозначительно постучала по крышке коробочки, а потом укрепила резинку на прежнем месте. – Был кто-нибудь еще в аптеке?

Эйлин рассказала про противного мужчину, и Вин кивнула.

– Ну так это его коробка.

– Зачем ему так много? – спросила Эйлин, вновь вызвав болезненные спазмы смеха у матери. Но Вин собралась с силами, снова прикрыв глаза.

– Но, дорогая, – произнесла она, – знаешь ли ты вообще, что это такое?

– Я думала... это надевают на пальцы, если их поранят.

– Ну, пальцы у него, пожалуй, толстоваты.

Щеки Эйлин ярко вспыхнули; шутка матери каким-то образом вызвала воспоминания раннего детства, и она мгновенно поняла, для чего *они* предназначены. Она вспомнила, как стояла возле детской коляски, а мальчишка бакалейщика вытащил что-то наполовину из кармана, вровень с ее пытливыми глазами, и показал это няне; а потом, когда Элиза сказала Анни, какой же он нахал, Анни только ответила: «Это его способ выразить тебе симпатию». Речь Вин всегда была настолько изысканна, что грубые шутки, которые она время от времени отпускала, казались непристойнее, чем у других людей, и Эйлин, оскорбленная до глубины души, выбежала из дома.

У прилавка было три-четыре человека, и продавец стоял на складной лестнице, спиной к ним, доставая какую-то склянку с верхней полки. Он как раз повернулся и увидел, как Эйлин подошла к прилавку и положила на него принесенную коробку.

– Вот ваше лекарство, – сказал он, кивнув на завернутый и запечатанный сверток, – и прошу прощения, мисс. – Он стал медленно спускаться со склянкой в руке, но, покидая аптеку, Эйлин успела заметить, что его уши красны так же, как, должно быть, ее щеки, и она была благодарна ему за то, что он переживает ее унижение.

– Что же, аптекаря это позабавило? – спросила Вин, проглотив огромную капсулу и отдавая стакан с водой дочери.

– О, мама, он был такой джентльмен! – воскликнула Эйлин. – Оба раза.

– Не вздумай влюбляться в молодых людей за прилавком, – предостерегла ее Вин, опуская голову на подушку.

Если бы Эйлин только могла сказать матери, что ничто на свете не заставит ее снова зайти в эту аптеку! «Никогда в жизни!» – воскликнула она про себя. И по этой причине она до самого конца своего пребывания в Рамсгейте не выйдет на Главную улицу, чтобы не подвергнуться риску новой встречи с этим милым, обаятельным помощником аптекаря.

На следующее утро Вин проснулась очень вялая, но без головной боли. Через валик она пристально посмотрела на Эйлин, которая, словно почувствовав взгляд матери на своем лице, тоже открыла глаза; потом она повернулась к стене, и Вин услышала ее долгий, дрожащий вздох.

– О, дорогая, что с тобой?

Эйлин повернулась на спину, протянула руки за голову, пока не схватила ими спинку кровати, напрягла все свое те-

ло до кончиков пальцев ног, расслабилась и снова вздохнула.

– Мне кажется, что жизнь такая гадкая.

– О, цыпленочек, не говори так. Ты знаешь, я никогда бы не послала тебя туда снова с этими штуками, но голова у меня просто раскалывалась.

– Я не только это имею в виду, я просто думаю, что не очень уж люблю жизнь.

– *Плотскую* жизнь, – язвительно произнесла Вин. – Но ты можешь подняться над ней, и тогда она станет возвышенной.

– И она становится возвышенной, когда Кинги приходит к чаю?

– Кинги и я – большие друзья, а дружба всегда возвышенна. И в ней есть нечто возбуждающее; иногда я думаю, даже более возбуждающее, чем действительность. Конечно, иногда то и другое совмещается, но такое бывает раз в жизни. Давай-ка вставать. Я слышу, как Ева спускается по лестнице с подносом.

Вин всегда завтракала в халате, но с Эйлин такого не случилось, и, услышав стук подноса, поставленного на стол в соседней комнате, она поспешно натянула гимнастический костюм поверх ночной рубашки. Они умылись, причесались и вышли в гостиную. Рядом с прибором Вин лежали два письма, и они обе узнали почерк на каждом из них. Вин надорвала одно письмо с адресом, написанным очень черными неразборчивыми буквами, наполовину извлекла листок из конверта, прочла «Дорогая жена!», с улыбкой засунула его обратно и открыла другое письмо.

– О! – воскликнула она, – как замечательно! Не специально для тебя, цыпленочек, но какое совпадение! Удивительно! Старый мистер Арбутнот из собора святого Дунстана в Кентрберри хочет в следующее воскресенье поменяться

с Кинги местами, где они проводят службу, а Кентрберри всего в трех станциях отсюда. Мы поедем, послушаем проповедь Кинги, а потом... потом...

– А потом, – продолжила Вин твердым тоном, – ты пойдешь и осмотришь кафедральный собор и другие виды, хорошенько пообедаешь, а я вернусь домой вечером.

Они расстались у дверей собора святого Дунстана, куда Эйлин решительно отказалась зайти.

– Я пойду в кафедральный собор, – сказала она, и Вин, хотя и пыталась разубедить ее, была этому только рада. Эйлин вошла в собор лишь за пять минут до того, как священник взшел на кафедру, чтобы начать проповедь. Это был внушительного вида средних лет джентльмен с могучим носом, розовощекий, с копной серебристых волос. Эйлин, зная толк в таких вещах, отнесла его к разряду умеренных сторонников Высокой церкви, чересчур снисходительно относящихся к Низкой церкви; для настоящего англо-католика в его облике было, пожалуй, слишком много здоровья. Она не особенно любила проповеди, но приучила себя слушать их с вниманием. Название проповеди вызвало у нее неприятное чувство – «Не обманывайтесь, Бог не даст посмеяться над собой», и когда проповедник повторил его, сделав ударение на слове «не», Эйлин раздраженно пожала плечами. Проповедник, голосом таким же серебристым, как и его шевелюра, стал говорить о том, как люди пытались отогнать от себя мысль о Высшем Всеведении Бога Отца, который, однако же, никогда не упускал из виду грешные деяния Своих детей. В Его воле было отсрочить наказание; люди раскисали в нераскрытом дурном поступке в твердой уверенности, что Бог Сын простит их, но они забывали в своем опасном заблуждении, что Бог *не* даст посмеяться над собой, что Истина выйдет на Свет Божий, что Богу принад-

лежат Отмщение и Награда и что они воздадутся в Должное Время. Кто был более уверен в себе, чем Аман, строивший козни против Мардохея¹⁰? И, однако же, царь Артаксеркс во время ночной бессонницы (и мы можем не сомневаться, что бессонница эта была наведена Богом) послал за книгой записей и прочел там, как Мардохей спас его жизнь, сообщив о двух убийцах. И слишком поздно открыл Аман, что Бог *не* позволит над собой надсмеяться. И еще был этот бедный, ослепленный Иона¹¹, который думал бежать от присутствия Господа, сев на корабль, отправлявшийся в Фарсис, а окончил путь в чреве китовом. Снова *не* дал Бог над собой надсмеяться. И не забудем жену Лотову, которая думала, что может не послушаться Божьего слова, и обратилась в соляной столп.

Эйлин вышла из собора через боковую дверь, не утешенная проповедью. Ей казалось, что один злой старик рассказывал о другом злом старике; при всей своей набожности она должна была признать, что не любит Бога Отца. Конечно, Он сотворил ее (хотя и косвенно), но это было давным-давно, и, как могла видеть Эйлин, тут не было особого повода для благодарности. Иисус был совсем другим; она всегда старалась полюбить Иисуса, и потом есть столько славных гимнов: «Иисус, одна мысль о тебе...», и «Иисус, любовь души моей», и «Когда смотрю на чудный крест», от которых ее сердце таяло в течение целого дня. И Святой Дух – Святого Духа она любила без малейшего усилия. Он был милый голубь с лилово-серебряной грудкой, Он был дуновением свежего воздуха, и как-нибудь однажды она пойдет и ляжет в высокую траву, откроет уста и наполнится Им. Иногда она думала, не попытаться ли сделать это на морском берегу, но пляж казался неподходящим местом, он был слишком грязный и колкий, весь в угольной пыли и мелкой гальке. Ничто, впрочем, не мешало ей пойти в поле и лечь там среди

травы и маргариток, подальше от узких улочек и собора, но она нащупала в кармане полкроны и пошла искать подходящее кафе. Было воскресенье, магазины закрылись, и она не придумала ничего лучше, чем сесть в пустом обеденном зале какого-то отеля и сжевать эклер и кусочек лимонного мусса, запив их чашкой шоколада со взбитыми сливками – и шоколад был не таким горячим, как ей хотелось бы.

Она вернулась на Океанскую Террасу до темноты, но сразу же зажгла шипящую керосиновую лампу, чтобы Ева видела, что они уже дома, и заперла входную дверь. На столе лежала кипа старых номеров «Иллюстрейтед Лондон Ньюс», взятых у Тэмзи после тщетных поисков чего-либо более интересного (а она перевозила журналы с одного места жительства на другое). Поблекшие изображения дам в турнюрах, шиньонах и капорах с перьями и джентльменов с бакенбардами, в цилиндрах навевали смертельную скуку; она даже не сочла их занятными, а гравюры с видами Крымской войны и группы королевских особ вызывали у нее отвращение. Девять часов, а Вин все еще нет. Она не смела лечь в постель из-за боязни не услышать стука матери в оконное стекло; прощальным напутствием Вин было: «Только постарайся не заснуть!» Эйлин слышала, как на верхнем этаже расхаживает Ева, готовя Тэмзи ко сну; но как ни было ей одиноко, видеть Еву ей не хотелось. Она оставила журналы и взяла с ночного столика матери «Сад Аллаха» – роман Роберта Хиченса. Как может мама читать такой вздор, удивилась она; у нее ведь по-настоящему хороший вкус, но она берется читать любой, самый никчемный роман, если он относительно новый. Из книги выпало письмо – то самое письмо от Сэнди, начинавшееся словами «Дорогая жена!». В общем, милое письмо... «и я надеюсь, что скоро снова увижу вас обеих, с розовыми щечками... Эйлин с удовольствием примется за работу... Мне одиноко без вас обеих...» Сэнди

был очень мил в письме; возможно, и любой другой мог бы быть мил в письме. Эйлин вспомнила, что он выступал против ее работы в страховой компании, что он хотел, чтобы она продолжила образование в колледже. Ее сердце смягчилось; наверное, она была к нему несправедлива.

Она раскрыла роман посередине, поставила локти на стол и подперла ладонями щеки; потом, понемногу погружившись в чтение, она выпрямилась на стуле и вернулась к первым страницам. В конце концов, это можно было читать, но каждые минут десять она поднимала голову и смотрела в окно. Мамы все нет! Пробыло десять. Лампа прошипела напоследок и погасла с тяжелым прощальным вздохом. Эйлин пересела на стул у окна. Каждые десять минут полисмен шел с обходом по узенькой мостовой под окном, исчезал, возвращался, вновь исчезал. Волны шлепали о берег, отступали, шлепали, шипели, свистели, ударяли, шипели, свистели, шлепали, баю-бай, детки, и так, пока не возвращался полисмен, и глаза Эйлин открывались вновь. Она боялась, что полисмен увидит ее сидящей у окна, и в то же время отчаянно надеялась: увидит. Дорогой полисмен, как чудесно твое появление, как угнетающе твое исчезновение! Но вдруг он будет проходить здесь, когда вернется Вин! Разве это не стыд, что леди возвращается одна поздно ночью? Эйлин взмолилась, чтобы ее мать оказалась у окна, когда полисмен будет на другом конце улицы. Но Вин все не приходила. Пробыл час...

Эйлин приподняла голову, склоненную на руки, лежащие на узком подоконнике, и, открыв глаза, увидела прямо перед собой, по другую сторону окна напряженное и улыбающееся лицо матери. Она вскочила и ринулась к двери; еще не отойдя от сна, она забыла, что ей следует вести себя тихо. Стоило ключу повернуться в двери, как Вин уже стояла

в холле, приложив палец к пухлым губам. Она вновь повернула ключ и задвинула тяжелые засовы с величайшим проворством и гораздо меньшим шумом, чем это получилось у Эйлин, когда она отворяла дверь. Уже через пару секунд она тихо, как мышка, переступила порог их комнаты. «Скорей, скорей, обе в постель! – прошептала Вин и присела на край кровати, чтобы расшнуровать сапожки. – Я знаю, что ужасно поступила, бедняжка ты моя! Да не стой же, не смотри так. Раздевайся и в постель».

Через мгновение они уже лежали, положив головы на подушки, каждая по свою сторону валика, который даже теперь Эйлин не забыла положить вдоль матраса. Но прежде чем заснуть, Вин чистосердечно рассказала Эйлин о том, что ее так задержало. Весь день она провела в пути в Лондон и обратно. Следующим же поездом, да-да, следующим, она уехала обратно.

Отпуск, который сначала казался бесконечным, вдруг начал подходить к концу. Была своя прелесть в покупках сувениров – крошечных кувшинчиков и чашечек с местными эмблемами для коллекции Эйлин, начатой в школьные годы, а также для подарков – и в том, чтобы достать из-под кровати сундучок (остатки прежней роскоши) и складывать в него свои пожитки. Очутившись вновь в страховой компании, Эйлин обнаружила, что люди вокруг только сейчас начали замечать ее отсутствие до данного момента. «Хорошо провели отпуск?» – спросила мисс Эрл, кладя на стол перед Эйлин пачку полисов, и отошла к другой девушке, прежде чем услышала ответ: «Спасибо, очень хорошо».

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ

Комната была безжизненна, словно интерьер мебельного магазина, в котором для придания помещению выразительности манекен, взятый напрокат из отдела готового платья, посадили у газовой печи, взятой напрокат из отдела осветительной и отопительной техники. Складки занавесок на окнах были тверды, как органные трубы, и каждый хрусталик на люстре неподвижно висел на своей проволочке; листья растений, стоявших на бамбуковой подставке, будто застыли, а глазки мыши, спрятавшейся в обшивке стены, и веер пламени в газовой горелке были неподвижны, будто нарисованные. В движении в этой комнате были только глаза плотного джентльмена, читавшего газету у камина, но и он ни разу не вывел из равновесия свое кресло-качалку. Оборвавшееся звяканье дверного звонка едва ли возмутило тишину; только благоразумная мышка убрала свою мордочку, и читатель, плотно сжав края газеты, перестал скользить взглядом по строкам. Но раздавшийся затем скрежещущий звук заставил мышь стремительно удрать внутрь стены, а читавшего встать на ноги. Люстра звякнула на подвеске, и листья растений соприкоснулись; а когда нога джентльмена с силой наступила на расшатанную половицу, веер пламени в газовой горелке сжался и выстрелил вверх с неистовым визгом.

Полный джентльмен отворил дверь; на пороге стояла высокая молодая женщина с неровно подстриженными черными волосами.

– Эйлин Шелли, – сказала она. – Мисс Пейдж говорит, что вам нужна машинистка.

Джентльмен закрыл дверь, кивнул, порылся в кармане, извлек оттуда толстый кусочек белого картона и вручил его посетительнице. «Белкин», – сказал он, вновь наклонив голову. Она неуверенно взяла карточку, нетвердо держа ее между большим и указательным пальцами. Мистер Белкин отодвинул стул от круглого стола, стоявшего посередине комнаты, и пробормотал: «Пожалуйста, садитесь», но она продолжала стоять, пока он скатывал со стола тяжелую плюшевую скатерть и ставил на освободившееся место портятинную пишущую машинку, клал папку с бумагами.

Тогда она подошла к столу, села и тайком задвинула карточку мистера Белкина под папку.

– Что за странная машинка! – воскликнула она.

Мистер Белкин обеспокоенно взглянул на темноволосую голову с выразительным профилем, склонившуюся над его любимым «Оливером».

– Это очень удобная машинка, – выступил он в ее защиту. – Очень хитроумная. Может писать на четырех языках. – Он осторожно наклонился поверх ее плеча и напечатал: «Дорогой сэръ, в ответ на Ваши письма от пятого числа текущего месяца».

– Видали? – сказал он. – Английский! – Одним пальцем он вытащил цилиндр из машинки и взял другой из коробки на столе. – Теперь будем по-французски¹.

– Нет, нет! По-русски!

Он послушно вернул французский цилиндр в коробку и закрепил в машинке русский, а потом сам сел за стол и отбарабанил строчку таинственных иероглифов.

– Еще, еще! – воскликнула она. – Я никогда не видела русских букв! – Он напечатал еще две строки. Затем ей захотелось проверить, сможет ли она сама сменить цилиндр, и после некоторой возни ей удалось извлечь русский цилиндр

и заменить его английским. – Теперь можем начинать, – сказала она.

Мистер Белкин вытащил из папки письмо, поднес его к глазам, откашлялся и начал диктовать: «Уважаемые господа, в ответ на ваше письмо от 17-го данного месяца...».

Вместо того чтобы начать печатать, Эйлин Шелли продолжала сидеть, положив запястья на край стола; ее пальцы едва касались клавишей машинки.

– Где вы научились деловому английскому? – спросила она. Он вытащил толстый том из ряда книг, стоявших на пианино, и торжественно вручил ей. Она взяла книгу, повернула к себе корешком и прочла название – «Как вести деловую переписку», затем сосредоточенно перелистала, прочитывая то тут то там по нескольку фраз, и наконец вернула владельцу.

– Вы, конечно, знаете, что такой вещи, как деловой английский, не существует.

– Возможно, вы правы. Но удобнее делать так, как все.

– А я думала, вы революционер!

Он быстро взглянул на нее, но лишь заметил, чтобы закончить разговор:

– Не думаю, что небольшая порция делового английского так уж вредна.

– Я думала, что после революции таких вещей вообще не будет. – Ее негодующий взор прошелся по плюшевой скатерти, кружевным занавескам и бесполезной люстре. – А вы говорите, что всегда будет существовать деловой английский.

– Ну, возможно, найдутся вещи поважнее, которые придется поменять, – мягко заметил он. – Продолжим? – Он вновь нервно откашлялся. – Прошу меня извинить. Это будет деловой английский. Ничего не поделаешь.

Мистеру Белкину, казалось, доставляло удовольствие следить за ритмично порхающими пальцами машинистки.

– Слепая система, – сказал он. – Я вижу, вы очень профессиональны.

Нет, отвечала Эйлин, она самоучка и печатает не очень быстро, но зато никогда не делает грамматических ошибок.

Когда письма – их было шесть, и все они адресовались фирмам по производству сельскохозяйственной техники – были положены в конверты, а Эйлин Шелли неловкими движениями закрывала непривычную машинку, мистер Белкин сидел молча, положив руки на колени и уставившись в пол. Внезапно он поднял голову и посмотрел на нее сквозь пенсне с золотым ободком.

– Кто вам сказал, что я революционер?

– Беатрис Пейдж. Ну, мисс Пейдж, которая рекомендовала вам меня. Она сказала, что вы политический эмигрант.

– А что вы знаете о политических эмигрантах?

– Я читала «Записки революционера» князя Кропоткина, и у меня дядя и тетя социалисты.

– А сами вы социалистка?

– Пожалуй, да. Потому-то я и оставила дом. Не могла вынести атмосферы.

– Слишком реакционная? – предположил он.

– Вот именно! Реакционная! – радостно откликнулась она. – Моя мама, впрочем, человек широких взглядов. Она считает, что все политики стремятся к лучшему и не имеет большого значения, либералы они или консерваторы. Но мой отчим ужасный реакционер. Когда мне было шестнадцать, он заставил меня выучить названия всех книг Библии, и я почувствовала такое унижение, что решила оставить дом, как только получу деньги, которые оставил мне отец. Их хватило на переезд и на шесть месяцев аренды жилья. И еще я купила машинку. У меня еще есть в банке девяносто семь фунтов четыре шиллинга и шесть пенсов.

– Капиталистка! – улыбнулся мистер Белкин.

Когда она собралась уходить, он попросил у нее карточку, напомнив – и улыбка за стеклами его пенсне могла показаться насмешливой, – что он дал ей свою. Эйлин схватила карточку со стола и засунула за бахрому поверх юбки.

– У меня нет карточки, – сказала она.

– Вам надо ее завести, – ответил он. – «Мисс Эйлин Шелли. Очень хорошая машинистка».

Она написала свое имя и адрес на листе машинописной бумаги и добавила: «Неплохая машинистка».

Мистер Белкин взял лист и поднес к глазам.

– Голден-сквер? Я думал, вы живете в Хэмпстеде².

– Так и есть. Это за углом.

– Но Голден-сквер в центре. Это маленькая-маленькая улочка, рядом с Риджент-стрит.

Эйлин подумала, как удивительно, что иностранец так хорошо знает Лондон, и произнесла это вслух.

– Мой Голден-сквер это всего лишь мощный дворик рядом с *Роуей*. Вы ведь знаете *Роуу*?

Мистер Белкин знал *Роуу*. Он проходил мимо особняка по пути в Хэмпстед-Хит.

– Тогда вы должны были проходить мимо моего дома, – сказала Эйлин. – Перед ним пустая хозяйственная постройка, на углу *Роуи* и Голден-сквер. И огромное дерево.

Мистер Белкин, колеблясь, предложил проводить ее до дома, но резкий возглас Эйлин «Нет, нет!» отпугнул его, и он не решился настаивать. Сожалея о вырвавшихся словах, Эйлин вышла одна на улицу, оживляя крутой подъем от Хай-стрит к Голден-сквер приятными мечтаниями о том, как ценящие ее труд русские только и ждут возможности щедро заплатить ей за несколько часов машинописи и приятной болтовни, включающей по случаю урок английского. Мистер Белкин научит ее русскому, а когда война окончится, она поедет в Петербург и выйдет замуж за графа или казака и опишет свою жизнь.

Прошла неделя, но приглашений от мистера Белкина не последовало; Эйлин начала думать, что напугала его свирепым отказом проводить ее домой. Поэтому она обрадовалась, когда однажды утром в ее дверь постучали, и хотя это оказалась всего лишь Беатрис Пейдж, она все равно была рада.

– Я пришла с поручением от славянина, – сказала Беатрис. – Бедняга не знает, удобно ли ему будет зайти к тебе и сообщить, что ему нужно продиктовать еще несколько писем. Я объяснила ему, как могла, про почтовые услуги в Лондоне, но он остался в сомнении. Могу я сказать ему, что он может прийти? А знаешь, я никогда не была в твоей берлоге. Просто божественно.

– Конечно, он может прийти.

– Так я ему и скажу. А здесь есть и другая комната?

– Горница пророка³.

Беатрис подняла щеколду на узкой дощатой двери и, сунув голову внутрь, обнаружила там кучу одежды, сваленной на стуле, и таз с невымытой посудой на полу.

– Скорее похоже на комнату ужасов, – произнесла она. – Впрочем, оттуда у тебя прекрасный вид на отхожие места позади Хит-стрит. – Она вернула голову в комнату и опустила щеколду на двери. – Низкий потолок в общем уютен, но тут может быть душновато. По-моему, все это чересчур убого. Не думаю, чтобы Тодд захотела жить в такой дыре.

– Кто такая Тодд?

– Моя служанка, разве ты не знаешь?

– Я думала, все служанки мобилизованы на военные работы.

– Ну, если смотреть за мной не военная работа, – рявкнула Беатрис, – то я уж и не знаю, что такое военная работа. А разве у твоей матери не осталось служанки?

– О, Анни лет под сто, и она чуть ли не паралитик. – Беатрис искренне рассмеялась, и на миг между ними устано-

вилось нечто вроде симпатии, в которой была и доля насмешки.

Блуждающий взор Беатрис остановился теперь на визитке мистера Белкина, прислоненной к медному подсвечнику на каминной полке.

– Похожа на карточку торговца углем. Не хватает только надписи в углу «Все заказы выполняются точно в срок» и списка знаменитых клиентов на обороте. Этот человек даже не знает, что визитные карточки следует гравировать, а не печатать.

– Это имеет значение? – спросила Эйлин.

– Конечно, нет, но эта выглядит исключительно гнусно. Любопытно, что значит здесь буква С – Садрах, Соломон?

– Это буква Д. Его зовут Давид.

– Прошу прощения. Меня ввели в заблуждение эти завитушки. Я, впрочем, не думаю, что Белкин его настоящее имя. Всех их разыскивает полиция.

– Я не верю этому! – возмущенно воскликнула Эйлин.

– Я вижу, ты к нему равнодушна.

– Я думаю, он ужасно милый.

– С его птичьим языком, животиком и всем прочим? А ты видела его комнату? Она из этих парных комнат – там всего по паре, кроме пианино.

– Обычные меблированные комнаты, – безразлично произнесла Эйлин.

– А что, как ты думаешь, он считает правильным жилищем? – Все это время Беатрис стояла посреди комнаты, подчеркнуто игнорируя стул, который ей пододвинула Эйлин. Теперь она резко опустилась в кресло у камина, но тут же вскочила и пересела на некрашенный стул, стоявший у стены.

– Обитая мебель это нечто слишком роскошное, чтобы быть удобным. У меня дома только старый деревянный диванчик и кресла, отполированные спинами двух поколений.

Моя мать была Тэлбот, как ты знаешь, а может, не знаешь. Мне надо идти. Надеюсь, ты поладишь с твоим славянином. Мне от него одни неудобства, вечно он заманивает Самсона к себе в комнату и кормит ливерной колбасой и вонючими сырами. Самсон питается по-научному, и я не позволю испортить его фигуру этому чертову политэмигранту!

Эйлин постаралась придать голосу сочувственность, которой не испытывала:

– Тебе надо сказать ему, чтобы он так не делал.

– Я *уже* говорила.

– А он продолжает?

– Теперь он то и дело приносит Самсона к моим дверям и говорит «Получите вашу кошку». Но я не знаю, что происходит в мое отсутствие. Однажды Самсон целых полчаса отскребывал с усов крупинки красной икры.

– Я всегда думала, что икра черная.

– Они покупают в Сохо красную, точнее, ярко-оранжевую. Он, конечно, совершенный хам. С другой стороны, я подозреваю, его можно приручить. Ты должна попытаться выяснить, какая сторона в его характере преобладает.

– Я уверена, что он не хам, – сказала Эйлин.

День шел за днем, но мистер Белкин не подавал о себе вестей, пока однажды вечером, выглянув в окно, Эйлин не заметила плотную фигуру, переминающуюся с ноги на ногу у калитки ее дома. Из-за занавески она могла наблюдать, как он поднял засов и направился было по вымощенной дорожке, ведущей к открытой двери, но передумал, повернулся и быстро зашагал в сторону метро. После стольких разговоров и дум о мистере Белкине Эйлин не хотелось, чтобы он выскользнул из ее рук, и с возгласом «Десять шиллингов уходят!» она ринулась вниз по лестнице во двор и побежала за коренастой, быстро удаляющейся фигурой.

– Почему вы ушли? – запинаясь, спросила она, нагнав его. Он повернулся к ней со смущенным видом.

– Полагаю, я сделал ошибку.

– Дверь в дом была открыта. Может быть, вы не разглядели номер?

– Нет, я видел. Но я видел, как выходил полисмен.

– Да это же мистер Ламберт отправился на дежурство. Он хозяин дома, где я живу.

– Глупо с моей стороны. Пожалуйста, извините.

– Хотите, я зайду к вам и напечатаю письма?

– Если это удобно.

Они пересекли Хит-стрит и вышли на Хай-стрит.

– Вы не любите полицейских, потому что вы революционер? – спросила Эйлин.

– Мы, наверное, чересчур готовы всюду видеть слежку. Наша жизнь делает нас подозрительными.

Эйлин широко раскрыла глаза.

– Вы и про меня подумали, что я шпионка?

– Нет, нет, никогда в жизни.

– Тогда почему вы убежали?

– Во-первых, я видел полисмена, выходящего из дома. Мне не понравилось. Потом я увидел такой простой домик с открытой дверью и узенькой деревянной лестницей, совсем как в трущобах, и я подумал, я совершил ошибку.

– Вам не нравится мой уголок? А друзья мне завидуют. Они говорят: «Правда Эйлин нашла себе хорошее местечко?»

– Нет, мне нравится, – вежливо сказал мистер Белкин, но он, очевидно, с трудом мог поверить, что девушка из хорошей семьи по собственному выбору станет жить в доме, предназначенном для низших классов.

– Здесь тоже очень мило, – сказала Эйлин, когда они свернули с Хай-стрит на площадь Перрин-корт. – Мне нравится вид на эту старую площадь. И старое дерево посередине. Все так мирно.

Мистер Белкин взглянул с недоверием.

– Мои друзья думают, что я нашел себе очень плохое место для житья.

– А где же живут они сами?

– Уэст Хэмпстед, Парламент Хилл...

– Парламент Хилл! Ужас!

– У них есть все удобства. А у вас есть?

– У меня есть газовая горелка, а в постройке во дворе кран.

Мистер Белкин показал на зарешеченное окно ветеринарной лечебницы над входной дверью.

– Что за радость жить над ветеринаром?

– Зато очень удобно для мисс Пейдж, когда вы накормите ее кота до тошноты.

– Ах, Самсон! Вы знаете Самсона?

– Я знаю, что вы пичкаете его заграничной едой.

Теперь они стояли на лестничной площадке второго этажа, у дверей квартиры мистера Белкина. Он вставил громоздкий ключ в скважину и впустил Эйлин с улыбкой, которую она сочла загадочной и, тем самым, привлекательной.

Писем было немного, но мистер Белкин сказал, что все они срочные. Когда письма были напечатаны и уложены в конверты, мистер Белкин извлек из одной из двух парных этажерок красного дерева, стоявших по обе стороны каминна, чайницу и металлический кофейник, на крышку и изогнутую ручку которого был нанесен узор в виде выющейся омелы, а по бокам – медальоны с головкой улыбающейся женщины. Эйлин удивилась, увидев, как он наполняет его водой из графина и осторожно ставит на газовую горелку.

– Разве у вас нет чайника? – спросила она, тут же покраснев от своей бестактности.

Мистер Белкин объяснил, что кофейник стоил дороже чайника.

– Мой принцип: покупай лучшее. Кофейник – три шиллинга и шесть пенсов, чайник – полкроны. Я покупаю кофейник.

– Но вы не можете так поступать всегда, – сказала Эйлин. Он был, казалось, огорчен.

– Это... «ужас»?

– Но в чайнике удобнее приготовить чай.

С той же этажерки мистер Белкин снял кругленький металлический заварочный чайничек.

– Надеюсь, этот чайничек вам понравится.

Эйлин было собралась сказать, что чайничек в самом деле очень мил, как громкий стук в дверь заставил их вздрогнуть. Прежде чем мистер Белкин успел подойти к двери, она распахнулась и в проеме показалась голова Беатрис Пейдж.

– Прошу прощения, если я *de trop*¹, – пропела она, окидывая быстрым взглядом комнату. – Я ищу Самсона. Я думала, вы опять соблазните его.

– Я не соблазняю ее, – с достоинством произнес мистер Белкин. – Это она соблазняет меня.

– Он!

– У меня на родине про кошку говорят «она».

– Ветеринар внизу подтвердит вам, что Самсон давно уже среднего рода, но мы говорим «он», щадя его чувства.

Мистер Белкин, очевидно, не понял ничего из сказанного, но пригласил ее присесть и выпить чаю. Беатрис коротко поблагодарила, убрала голову и хлопнула дверью.

– Она всегда так врывается, даже не позвонив? – спросила Эйлин.

– Звонок не работает. Как вы впервые пришли, он больше не звонит.

– Вы хотите сказать, что я его испортила?

– Как вы пришли, он больше не звонит.

Когда, выпив две чашки чаю с лимоном, Эйлин поднялась, чтобы попрощаться, она с удивлением почувствовала легкое трение кошачьего тела о свои ноги.

– Самсон был здесь все это время! А вы так ничего и не сказали!

– Я не доносчик, – отвечал мистер Белкин.

Теперь профессиональные услуги Эйлин стали нужны мистеру Белкину уже по нескольку раз в неделю, и скоро у них вошло в привычку при каждой встрече договариваться о новой. Она повредила его машинку, пытаясь заменить русский цилиндр на английский, а он сделал еще хуже, пытаясь исправить поломку, и вскоре они были в совершенно дружеских отношениях. Каждое занятие заканчивалось чаепитием и беседой. У мистера Белкина всегда наготове было много вопросов, на которые Эйлин отвечала с удовольствием и с избытком. Ему было любопытно узнать, что она никогда не училась в колледже и, более того, не осталась в школе после шестого класса.

– Моя мама не верит в школы, – объясняла Эйлин, – а мой отец умер, когда мне было всего шесть лет. Отцовская родня совсем другая. Они всегда уговаривали маму отдать меня в колледж.

– Ваша социалистка тетя... – пробормотал он.

– А вы ходите в русский клуб на Шарлотт-стрит? – вдруг спросила Эйлин. – У моего дяди, доктора Мосса, там масса пациентов. Возможно, вы его знаете.

Лицо мистера Белкина посветлело.

– Конечно, я слышал о докторе Моссе. Он спас моего товарища, когда все другие врачи хотели оперировать ему опухоль мозга. Доктор Мосс сказал, что вылечит его без операции, и вылечил.

– По части диагноза дяде Солу нет равных, – с удовольствием сказала Эйлин.

– И он лечил еще одного моего друга от сифилиса. Он первым из врачей в Лондоне стал применять сальварсин.

Эйлин никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь сознался в дружбе с человеком, страдающим венерической болезнью.

ческой болезнью. Ведь совершенно очевидно, что сифилисом болеют люди совсем другого круга.

– Мой дядя был в молодости анархистом, – сказала она. – Теперь он просто социалист. Хотела бы я знать, в чем разница.

– Хотите, я объясню вам?

– Не сейчас! – быстро сказала она. – Давайте выпьем чаю!

Улыбаясь, мистер Белкин стал высыпать миндальное печенье из пакета на металлическое блюдо.

– Любимые бисквиты моей сестры, – сказала Эйлин, наблюдая за его руками.

– А какие ваши любимые?

– Мне нравятся те, которыми вы меня угощали в прошлый раз. Помните, бисквиты Гарибальди? Их еще называют «с мушиной начинкой».

– Я их купил из-за имени, но раз вы говорите «с мушиной начинкой», я никогда к ним больше не притронусь.

– Ах, как вы чувствительны! А имбирные орешки (ginger nuts) вы знаете? Вот они и есть мои любимые.

На свет появилась маленькая записная книжка и серебряный карандаш мистера Белкина.

– Скажите по буквам, пожалуйста!

– G-i-n-g-e-r... -- Поглядев через его плечо, она увидела, как он пишет тесным косым почерком «Jinjer nutts».

На лестнице послышались громкие шаги.

– Клянусь, это Беатрис, – сказала Эйлин. – Вы никогда не запираете дверь?

– Запираю, когда я один, но когда со мною юная леди... – Он положил ей на плечо руку, полную, теплую и твердую, и улыбнулся очень по-доброму.

Словно молния, вырвавшаяся откуда-то из самых ее глубин, пронзило Эйлин это прикосновение.

– Что? – хрипло спросил он, хотя Эйлин не сказала ни слова.

Властный стук в дверь дал мистеру Белкину время лишь на то, чтобы убрать руку. Беатрис не вошла в комнату – она вторглась в нее.

– А вы знаете, что строго запрещено не давать людям спать ночью стуком машинки? – пролаяла она.

Эйлин устало свирепое выражение ее лица, но мистер Белкин был непроницаем.

– Полагаю, она не может стучать, когда на ней надета крышка, – сказал он, взглянув на закрытую машинку.

– Про машинку говорят *it*, – резко ответила Беатрис. – В английском языке неодушевленные предметы среднего рода. – Но она все же присела, когда мистер Белкин придвинул ей стул.

– Вечно я забываю. Но почему же про *sheep* говорят «она»?

– Потому что *sheep* одушевленные – они едят траву и рожают ягнят, – объяснила Эйлин.

– Я имел в виду те *sheep*, которые на море, а не *ship*⁵, которые едят траву и рожают ягнят.

– Низ обозначен верхом, чтобы избежать путаницы, – произнесла Беатрис.

Мистер Белкин покраснел, но рассмеялся вместе с девушками.

Было выпито порядочно чаю, и печенье съедено до последней крошки, но разговор не клеился. Шумно зевая, Беатрис сняла очки и протерла их сложенным платком.

– Простите, – фальшиво вздохнула она сквозь очередной зевок во весь рот. – Пойдем, Эйлин. Я провожу тебя до угла.

Мистер Белкин направился с девушками к входной двери, но Беатрис не дала ему возможности продолжить путь, попросту захлопнув дверь прямо перед его носом.

– Почему ты так груба с ним? – спросила Эйлин.

– Меня это забавляет. Мне всегда хочется вывести его из себя.

– Думаю, у тебя не получится.

– Ты в него влюблена?

– Безумно, – сказала Эйлин. – Я хочу сказать, он кажется мне ужасно милым. А ты?

– Я думаю, что вполне могла бы.

У Эйлин был определенный день, когда она обедала в родительском доме, но теперь ей хотелось нарушить принятый порядок, так она рвалась рассказать матери о своем новом друге. Не успела она позвонить в звонок, как дверь распахнулась и на пороге возникла ее сестра Дорис в розовом плаще на мягкой шерстяной подкладке; поверх темных волос она накинула пестро-полосатую шаль.

– Мама дома? – нетерпеливо спросила Эйлин, и Дорис махнула фланелевой сумкой для ботинок в сторону столовой в конце коридора и уже собралась спуститься по ступенькам на мостовую. Эйлин осмотрела ее: «На тебе моя шаль!» Дорис начала с видимым усилием дергать за концы шали, не пытаясь при этом, как заметила Эйлин, развязать ее на самом деле. «Возьми себе эту дрянь!» – воскликнула она, продолжая мять в руках шаль, но поспешно засунула ее концы под плащ, когда Эйлин с нетерпеливым жестом вошла в дом.

Мать сидела в кресле в черном халате и вельветовых тапочках и читала роман из библиотеки Мьюди⁶. Эйлин с ревнивым чувством отметила, что стол накрыт на троих. Вин взглянула на нее, улыбнулась, прочла еще несколько строк, но положила книжку текстом вниз, когда Эйлин наклонилась поцеловать ее. Обе они притихли при звуке двери, открываемой ключом, а потом аккуратно закрытой. После короткой паузы в коридоре слышались неровные шаги и другая дверь открылась и закрылась все с той же неторопливой аккуратностью.

– Я уже забыла, что он хромает, – сказала Эйлин. – Он просто-таки ковыляет.

– Каждый день спешит в метро и всегда несет этот тяжелый чемоданчик в одной и той же руке, – безучастно сказала Вин.

Эйлин снова взглянула на стол.

– Кого вы ждете?

– Сегодня день Грэйси, – ответила Вин, повысив голос, так как в этот момент в прихожей раздался звонок. – Я уж было надеялась, что она не придет. Сэнди раздражается, когда у нас к обеду больше одного человека.

– Я уйду! – воскликнула Эйлин.

– Уйдешь? – отозвалась тетя Грэйс, входя в комнату. – Как раз когда я пришла?

– Теперь ты не можешь уйти, – нервно сказала миссис Харт. – Сэнди видел твои вещи в прихожей.

– У меня нет никаких вещей. Я пришла налегке.

Тетя Грэйс была шокирована.

– Выйди я без пальто, я бы чувствовала себя служанкой, пробирающейся по черной лестнице.

– Я всегда ей говорю, – с раздражением произнесла Вин. – Конечно, ты можешь остаться, Эйлин, раз уж пришла. Просто Сэнди любит знать заранее, когда люди приходят к обеду. Ты же знаешь, карточки на мясо и все такое.

– Ты говорила, чтобы я не делала фетиш из приходов по средам.

– Я всегда рада видеть тебя, дорогая. Ты знаешь.

Открылась дверь, и в комнату, хромая, вошел маленький человек в сером костюме.

– А! – воскликнул он вовсе не дружелюбно. – Грэйс! Эйлин! Целое семейное сборище. – Он подставил колючую лиловую щеку Эйлин для поцелуя и наклонился вперед, выставив локоть, чтобы подать Грэйс иссохшую ладонь. Затем он прикоснулся губами к скуле жены, и все заняли места за столом. Эйлин повернулась на стуле и залезла в средний ящик буфета, где нащупала нож, вилку и салфетку, вдетую в костяное колечко. Мятая салфетка, казалось, была единственным предметом в доме, который обрадовался ей. Тетя Грэйс долго с сомнением изучала свою салфетку, прежде чем из-

влечь ее из целлулоидного колечка. Вин быстро вытащила свою из резного черепахового кольца, а Сэнди, священнодействуя, вынул салфетку из серебряного чеканенного кольца, взял трепещущий квадрат за два угла и расправил его на коленях. Старая служанка вошла с блюдом, где поверх картофельного пюре лежали пять котлет, и поставила его перед хозяином. Сэнди разделил лишнюю котлету на четыре крошечные порции и стал раскладывать еду точно выверенными движениями.

Молчание прервала тетя Грэйс.

– Твой дом недалеко от Фрогнала?⁷ – спросила она.

– Совсем рядом. Верх Фрогнала портит вид на *Роу*.

– Вовсе нет, дорогая, – сказала миссис Харт.

Тетя Грэйс любезно переменяла тему.

– У Дадли-Кларков было огромное владение во Фрогнале. Они устраивали там великолепные приемы в саду, но кэбмены говорили, что лошади падают на подъеме, и они продали владение и купили виллу на Ривьере.

– Если ты знаешь Фрогнал, то легко найдешь мой дом, – сказала Эйлин, как будто для нее не было ничего приятнее, чем визит надоедливой тети Грэйс. – Идешь прямо из метро до коттеджа с сарайчиком на переднем плане. Его невозможно пропустить, там на улице растет огромное дерево, говорят, ему не меньше ста лет.

– Дуб? – почтительно осведомилась тетя Грэйс.

Эйлин была уверена, что это не дуб. У него были слишком легкие, дрожащие листья.

Сэнди отложил нож и вилку, прислонив их к краю тарелки. Все ждали, когда он прожует и проглотит кусок. Даже после этого он сначала вытер губы и выпил глоток воды, а уж потом заговорил.

– Вероятно, он принадлежит к семейству тополей: *Populus tremula*, *Populus nigra* или *Populus alba*⁸.

– Я уверена, что это не тополь, – небрежно сказала Эйлин. – Тополя высокие и тонкие, а это дерево ветвистое.

– Высокий и тонкий из них только *Populus fastigiata*, его родовое название «ломбардский тополь» из-за распространенности на юге Франции.

Слово взяла миссис Харт.

– И тополя колеблемые ветром белые листья, – произнесла она. – Я полагаю, Теннисон имел в виду *Populus alba*.

Но слово *alba*, как оказалось, относилось к беловатой коре дерева, отличающей его от других видов с более темными стволами, особенно от *Populus fastigiata*. И поскольку Эйлин упомянула непрерывное дрожание листьев, ее дерево было, вероятно, *albus tremula*, так часто встречающееся на городских улицах.

– Ты не чувствуешь себя одинокой, дорогая? – опрометчиво спросила тетя Грэйс.

– У меня там недалеко друзья, – отвечала Эйлин. – Беатрис Пейдж живет в десяти минутах ходьбы.

– Школьная подруга Эйлин, – объяснила миссис Харт. – Ты знаешь, ее мать была из Тэлботов.

Тетя Грэйс расплылась в улыбке.

– Так это или не так, – вставил внимательно слушавший Сэнди, – мне кажется, что подруга Эйлин взяла на себя большую ответственность, поощряя ее отказаться от обеспеченной домашней жизни ради безумной идеи о собственном деле.

– Я сама обеспечиваю себя с тех пор, как ушла из страховой компании, верно? – резко ответила Эйлин. – Я еще ни разу не просила у вас помощи, правда?

Миссис Харт через стол бросила на Эйлин умоляющий взгляд.

Тетя Грэйс не могла удержаться, чтобы не вмешаться в разговор.

– Все твои родственники, Эйлин, считают, что было опрометчиво оставить компанию.

– Вовсе не все, – многозначительно сказала Эйлин. – Шелли никогда не думали, что дочери папы станут клерками. Они были уверены, что Дорис и я поступят в колледж.

– Прояви ты к этому хоть малейшее желание, я бы его только поддержал, – серьезно произнес Сэнди.

– Шелли хотели, чтобы Эйлин и Дорис стали учительницами, – вмешалась миссис Харт. – Находиться вечно в женском обществе, не встречаться ни с кем, кроме учительниц, проводить каникулы в общежитиях Христианской ассоциации молодых женщин...

– По крайней мере, они зарабатывают себе на жизнь, – сказал Сэнди.

Эйлин, как могла, рассказала о своей работе для мистера Белкина. Отчим был непроницаемо серьезен, а миссис Харт сказала, что надеется, что ни одна из ее дочерей не выйдет замуж за иностранца. Но тетя Грэйс, которая скорее готова была увидеть свою дочь в гробу, чем замужем за корсиканцем, признала, что ей доводилось встречать очаровательных русских в одном отеле в Берне.

– Он не особенно очарователен, – сказала Эйлин. – Но он ужасно мил.

– А можно узнать, что за занятие выбрал у нас в стране сей чужеземец? – спросил Сэнди в перерыве между пережевыванием пищи.

– Письма, которые я перепечатаваю, большей частью обращены к английским фирмам, продающим сельскохозяйственную технику в Россию. И еще два человека хотят брать у него уроки русского языка.

– Вероятно, это прикрытие более зловещей деятельности, – легкомысленно произнесла миссис Харт. – Ну, надеюсь, он не станет учить тебя бросать бомбы в короля.

– В любом случае, это ненадежный источник существования, – сказал Сэнди. Даже великодушный Сэнди, казалось, рассматривал каждого нового знакомого Эйлин как возможного мужа.

Дорис, внезапно появившаяся в дверях с оторванным каблучком, поспела к концу обсуждения. Ее слово было последним.

– А сколько лет мистеру Белкину? – спросила она.

– Сорок, – быстро ответила Эйлин, и Дорис тут же испарилась.

Мистер Белкин снова исчез с горизонта, и Эйлин уже стала бояться, что он отождествил ее с Беатрис и ее наглым поведением. Но неделю спустя пришла открытка с ноттингемским почтовым штемпелем, с адресом, написанным уже знакомым ей чужестранным наклонным почерком. Мистер Белкин писал, что его вызвали по делу, но через день или два он вернется и тогда даст себе смелость сообщить об этом мисс Шелли. И в самом деле, через два дня мистер Белкин появился у ее дверей со своей портативной машинкой и портфелем, объяснив, что он предпочел бы, если она не возражает, работать у нее дома.

– Я думаю, здесь, наверное, нас будут меньше прерывать.

Он неуверенно остановился посередине комнаты, где потолок был лишь на несколько дюймов выше его головы.

– Он не упадет на вас, – ответила Эйлин на его нервный взгляд, устремленный вверх. Она взяла машинку и поставила на пол у стены. – У меня есть своя. Да садитесь же.

Он опустил в кресло у камина.

– Похоже на комнату русского студента, – сказал он, оглядывая скудно обставленную комнату с побеленными стенами, без занавесок на окнах и без ковра. Он вытащил из портфеля знакомую папку и спросил: «Где мы будем работать?»

– Здесь, – сказала Эйлин, приподняв откидную крышку стола, прислоненного к стене. Он удивился, увидев, как она повернулась на стуле, на котором она устроилась рядом со столом, подняла щеколду маленькой дверцы у себя за спиной и просунула руку в отверстие; еще более он был удивлен, увидев, что ее рука вернулась назад с пишущей машинкой.

Мистер Белкин поднес напечатанное письмо к глазам и прочистил горло, но вместо того чтобы начать диктовать, сказал, глядя вверх бумаги:

– Я хочу вас кое о чем попросить.

Эйлин густо покраснела.

– Не дадите ли вы мне уроки английского?

Он бросил на нее острый взгляд, и Эйлин была уверена, что он заметил ее побагровевшие щеки.

– Я никогда в жизни не давала уроков, – пробормотала она.

Мистер Белкин откинулся в кресле и даже перекинул ногу на ногу.

– Вы могли бы объяснить употребление *present perfect*?

– Зачем вам это?

Мистер Белкин вздохнул.

– Мы могли бы читать, – сказал он, снова вздохнул и попросил разрешения закурить.

Вынув сигарету, он положил пачку на стол, а Эйлин вытрясла оттуда еще пару сигарет на папку с письмами.

– Да в них почти нет табака! – воскликнула она.

– Это русские папиросы, с мундштуком. Очень гигиенично.

– Их можно достать в Лондоне?

– Я вез с собой. Они хотели отобрать у меня в Довере – говорят, слишком много, но я сказал: «Я думал, Англия позволит мне курить сигареты моей родной страны». И тамо-

женник засмеялся и пометил каждую пачку. Я слышал, он сказал человеку рядом с ним: «У парня тоска по родине».

Эйлин сняла крышку с машинки, но в этот момент высокий ясный голос внизу спросил у хозяйки, дома ли мисс Шелли. Эйлин метнулась к двери и повернула ключ в замке. Невидимый посетитель поднялся по лестнице и стал стучать в дверь снова и снова, пробовал между стуком ручки двери и, наконец, сдался и стал медленно спускаться вниз. Даже услышав стук каблуков по тротуару на улице, двое в комнате отважились заговорить только вполголоса. В комнате стало темнеть, и перед тем как сесть к столу и заправить лист бумаги в машинку, Эйлин зажгла газ. В правом верхнем углу листа она напечатала адрес мистера Белкина и дату и передвинула каретку, чтобы строчкой ниже напечатать «Уважаемые господа». Но больше в этот день они не печатали⁹. Она встала и оперлась на ручку кресла, в котором сидел Белкин. Тут же он рукой обвинил ее талию и прижал к своему твердому бедру. Она почувствовала беглые поцелуи на щеке, но когда повернулась и подставила под поцелуй губы, Белкин отвернулся. «Негигиенично», – сказал он. Эйлин отпрянула, сидя на спинке кресла. Он провел пухлой белой рукой по ее вспыхнувшему лицу и убрал со своего лба волосы.

– В моей стране, – сказал он, – девушки целуются, только если готовы на всё.

Честно говоря, Эйлин в этот момент была не так уж готова на *всё* – немного подготовительных действий, думала она, не помешало бы, – но она не могла допустить, чтобы он усомнился в искренности ее чувств, и упала в его объятия. *Всё*, как оказалось, было не так уж и много, но что-то не позволило ей выказать свое разочарование. Ей так и не удалось убедить его поцеловать ее «по-настоящему». Даже самые целомудренные романы заканчивались словами «их

уста встретились», и Эйлин вполне невинно осведомилась, почему ему это так не нравится.

– Нет, нравится, – успокоил он ее, – но это негигиенично. – И добавил с разрушительной натуралистичностью: – И потом, я не могу дышать только носом. Наверное, у меня миндалины.

– Надо их удалить, – сказала Эйлин.

И все же она не могла смеяться над ним, как она потешалась раньше над многими молодыми людьми по куда более пустячным поводам. В нем были теплота и надежность, в которых она так нуждалась.

Когда ее возлюбленный ушел, Эйлин спустилась по деревянной лестнице запереть за ним дверь, но прелесть ночи поманила ее выйти из дому. Под огромной луной дома и мостовые казались белыми, а листья *Populus alba tremula* парили над чернильным озером, созданным их собственной тенью на мостовой. Легкий ветерок прошелестел сквозь листву и взъерошил короткие волосы на висках Эйлин. Она зашла в сарай, чтобы умыться из крана ледяной водой, прежде чем подняться в свою комнату. Она не ощущала восторга, но на нее, казалось, снизошло великое спокойствие, и она легла в постель и проспала девять часов.

Первое, что увидела Эйлин, раскрыв глаза, была портативная пишущая машинка мистера Белкина. «Ему придется вернуться за ней», – сказала она себе, бессознательно выдав страх от мысли, что он никогда не вернется. Не говорила ли ей мама, что для девушки поистине роковой поступок отдать все до брака? Бóльшую часть дня она провела у окна, а к восьми часам вечера стала строить планы, как вернуть Белкину его машинку. Она как раз размышляла, будет ли лучше снять чехол и положить внутрь полное достоинства письмо или послать мистера Ламберта отнести машинку по

адресу Белкина и вручить ему ее, не говоря ни слова, когда услышала легкие шаги на лестнице и осторожный стук в дверь.

Мистер Белкин с обычной своей серьезной вежливостью поздоровался и поцеловал ей руку, что она сочла очень милым: до сих пор никто не целовал ей рук. Первые его слова, после того как он повесил пальто и шляпу и уселся у камина, были:

– Прошлой ночью по моим следам шли до самого дома.

Эйлин была поражена.

– Неужели Беатрис?

– О, нет, нет!

– Ну так уж, конечно, и не полиция!

Он лучезарно улыбнулся.

– Собака! Маленькая беленькая собачка! Она шла за мной всю дорогу до твоего дома, а когда я выходил от тебя, она ждала меня на углу. Я думаю, она, как я, – у нее нет дома.

Эйлин подошла к нему и положила голову на плечо, счастливая от гигиенических поцелуев, которые осыпали ее щеку.

– Ты храбрая девушка, – пробормотал он. – Ты доверилась чужаку, иностранцу. Мне нравится. Ты не пожалеешь. Мне доверено много денег, жизни многих товарищей, и я никого не подвел. Со мной ты будешь в безопасности.

– С тобой я чувствую себя защищенной, – сказала Эйлин. – Не знаю почему.

– Со мной ты всегда будешь в безопасности, – повторил он, – но когда прозвучит набат Революции, я должен буду пойти за ним, где бы я ни был, даже если мне придется покинуть тебя.

– Я пойду за тобой. И никто из нас не покинет друг друга.

– Ты станешь революционеркой? – улыбнулся он.

– Тебе придется меня научить, – ответила Эйлин.

Есть истина, не удостоенная подобающего всеобщего признания, что, когда отношения двух людей устанавливаются счастливо, они тут же стремятся изменить их. Закоренелый революционер и мятежная дочь тратили непоколебительно много своей свободы на обсуждение вопроса о законном браке. Они впустили внешний мир в то, что казалось лишь их двоих, и некий аромат тайны навсегда испарился из их отношений. Давид считал, что революционер не должен связывать себя семейными узами, но вынужден был признать, что большинство из них все-таки так поступают. Он легко соглашался с тем, что ему хотелось бы жить вместе с Эйлин, чтобы избежать горечи постоянных расставаний. А это, конечно, подразумевало брак, потому что Давид как иностранец должен был сообщать полиции о любой перемене адреса, а домовладелица быстро открыла бы из его бумаг, что они живут во грехе. Подведя Давида к этому пункту, Эйлин неизменно поднимала тревогу.

– А что, если мы потом передумаем, но уже будет поздно?

– Я не передумаю.

– У тебя никогда не бывает сомнений?

– Когда решение принято, сомнения только пустая трата времени.

– Так все-таки они у тебя есть? Какие?

Давид прочистил горло, сунул в рот сигарету, снова вынул ее, положил ногу на ногу и начал:

– Во-первых, брак против моих принципов, и я поклялся никогда не жениться на девушке из буржуазной семьи. И потом, ты такая неряха. Я так долго жил один и привык, чтобы все вещи были на своих местах.

Тревоги Эйлин обратились в противоположную сторону, и она сказала:

– У тебя будет своя комната. У нас дома никто не заходит в кабинет моего отчима, и это единственная опрятная комната.

Давид возразил, что ему не нужен кабинет, в который не может зайти его собственная жена. Просто Эйлин научится быть аккуратной, если по-настоящему захочет. Все, что от нее требуется, – это класть каждую вещь на свое место, когда в ней перестает быть нужда.

Эйлин не советовалась с матерью по поводу своего возможного брака, но постоянно делилась с тетей-социалисткой своими сомнениями и желаниями. Тетя Инид слушала внимательно и дружелюбно, полагая, что люди редко просят совета, самостоятельно не определившись до конца, как им поступать. Однажды, устав от бесконечных аргументов Эйлин за и против брака, она воскликнула:

– Ну, если так, не выходи замуж! Почему вам не жить, как вы живете?

– Мы хотим жить вместе, – нерешительно сказала Эйлин.

– Для этого надо жениться?

– Ну ты ведь знаешь: домовладельцы, регистрация иностранцев и все такое. Давид говорит, что в любую минуту его вид на жительство может быть аннулирован или же он вернется в Россию.

Дядя Сол взглянул на нее поверх страниц журнала.

– Конечно, им надо пожениться, – сказал старый анархист. – Сколько можно выдерживать такое эмоциональное напряжение, какое создает любовь?

– Тогда вперед – и женитесь! – сказала тетя Инид.

В тот же вечер Эйлин сказала Давиду, что, по мнению доктора Мосса, им следует жениться как можно скорее. Так же думают и все остальные. Миссис Ламберт постоянно спрашивает ее, когда они отправятся в церковь; она сказала, что соседи уже поговаривают о ней.

– А тебе важно, что говорят соседи?

– Н-ну... – сказала Эйлин.

– Я знаю еще кое-кого, кто очень интересуется нашим браком, – сказал Давид, и его глаза заблестели за очками. – Вче-

ра на лестнице я встретил твою подругу мисс Пейдж. Она спрашивала, когда может поздравить меня. И знакомился ли я с твоими родителями. Я сказал «нет», но собираюсь, а она говорит: «Полагаю, вы знаете, что они паршивые евреи?»»

Эйлин была поражена.

– Никогда не думала, что люди могут быть такими!

– Ты думаешь, в Англии нет антисемитизма?

– Возможно, мою мать можно назвать антисемиткой. Мой отец был евреем. Но она отправила меня и Дорис в школу в полчаса ходьбы от дома, потому что в ближайшей школе большинство девочек были из ортодоксальных еврейских семей, и она сказала, зачем нам ставить на себе клеймо?

– А что она скажет обо мне?

– Я не говорила ей, что ты еврей. Она думает, что ты просто русский, как мы думаем о себе, что мы просто англичане, хотя и с примесью еврейской крови. И мой папа умер так давно. Сама-то она любит евреев, но боится, что другие не любят.

Эйлин не ожидала, что Давид так легко даст себя уговорить нанести визит ее родителям. Ей еще предстояло узнать, что никого так мало не смущали социальные условия, как ее профессионального революционера. Решив однажды вступить с Эйлин в законный брак, он теперь считал самой естественной вещью познакомиться с ее родителями, и вот с непроницаемой важностью он вошел вслед за Эйлин в маленькую сумрачную прихожую, где пряные воскурения ароматических палочек боролись с запахами кухни. Запачканный стеклянный фонарь, свисающий с потолка, отбрасывал красные, голубые и оранжевые тени на высокое зеркало, оттеняя пляшущее скопление звезд на стене. Давид оглядывался в поисках места, где можно повесить пальто, но Эйлин быстро вступила в звезды, оказавшиеся не чем иным, как стеклянными шариками в грохочущем во-

допаде стеблей бамбука. Эйлин отстранила их, и Давид повесил пальто на пустой крючок, а потом опустила, снова вызвав звон и мерцание звезд.

Вин ждала их наверху, в углу гостиной; ее голова и плечи были залиты янтарно-желтым светом лампы. На восьмиугольной крышке мавританского столика рядом с ней находились серебряный ящичек для сигарет, бронзовая пепельница в виде водяной лилии, которую обвивали руки, казалось, тонущей наяды, и роман из библиотеки Мьюди, заложенный на открытой странице кружевным платочком. Широкие рукава плиссированного халата упали к ее худым плечам, когда она, не вставая, протянула Давиду руку. Она наклонилась вперед, чтобы поздороваться с ним, и свет, уже не затененный благосклонным абажуром, упал на ее утомленное лицо с румянами на осунувшихся щеках и накрашенными губами.

Давид мог показаться добродушным неотесанным человеком, но он объездил много европейских столиц и умел с первого взгляда различить профессиональную обольстительницу. Он заметил густые завитки черных волос, уложенных поверх высокого узкого лба, нитку бус, поднимающуюся и опускающуюся в глубоком вырезе кружевного воротника, тонкую, выставленную вперед лодыжку и изогнутую стопу в атласной туфле на высоком каблуке. Нехотя опустив руку в ее теплую цепкую ладонь, он почувствовал, как в его плоть впиваются кольца; потом пожатие ослабело, и его слегка саднящая рука снова принадлежала ему.

– Так это Давид? – нежным голосом произнесла Вин. – Садитесь со мной рядом и давайте познакомимся.

Давид кивнул, звучно и почтительно поздоровался и осторожно опустился в кресло, указанное грациозным жестом хозяйки. Сиденье кресла опустилось и коснулось пола, а пружины внутри издали мелодичный звон.

В комнату по-крабьи вполз Сэнди. «Не вставайте! Не вставайте!» Но Давид уже вскочил, чтобы ответить на рукопожатие хозяина, а заодно тайком оглядел комнату в поисках менее податливого кресла.

– Как насчет того, чтобы добавить немного света, мэм? – произнес Сэнди и тронул выключатель. Все заморгало от яркого света, хлынувшего с потолка, а Вин со стоном поднесла руку в кольцах к глазам.

Комната тотчас же потеряла всякое сходство с уголком сераля и предстала комфортабельной лондонской гостиной, наполненной толстыми ковриками, вазами в восточном стиле и пианино фирмы Бродвуд. Давиду все это казалось весьма внушительным – его близорукий взгляд не сразу распознал потускневшие оттенки мебели, недостающие кольца на оконных карнизах, запыленные ягоды крыжовника в мозаичной вазе. Мягкие удары китайского гонга позволяли им спуститься в столовую, где в свете свисающей лампы под розовым абажуром с бахромой приятно смотрелся стол. И здесь Давид был впечатлен атмосферой комфорта, не заметив, что у дверцы буфета оторвана ручка, неподвижные стрелки часов из черного мрамора не прикрыты стеклом, как, впрочем, и другие часы из слоновой кости с позолотой, стоящие на каминной полке.

Обед был плохой, но Давид вообще не любил английскую кухню, да и время было военное. Вин пыталась разговаривать Давида, задавая ему сочувственным тоном вопросы и глядя в лицо пристальным нежным взором. Сэнди был прилежным хозяином, обычным английским джентльменом – тип, который Давид признавал и уважал. Тетя Грэйс, приглашенная познакомиться с женихом Эйлин, сияла глазами и была оживлена. Присутствовала и Дорис. Она собиралась пойти на танцы; ничто, кроме любопытного желания увидеть жениха сестры, не заставило бы ее остаться на обед дома, и, быстро проглотив пищу, она отодвинула прочь стул

и промчалась мимо обедающих, прошептав Эйлин на ухо: «Мне он нравится!»

После того как было покончено с меланхолическим бланманже с тушеным черносливом, миссис Харт, тетя Грэйс и Эйлин, благоговейно соблюдая традиции высшего класса, вышли из столовой, оставив мужчин за графином виски и сифоном с содовой водой. Тетя Грэйс не захотела подыматься наверх – ей предстоял долгий путь, ибо жила она, как не преминула сообщить Давиду за обедом, «всего в десяти минутах ходьбы от Палаты *лордов*». Эйлин часто слышала, как тетя говорила об этом своим новым знакомым, но вся несуразность этой фразы стала ясна ей только сейчас, когда она заметила хитрый огонек, загоревшийся за очками Давида.

Вин закурила сигарету и уселась в уголке дивана, наблюдая за голубой спиралью дыма.

– Мне нравится твой Давид, – сказала она, может быть, слишком сердечно. – Он такой человечный. Когда же мы потанцуем на твоей свадьбе?

– Никакой свадьбы не будет.

– По крайней мере вы зарегистрируете брак?

– Давид сделает это, если я попрошу, но он говорит, что брак его не свяжет. Он говорит, что связать его могут лишь собственные чувства.

– О, вовсе нет, – мудро заметила мать. – Закон прекрасно свяжет.

– Я больше доверяю чувствам Давида.

– Пусть даже так, – сказала мать, наклонившись вперед и сделав на мгновение паузу, а затем продолжила тихо и быстро, словно на нее снизошло вдохновение: – Пусть даже так, но, если ты соблюдаешь принятый порядок, *все* будут с тобой, а если ты игнорируешь его, тебе придется возвращаться в узком кружке безумцев и чудаков.

– Но, мама, меня-то только и интересуют те люди, которых ты называешь безумцами и чудаками.

– Ну, конечно, и меня тоже. Но никто их у тебя и не отнимет. А зачем удаляться от большинства, обычных людей, с которыми приходится жить вместе? Богемная же среда останется для развлечения.

– И Давид, и его друзья гораздо менее богемны, чем вы. Они просто-напросто выработали свои принципы.

– Разве это не пустая трата сил? Конформизм мог бы сэкономить им массу сил и времени, знай они это. – Она зажгла новую сигарету. – Как долго Сэнди будет его там держать? Можешь не сомневаться, он замучает его до смерти.

– О, не думаю. В некоторых отношениях Давид ужасно заурядный человек. Гораздо более, чем вы.

– Надеюсь, я понравилась твоему Давиду. А тебе никогда не приходило в голову, что Дорис и тебе чертовски повезло, что мать у вас не какая-нибудь старая карга? Хорошо, если и про тебя так смогут сказать, когда ты станешь старше.

Густое коричневое облако тумана, обжигавшего глотки и опалявшего веки, откатилось прочь, оставив за собой странную черноту, в которой тускнели фонари, а дома исчезали из виду вплоть до каминных труб, но которая уже не пахла серой. Лишь церковь посередине площади выступала бесформенной массой, но ее шпиль плавал над слоем черноты, и когда их глаза привыкли к мраку, они смогли даже разглядеть мерцание звезд тут и там над крышами домов. А к тому времени как они дошли до длинной пустой Эрлс-корт-роуд, можно уже было различить бордюр тротуара и каменные плиты под оградами садиков перед домами.

– Ты можешь поверить, что моей матери скоро пятьдесят? – нетерпеливо спросила Эйлин.

– Вполне могу, – последовал не слишком вежливый ответ.

– Ты не находишь, что она... очень красива?

– У нее красивые глаза. Твои глаза, только не такие...

– Какие «такие»?

Давид никак не мог точно выразить свою мысль.

– Слишком какие-то сладкие. Она вроде как просит полюбить ее.

По улице со звоном невидимых копыт и сбруи прокатился пустой омнибус. Лампы на нем были лишь пятнышками света, и кучер проехал мимо, не обратив внимания на их крики. Так они побрели сквозь мрак по направлению к Кенсингтон-стрит. Нигде не было ни одного колесного экипажа, даже кэба, и Давид перевел Эйлин через дорогу и повел по круто поднимающейся, вымощенной плитами дороге между землями Холланд-хауса и садами на Кэмден-хилл. Случайная газовая лампа осветила несколько шагов их пути, а достигнув верхней точки своего пути, они остановились под древним платаном, не желая покидать туннель, образованный ветвями деревьев, ради освещенного пространства Ноттинг-хилла. Остатки тумана развеялись. «Он остался в Уэст-Кенсингтоне», – сказала Эйлин, прислонившись к разноцветному стволу дерева. Косые лучи уличной лампы бросали сквозь ветви свет на ее лицо и плечи.

– Тебе кто-нибудь говорил, что ты прекрасна? – спросил Давид.

– Меня хотели рисовать художники.

Взяв под руку, он быстро увлек ее на улицу, как будто позволил себе сказать слишком много.

– Я имею в виду, обыкновенные люди, – произнес он.

– Однажды один человек сказал моей матери, что у меня бывают мгновения духовной красоты, – сказала Эйлин, но тут же добавила извиняющимся тоном: – Но он был не обычный человек, он был поэт.

– Ах!

– В чем дело? – встревоженно спросила Эйлин.

– Что-то вроде приступа, – сказал он и, остановившись, привлек ее к себе и так держал, пока шаги приближающегося полисмена не вывели его из глубокого трансa.

К тому времени, как они подошли к станции метро Ноттинг-хилл-гейт, дома и магазины были освещены уличными лампами, словно днем, а высоко в небе видно было множество звезд. Давид не был уверен, успеют ли они сделать пересадку на линию, ведущую в Хэмпстед, а Эйлин сказала, что она вообще терпеть не может пересадки в метро. Давид знал короткий путь через Харроу-роуд и Бейкер-стрит к Хэмпстед-роуд. Но не устала ли Эйлин? Но Эйлин никогда не испытывала усталости, если имела возможность говорить, и они двинулись по Бэйсуотер-роуд, тесно прижавшись друг к другу, не встречая никого, кроме отдельных полисменов в местах их дежурств – каждый из них подозрительно глядел в их сторону, прежде чем вежливо пожелать доброй ночи. Один добавил: «И будьте здоровы!»

Они пересекли Эдгwert-роуд и прошли вниз полпути по Тоттенхэм-корт-роуд. Эйлин снова подумала, как хорошо Давид знает Лондон – будь она одна, ни за что бы ей не выбрать такого короткого пути. Теперь уже до Хэмпстед-роуд было рукой подать, а за нею совсем недалеко и станция метро, и *Роца*, Голден-сквер и постель. Ноги Эйлин гудели, но она не обращала на это внимания, счастливая от того, что Давид полностью в ее распоряжении и слушает ее. Будь они дома, он давно бы уже уселся с газетой – привычки обмениваться признаниями у него не было. Она обнаружила, что все разговоры, кроме касающихся политики или чисто бытовых тем, утомляют его. Но теперь, когда он шел рядом с ней по звенящим мостовым в свете уличных ламп и бледного неба, ему ничего не оставалось, как слушать. Рассказ Эйлин о тревожном детстве, проведенном в предместье, о вызывающих страх нянях, постоянно ворчащем отчине,

матери, которая то беспощадно наказывала, то безудержно ласкала ее, о внезапном возвращении из пансиона, чтобы в пятнадцать лет стать confidentкой и игрушкой собственной матери, – все это было далеко от привычного Давиду мира и едва ли понятно ему. Когда она рассказала о постоянных денежных хлопотах, он был просто поражен.

– У вас было две служанки, дом, сад, все только для вашей семьи, вы ездили каждое лето на море, ты посещала уроки танцев, музыки. Как же вы могли все это иметь, если были бедны?

– Не знаю, просто так оно и было. Сэнди всегда говорил, что мы прижаты к стенке, мы должны урезать расходы, а мама никак не могла найти, на чем можно сэкономить. Мама и Сэнди непрерывно ссорились, а Дорис и я все время из-за этого переживали. Единственной нашей мыслью было помирить их, и мы часто принимали сторону Сэнди – его слова звучали так разумно, и, в конце концов, он был мужчина.

Это напомнило Давиду его собственное, давно забытое детство – бурные ссоры между родителями, всегда кончавшиеся угрозами развода.

– У меня кровь стыла в жилах, – сказал он. – Я думал, что станется со мной? Если б они развелись, для меня это был бы конец света.

Когда новость об их помолвке стала всеобщим достоянием, любовники заспешили с вступлением в брак, и многие решили, что Эйлин должна быть – и серьезно – в положении, чего вовсе не было. Нет, просто внезапное страстное желание жить вместе – сильнее, чем любое сексуальное влечение, – заставляло их тратить каждую свободную минуту на поиски квартиры в Хэмпстеде или Хайгете и проводить вечера, просматривая местные газеты и подчеркивая объявления о комнатах, сдаваемых внаем. Оба они были соглас-

ны, что их знакомство и союз вполне могли бы не состояться. Давид мог покинуть Англию так же внезапно, как приехал сюда; Эйлин могли послать на военные работы; и каждый из них мог найти себе другого партнера, и они могли никогда не встретиться. Но теперь ничто, ничто не должно было помешать им жить вместе, как муж и жена, перед лицом всего света. Каждый раз, когда очередная домохозяйка, смущенная, возможно, неуклюжим английским языком Давида или неряшливым видом Эйлин, меняла свое решение и отказывалась сдать им комнаты, обещанные накануне, его посещали дикие подозрения о тайном сговоре или антисемитизме, а бюрократические отсрочки, хотя и не превышали одной-двух недель для установления места жительства, приводили его в ярость. Что если именно этот промежуток времени окажется гибельным для их союза? Он даже рассматривал возможность уехать из Лондона и скрыться в каком-нибудь глухом провинциальном городке, где *они* не смогут отыскать его, и вернуться под покровом ночи накануне намеченного дня свадьбы. Эйлин присматривалась к своему бледному лицу и бессонным глазам в отражениях витрин – не увядает ли она?

Но ничего ужасного не произошло. Они нашли квартиру на верхнем этаже шестиэтажного дома с видом на пруды и рожицы Хэмпстед-хит и стали мужем и женой в ратуше Хэмпстеда в некий февральский день 1917 года, когда с русского фронта уже целую неделю не было никаких известий. Еще не закончился месяц, как прозвучал набат Революции, и все случилось так, как они и загадали: муж последовал этому зову, а жена пошла за ним.



Айви Вальтеровна с детьми Мишей и Таней



М.М. Литвинов с сыном



Семья Литвиновых. Москва, 1931 год

АПАРТЕИД

Каждое лето Сорокины снимали дачу в новом месте. Олег говорил, что не стоит труда и менять их, ибо в каждой непременно найдется свой изъян, но Лиля продолжала искать дачу, совершенную во всех отношениях. И вот, дача, на которую они наткнулись этим летом, оказалась и вправду близка к идеалу: не слишком далеко от Москвы, так что Олегу удобно было ездить в город, и в то же время обстановка совсем деревенская, стоит лишь немного отойти от пристанционной площади с ее магазинами.

Они, то есть Сорокины, снимали комнату и террасу в передней части дома, стоявшего на обширном участке, а в задней половине оставалась хозяйка со своей четырехлетней внучкой Милочкой. Это соседство немного раздражало Лилю (неизвестно, чего ждать от чужих детей), но потом она обнаружила, что калитка в заборе между их садом и задним двором есть нечто большее, чем просто калитка. Вся она была оплетена провололочной сеткой, заржавевшие петли намертво сидели в гнездах, и засов никогда не покидал своего паза. Прильнувшие к забору густые заросли необрезанных кустов малины делали его непреодолимым, так что нежелательной Милочке трудно было бы пробраться на их сторону и подружиться с их детьми. А бабушкиных гостей, когда те появлялись у переднего входа, отсылали прочь, рекомендуя обойти участок с угла и зайти сзади. Изоляция была едва ли не полной.

Именно к изоляции, главным образом ради детей, и стремилась Лиля. Большинство ее подруг отдавали детей в ясли

и детские сады, но Лиля ни за что не хотела отказаться даже от частички власти над своими детьми, по крайней мере до тех пор, как они вырастут и их придется отдать в школу; тут уж, она знала, ей придется уступить. Но знала она и то, что первые пять лет жизни самые важные в развитии ребенка, и была твердо намерена использовать эти пять лет – растянув их до семи, – чтобы заложить в своих Валю и Федю хорошие манеры и начатки французского языка, нисколько не сомневаясь в своей способности сделать это. Зимой она ежедневно выходила с ними на бульвар и терпеливо высидивала там рядом с бабушками и нянями, не спускавшими глаз со своих подопечных. На даче Лиля могла немного расслабиться, зная, что Валя и Федя, хотя и не чересчур послушные дети, все же никогда не выйдут одни на улицу. Оказалось, однако, что не так-то просто обособить детей, которые хотят видеть и слышать друг друга, пусть и через запертую калитку, да еще и обтянутую провололочной сеткой. Валя и Федя скоро нашли место, где проволока отгибалась и сквозь образовавшуюся щель можно было передавать маленькие предметы: игрушечные часики, булавку с нанизанными на нее цветными бусинками, лакированную шахматную пешку, словом, весь тот сюрреалистический хлам, что накапливается в ящиках для игрушек у детей (да также и в шкатулках взрослых женщин). У Вали с Федей было огромное количество игрушек на разных стадиях целостности, но Милочка хранила свои в коробке из-под ботинок и каждый вечер забирала их в дом. Обычно она приносила к месту встречи лишь две вещи – одноногого целлулоидного утенка и несколько разрозненных игральных карт. Утенок мало годился для игр – он не мог стоять и был слишком неровный, чтобы лежать на боку или на спине, но, при участии Вали и Феде, Милочка завязывала банты на его шею и вокруг единственной лапки и обертывала его скользкую головку цветными лоскутками. Роль Вали и Феде была пассивной и состояла

в том, чтобы передавать через щель для украшения утенка ленты и лучшие носовые платки своей матери. Потом из коробки одна за другой извлекались карты, и игра становилась по-настоящему двусторонней. Лиля как замороженная слушала нескончаемые монологи Милочки, прижимавшей к сетке какую-нибудь из карт; ее речь то и дело прерывалась Валиными вопросами – трехлетний Федя не говорил ни слова, а только смотрел в лицо сестре, пока говорила она. Лиле очень хотелось узнать, о чем идет разговор, но она выведала у Вали лишь то, что карты были портретами Милочкиных родственников.

Теперь Лиля уже хотела, чтобы Милочка играла в саду с ее детьми. Она спросила хозяйку, не думает ли та, что Милочка нуждается в обществе других детей.

Полина Ефимовна отвечала, что Милочке лучше играть со своими игрушками.

– Ваши дети заняты друг с другом, – сказала она. – Милочка им не нужна. У разных людей могут быть разные взгляды на воспитание детей.

Лиля покраснела.

– Я имела в виду, что Милочка целыми днями одна, – сказала она. – Вы не думали отдать ее в детский сад?

– Я отдавала ее в ясли, и она заболела там корью, – сообщила Полина Ефимовна. – Потом я отдала ее в детский сад, и там она заразилась коклюшем.

Эти обстоятельства, разумеется, делали Милочку еще более желанным кандидатом на роль товарища игр ее детей, так что Лиле стоило труда скрыть свою радость и изобразить подобающее выражение на лице.

– Не пойму, почему Полина Ефимовна не хочет, чтобы Милочка играла с нашими детьми, – говорила Лиля мужу.

– По-моему, как раз ты этого не хотела, – напомнил ей Олег. – С первого дня ты дала ей это понять.

– Откуда мне было знать, что Милочка окажется такой душкой? Она могла бы повлиять на нашу Валю в хорошую сторону.

– Может быть, Полина Ефимовна опасается, что наша Валя повлияет на ее Милочку не в лучшую сторону.

Бывая на разных дачах, покупая там кило малины, тут литр молока, Лиля собрала кое-какие туманные сведения о прошлом своей хозяйки. Достоверно было известно лишь то, что Полина Ефимовна покинула поселок лет тридцать назад и вернулась в Степановку с маленькой внучкой, на радость своей престарелой матери, которая прожила еще два года после ее возвращения. Без всякой помощи она мужественно подлатала и подперла ветшавшую дачу и привела ее в такое состояние, что переднюю комнату можно стало сдавать. На вырученные деньги она смогла оплатить более основательный ремонт. Глядишь, говорили люди, лет через пять она и выберется из нищеты.

Несколько раз в неделю Лиле приходилось выбираться на рынок. Это вносило разнообразие в ее жизнь, состоявшую в основном из общения с детьми, и она с удовольствием переходила от прилавка к прилавку, прицениваясь к фруктам и овощам. По субботам Олег ходил вместе с ней и помогал поднести картофель и овощи. Лиля никогда не брала на рынок Валю и Федю – это было одно из ее твердых правил, – и теперь она со спокойным сердцем могла оставить детей одних на попечение Милочки.

В одну из суббот блуждающий взгляд Лили остановился на кукле, висевшей на крючке на дверном косяке галантерейного магазинчика. Ей нужны были шпильки, и она остановила Олега, но на самом деле ей хотелось лучше при-

глядеться к кукле. Кукла была превосходна; на ее розовом личике было запечатлено серьезное и доброе выражение, у нее были густые черные ресницы, а на головке каштановые кудряшки. Ее одежды застегивались на изящные маленькие пуговички, так что ее можно было одевать и раздевать, как настоящего ребенка, а ботиночки и носочки были не просто нарисованы на ногах, а сделаны из настоящего материала. Продавщица, коротавшая время за плетением кружев, оторвалась от своего занятия и вышла из-за прилавка. «Импортная»¹, – произнесла она и показала имя куклы – Грета – на этикетке. Потом, доверяя покупателям, она вернулась к своим кружевам.

Когда за куклу заплатили и упаковали ее в коробку, Лиля поспешила покинуть рынок. Но у выхода ее внимание привлек старик, торговавший плетеными корзинами и вениками. В новом венике было какое-то предательское очарование, и Лиля попыталась остановить уверенный шаг мужа, сжав рукой его запястье. Но он шел, не останавливаясь, и она последовала бы за ним, не попадись ей на глаза маленький веничек, выставленный на обозрение отдельно на плоском камне. Это была совсем крохотная метелочка с темно-красной кисточкой на конце, и три тесемочки того же цвета разделяли ручку на причудливо выпуклые части. Олег оглянулся, а Лиля молча протянула ему веничек, чтобы он мог на него полюбоваться. «Для чего это?» – осведомился Олег. Продавец поднял голову и сообщил, что веничек предназначен для чистки настенных ковриков и скатертей. Заметив, что у них дома нет ничего подобного, Олег взял жену под руку и увел с рынка. Но увидев, что автобуса нет и в помине, он поставил сумку с картошкой, вернулся и купил веничек. Ему стало стыдно за свою грубость, притом он отлично знал, что вполне мог бы купить веничек и сам, будь он один или даже если бы просто увидел его первым. В автобусе по пути

домой Лиля тщательно отрезала ярлычок с платья куклы. Она решила назвать ее Элоизой, чтобы не смущать детей, полагавших, что в мире есть только один язык, кроме русского, – французский. И уж, конечно, им ни в коем случае не полагалось иметь куклу с немецким именем.

Едва Валя насладились красотами Элоизы, как уже оказалась у забора, протягивая куклу Милочке для поцелуя. Лиля понимала, что Элоиза уже никогда не будет выглядеть новой, но зрелище этих страстных поцелуев и того, с какой серьезностью воспринимала их Валя, на какое-то время взяли верх над инстинктом собственника, и она не сказала ни слова в упрек. «Если бы эта упрямая женщина разрешила мне купить Милочке куклу», – жаловалась она. Они уже делали попытку в этом роде. Купив Вале и Феде большой мяч, Олег бросил маленький мячик через забор Милочке. И хотя Полина Ефимовна не стала вырывать мяч из Милочкиного кулачка, она решительно пресекла возможную благотворительность в будущем: «Милочка не нуждается в подарках».

Лиля была слишком занята своим скоропортящимся товаром, но вечером, когда дети были уже в постели, она вспомнила о веничке. Ей не хотелось спрашивать Полину Ефимовну, не видела ли та его, но она неосторожно крикнула с террасы мужу: «Олег, я не могу найти веничка. Ты вынимал его из сумки?» Резкий звук из задней половины дома напомнил ей, что Полине Ефимовне слышно каждое слово, сказанное на террасе.

– Зря я говорила так громко, – сказала она Олегу.

– Надо было думать, прежде чем говорить.

– Ты же знаешь, что я не могу.

– Прекрасно можешь. У тебя не бывает проблем с чайником, потому что ты натренировала свои руки. Можешь и язык натренировать.

Лиля подошла к столу с чайником в руке.

– А тебе не кажется, что ты порядочный зануда? – спросила она, аккуратно направляя струйку горячей воды в узкое отверстие японского заварочного чайника.

Олег ничего не ответил, а лишь улыбнулся, положив в чай ломтик лимона. В молчании они принялись за чай с вареньем. Когда Лиля встала, чтобы налить по второй чашке, она услышала звуки, доносившиеся из-за двери, и они заставили ее тут же поставить чайник. Она повернулась к Олегу и сделала ему знак рукой, так настоятельно, что он присоединился к ней. «Что такое...» – начал он, но она подняла палец, и муж застыл рядом с ней, прислушиваясь. Звуки, которые они слышали, были женским плачем.

Лиля подошла к замочной скважине.

– Полина Ефимовна, что случилось?

Рыдания на мгновение смолкли, но тут же возобновились – громкие, безудержные.

– Полина Ефимовна, откройте же дверь! Дайте мне войти!

Рыдания продолжались, словно их невозможно было остановить.

Лиля подала Олегу нож, и, вопросительно взглянув на нее, он вставил его кончик в щель и поддел засов на другой стороне. Легонько толкнув дверь, они вошли в комнату. То, что они увидели, сначала заставило их отступить назад, а потом снова войти. Полина Ефимовна, продолжая рыдать, склонилась над детской кроваткой в углу. Милочка уже почти заснула; ее рука лежала на каком-то предмете, который Лиля сначала приняла за куклу, аккуратно завернутую в одеяльце, но потом быстро поняла, что это и есть пропавший венчик; кусочек цветастого шелка был завязан над верхней выпуклостью его ручки, словно платок под подбородком.

Олег подошел ближе и отстранил Полину Ефимовну как раз в тот момент, когда она собиралась вытащить веничек из-под Милочкиной ручки. «Дайте мне топор, – прошипел он. – Я пробью дыру в этом чертовом заборе». До странности покорная, Полина Ефимовна двинулась к низенькому шкафу, но Лиля упростила Олега подождать до утра: работа по сносу забора могла занять больше времени, чем он предполагал.

– Вот мы и нашли применение для веничка, – сказал Олег, когда они снова очутились на террасе.

– Тебе не кажется, что у Милочки чересчур красные щеки? – спросила Лиля. (До этого момента она видела Милочкино лицо лишь сквозь проволочную сетку, и действительность оказалась несколько грубее, чем рисовалось воображению. До чего глупы женщины, подумала Лиля, что позволили выйти из моды вуали.)

Олег, переполненный редким для него удовольствием уступить порыву великодушия, не желал и слова дурного слышать про свою Андромеду.

– Милочка – деревенская девочка, – сказал он, – и ей это только к лицу.

Завтрак обычно устраивали в деревянной беседке в глубине сада; на следующее утро Лиля одела детей и посадила за стол уже к девяти часам. Она не стала будить Олега – по воскресеньям он имел право поваляться в свое удовольствие, но ей очень хотелось совершить церемонию сноса забора как можно скорее. Раз уж она объявлена и молчаливо одобрена Полиной Ефимовной, то приличия (по крайней мере правила хорошего тона) требуют сделать это побыстрее. «Пойди скажи папе, что завтрак готов», – велела она Вале.

Валя послушно соскользнула со стула и на цыпочках поднялась на террасу. «Папа говорит, что он спит».

Это была традиционная семейная шутка, но Лиля нахмурилась и прикусила губу.

– Кто дал Милочке венчик? – спросила она.

– Я только показала ей, но она так посмотрела...

Лиля поняла, что взгляд Милочки был неотразим. Дети побежали к калитке, а Олег все не появлялся. Лиля решила, что ей надо вымыть посуду и заняться своими делами, но мысли о топоре и заборе, о сумрачном взгляде Полины Ефимовны не давали ей покоя. Полина Ефимовна может подумать, что Олег отказался от своего великодушного намерения под влиянием жены, и возьмет назад свое молчаливое согласие. Лиля с раздражением принялась за мытье посуды. Как раз в ту минуту, когда она, не подумав, израсходовала всю воду из самовара, появился Олег и потребовал горячей воды для бритья. Как будто нельзя было побриться после! И как будто он не ходил небритым целыми воскресеньями! Лиля намекнула, что завтрак доставит ему больше удовольствия, если он съест его не торопясь. Олег уверил ее, что он и не собирается торопиться и намерен получить удовольствие от завтрака в полной мере. Лиля, зная, что он сделает все по-своему, принялась мыть детскую комнату и террасу и отправилась в беседку, только когда убедилась, что муж закончил завтрак и бритье. Олег мирно читал субботнюю газету; наполовину выкуренная сигарета лежала на блюде. Он взглянул на жену, когда она подошла к столу. «Давай послушаем новости. Принеси-ка приемник». Закипая от ярости, Лиля пошла за транзистором и поставила его на столе у локтя мужа.

Когда новости закончились, Олег задвинул антенну приемника, нарочитым движением влил в себя остатки холодного чая из чашки, уронил газету на траву и сделал последнюю попытку побесить жену. «Я, пожалуй, схожу на станцию, куплю "Правду"», – сказал он, но она не намерена была больше отступать, и ему пришлось направиться к забору.

Сначала он взглянул на заржавевшую калитку. Справиться с ней удалось бы едва ли, проще было прорубить отвер-

стие в изгороди. Дети с обеих сторон забора, более наблюдательные, чем это представлялось их родным, подкрались поближе. Лиля ощущала взгляд Полины Ефимовны с ее порога. Казалось, нескольких ударов топора будет достаточно, чтобы повалить одну секцию забора и образовать проход. Но осмотр изгороди показал, что все будет не так просто. Чтобы подобраться к подгнившему частоколу, Олегу надо было вырубить облепивший его кустарник. Он подумал было о лопате, прислоненной к стене, но Полина Ефимовна, вышедшая из дома понаблюдать за представлением, покачала головой, вернулась назад и вынесла двуручную пилу. С этой минуты и до того момента, когда проход был наконец прорублен, пропилен и очищен от растительности, она оставляла Олега лишь затем, чтобы сходить за тачкой, а потом отвезти ее, заполненную колючими ветками, куда-то за дом. Семь раз она нагружала тачку доверху и семь раз возвращалась с пустой тачкой. Зрители разошлись – Лиля пошла готовить обед, а дети вновь завели свои бесконечные разговоры через калитку. Но когда от кустов остались одни корни и ничто не мешало топору ударить по изгороди, все вновь собрались, чтобы увидеть финал. Он прошел в той же вялой атмосфере, что и все представление: столбы оказались слишком шаткими, чтобы их можно было срубить, и их пришлось с невероятными усилиями выдирать из земли. Когда они легли на землю, дети двинулись к образовавшемуся уродливому проему и встали у него, глядя друг на друга. Полина Ефимовна расправила концы белого нейлонового банта, завязанного на круглой Милочкиной головке, и словно нехотя подтолкнула ее; таким же произвольным движением Лиля чуть придержала за одежду Валю и Федю. Потом дети освободились и, захлебываясь от крика, бросились навстречу друг другу.

На даче началась новая жизнь. Милочка приходила каждый день. Ее молчаливое присутствие, ее пристальный взгляд ощущались непрерывно – и когда Лиля кормила своих детей, и когда она пичкала их витаминами, и когда пыталась увлечь их французскими сказками и песенками. Милочка отвергала всякое предложенное ей угощение; так же отказывалась она слушать или заучивать *contes et chansons*². Лилия поживалась от взгляда ее голубых глаз, и с течением времени ее симпатия к Милочке отнюдь не возрастала; скорее уж она испытывала к ней неприязнь, возмущенная тем влиянием, которое та оказывала на Валю. Ей чудилась насмешка даже в невинной Милочкиной переделке французских слов на русский лад. Так, *mon fils*³ стал Мофисочкой, а *ma fille*⁴ Мафиечкой, и эти прозвища полностью заменили имена Феда и Вали, так что вскоре уже и родители перестали обращаться к ним как-нибудь иначе. Элоиза с неизбежностью превратилась в Елочку, а маленький веник стал Веничкой.

Вещи, принадлежащие жильцам ее бабушки, не произвели на девочку благоприятного впечатления. Лилия всегда полагала, что подруги простят ей треснутое зеркало, гробешок с недостающими зубьями, груду поношенной обуви – все сгодится для одного дачного сезона, – но оценивающий Милочкин взгляд выставил их во всем своем убожестве. Однажды Лилия даже застала ее за тем, как она щупала байковое одеяло на Валиной постели, точь-в-точь как старуха, приценивающаяся к товару на вещевом рынке. В тот вечер Валя села за ужин с угрюмым и недовольным видом.

– Милочка говорит, что у них в Магадане были стеганые одеяла с шелковыми покрывалами, – пробормотала она, когда мать велела ей выпить стакан молока.

– В Магадане, – отозвался Федя. Над головами детей родители обменялись удивленными взглядами.

Когда дети уснули, Лиля ждала, что муж что-нибудь скажет, но разговор ей пришлось начинать самой.

– В Магадане? Неужели Полина Ефимовна была там в лагере?

– Магадан большой город, – отвечал Олег, не отрываясь от газеты. – Там должно быть и постоянное население.

– Ты прекрасно знаешь, что я говорю не о городе. Но что же такое могла натворить Полина Ефимовна? Может быть, в лагере была ее дочь, а она отправилась туда, чтобы забрать Милочку?

– Может быть, – сказал Олег.

– Но Милочка была тогда совсем маленькой. Что же значат ее разговоры о шелковых покрывалах и позолоченной мебели?

– Бабушкины сказки, – сказал Олег, не прерывая чтения.

Валины игрушки постепенно перекочевали к Милочке в обмен на ее жалкие сокровища. Вместо большого мяча снова появился маленький. «Милочка говорит, что им удобнее играть», – объяснила Валя. Это и в самом деле было так, но куда же делся большой? Из Валиного ящика с игрушками исчезли две лучшие книжки с картинками, а взамен Лиля с отвращением обнаружила искусственный цветок мака, поясок из искусственной кожи без пряжки и добродушную голову плюшевого медвежонка, лишенного туловища.

– А это что такое? – воскликнула Лиля, держа в руке лоскуток темно-синего плюша, на который были нашиты позолоченные бусинки.

– Милочка говорит, что из этого получится красивое платье для Елочки, – вызывающим тоном ответила Валя.

И наконец, однажды исчезла и сама Елочка, а в ее колыбельке, завернутый в темно-синий лоскуток, лежал Венич-

ка. Лиле пришлось признать, что черные пуговицы, нашитые на его пухлое личико, были весьма выразительны. Она могла понять, почему Вале он казался таким симпатичным.

– Но ведь у Елочки тоже очень красивые глазки, – возразила она.

– Да, но они всегда одинаковые. А Веничка грустит, когда мне грустно, и улыбается мне в ответ.

– Ах, Мафиечка, а разве мама не грустит вместе с тобой?

– Ты иногда не замечаешь, а Веничка всегда.

Запрещение покидать свою территорию еще оставалось в силе, и некоторое время Валя и Федя не заходили на задний двор. Но когда дворовый пес Полкан перестал лаять на них, а вместо того стал вилять хвостом, запрет ослаб, и Лиля вынуждена была смириться с тем, что ее дети предпочли задний двор их садику с клумбами и лужайкой. Но однажды утром вид Вали и Феде, направлявшихся на задний двор, показался ей особенно нестерпимым, тем более что в руках они несли едва ли не последнюю из своих игрушек. Она крикнула им, чтобы вернулись сию же минуту, и, тут же вспомнив о болезненной гордости Полины Ефимовны, добавила льстивым голосом:

– Вы мешаєте бабушке.

Ночи стали уже прохладными, и Лиля перенесла свою раскладушку в детскую комнату, оставив Олега ночевать одного на террасе. Но этим вечером, мучимая воспоминанием о своей бестактности, она забралась к нему в кровать и рассказала, что натворила. Признание и нагоняй, который она получила, помогли ей (может быть, как раз благодаря последнему) облегчить душу, и они уже засыпали, вполне довольные друг другом, как вдруг странные прерывающиеся скрипучие звуки нарушили ночную тишину. Из-за дома мелькнул слабый свет, и Олег, выпрямившийся на постели, чтобы взглянуть в окно, увидел передвигающуюся

в темноте фигуру. «Бабушка возит тачку назад и вперед, – сказал Олег. – Теперь она ушла и выключила свет. Спи, дорогая».

При дневном свете обнаружилось, что означали ночные скрипучие звуки. Проход в заборе был завален бесформенной массой веток, высохших, но все еще колючих. Дети, словно не замечая ничего из ряда вон выходящего, направились к калитке, и все утро до Лили доносился Милочкин монолог: «В Магадане мы каждый день ели курочку... В Магадане мы ели кашу со сливками...»



БАБУШКА

На подходе к открытому полустанку локомотив кое-как смирил яростные толчки расходившихся поршней и остановился с громким нетерпеливым пыхтеньем. Один-единственный пассажир вышел из поезда – женщина с рюкзаком за плечами и разбухшим чемоданчиком в руке. Не успела она утвердиться на земле, как поезд дрогнул, словно дружески подтолкнув ее: «Ничего не забыла?» – «Как же, держи карман!»

Женщина, совсем еще не старая, но выглядевшая утомленной, стояла на несуществующей платформе и глядела вслед поезду, с визгом исчезавшему за поворотом – лишь последний вагон легкомысленно вильнул напоследок. Колея под ее ногами тянулась из ниоткуда в никуда, и Ирина, казалось, стала частью окружавшего ее покоя, подобно телеграфным столбам и семафору, а еще лучше сказать, подобно колесу от тачки, прислоненному к железной распорке семафора. Колесо простояло там так долго, что сквозь его спицы проросли побеги молодого плюща; и все же оно не было непременной частью пейзажа: в любой момент кто-нибудь мог прийти и укатить его прочь. Ирине, не деревянной и не железной, пришлось пуститься в путь собственным ходом: она поправила лямки рюкзака и перешла линию по шпалам.

Земля, готовясь предстать во всей своей красе, ждала наступления весны; пучки блеклой, вялой травы, похожие на пленников войны, виднелись тут и там сквозь тающий снег.

Лишь черно-белые стволы берез имели праздничный вид: всю зиму они верили в скорый приход весны, и вот она уже у ворот.

Мысли Ирины вернулись к только что покинутому ею поезду. Заботы и горести могут произрастать на любой почве, и ее собственные печали подпитались в дороге. Пассажиры, несколько стариков и старух, завели разговор, как только поезд покинул Москву, и каждое их слово запало Ирине в самое сердце, ибо волновавшей их темой была неблагодарность детей. Всю дорогу их хор обкатывал эту тему; строфа сменялась антистрофой. Летом, когда городские жители ездят за город и обратно, они редко затевают общий разговор; но зимою немногие пассажиры в пригородных поездах, простые, бедно одетые люди, инстинктивно сбиваются группами и рассказывают чужим людям, которых никогда больше не увидят, многое такое, о чем не скажут соседям или членам своей семьи. Когда начались сетования, Ирина подумала, что услышит обычные жалобы на пьянство и супружескую неверность, но разговор зашел о безразличии ученых сыновей и дочерей к своим родителям.

– Кормишь их, одеваешь, нянчишься с ними, когда болеют, – нараспев говорила старуха, – а они поступают в свои институты, женятся и забывают про нас, пока не придет пора кому-то ухаживать за их собственными детьми.

– Только и думают о своих удовольствиях, – отвечал хор стариков.

– Забыли, как мы работали с утра до вечера, чтобы они могли учиться.

Пожилой человек в стеганой куртке испытующе глянул из-под круглых очков на Ирину, склонившуюся в углу над книжкой. Раздались, однако, и робкие голоса в защиту образования:

– А как же метро? Без ученья его не построишь, верно?

– Моя дочь диктор на радио, так лучшей дочери я и не пожелаю.

Но из памяти Ирины не шли как раз стенания недовольных, они преследовали ее, пока она пробиралась по талому снегу и скользкой глине сквозь заросли кустов. Кругом стоял птичий гомон, и Ирина подумала, что и птицы упрекают ее, хотя, конечно, от птиц никто не ждет, что они станут заботиться о своих родителях. А притом, напонила она себе, ей ли упрекать себя в том, что ее свекровь осталась одна? Не она ли настаивала на том, чтобы свекровь вернулась с ними в город в конце лета? Это Николай сказал, что мать лучше знает, чего хочет. И оставили они ее не у чужих людей, ведь у Прасковьи Егоровны они снимали дом на лето уже седьмой год. И никто не прилагал больше стараний, чем Ирина, чтобы у Бабушки было все необходимое. Она научила Прасковью Егоровну делать подкожные инъекции, и Бабушка говорила, что та делает их не хуже, чем медсестра из районной поликлиники; она оставила Прасковье Егоровне телефоны местной больницы и их городской телефон; она следила за тем, чтобы на комодке всегда был достаточный запас капель дигиталиса; и она честно намеревалась навещать Бабушку раз в неделю. Но одно накладывалось на другое – то корь у Вовы и Машеньки, то Николай уезжал прочесть курс лекций... Ноша матери и жены, которой приходилось еще и работать, была едва выноσιма, и ей удалось выбраться только три раза за всю зиму.

Гнетомая тяжестью вины, Ирина и не заметила, как оказалась на берегу реки. Никогда еще она не видела ее такой полноводной и быстрой. В последний раз, когда она сюда приезжала, река была скована льдом и засыпана снегом – лишь легкая волнистость в ровном пейзаже. А в летнее время, более знакомое Ирине, вода едва покрывала каменистое дно, и дети играли в ее извилинах, переходя вброд на островки и крупные камни. Уже давно были вбиты сваи для

моста, но пока единственным средством переправы оставался примитивный паром. Бдительный паромщик уже заметил ее из своей будки в нескольких метрах от переправы, и Ирина подумала, что, когда мост будет построен, паромщик останется без работы, только он, пожалуй, раньше померет, чем это случится. Не могла она удержаться и от мысли, что Бабушка наверняка не увидит нового моста. Все эти три мысли, пришедшие ей на ум одна за другой, были подобны замыслам трех преступлений, каждое из которых влекло за собой другое. Тем временем показался ковылявший старик, за которым шествовала утка. Старика звали Василий Иваныч, а утку, вернее селезня, Васькой; местные жители привыкли считать его помощником паромщика. «Когда Василий Иваныч умрет, Васька окажется не у дел», – мелькнула еще одна тревожная мысль.

Васька остановился у парома и заскользил по воде, выставив вперед изогнутую грудь; потом он резко нырнул и вынырнул у самых ног Ирины. Василий Иваныч учтиво подождал, пока она усядется, и лишь тогда начал с кажущейся вялостью, характерной для профессионала, выбирать трос, натянутый через реку на уровне пояса. Медленные и властные движения его рук словно открывали скрытый дотоле пейзаж: узор тропинки на высоком противоположном берегу, деревянные домики, поднимающиеся и опускающиеся подобно крыльям ветряной мельницы, рощицу с облетевшими листьями, которая то сжималась, то расширялась, вторя покачиванию парома, и затем, вдруг, в тот самый момент, когда Ирина ожидала увидеть дом Прасковьи Егоровны, – побеленную стену школы. Каждый раз Ирине приходилось восстанавливать в памяти эту школу, и это упущение всегда раздражало ее – как-никак по профессии она была топографом. Потом шишковатые руки отпустили трос, и паром, деревья, строения – все встали с глухим ударом.

Дети, игравшие на берегу реки, стали кидать Ваське какие-то, по-видимому, несъедобные огрызки, а он, словно колеблясь, стоял у края воды, но затем отвернулся, клюнув лишь раз на пробу. Тронутая разочарованным, как ей показалось, взглядом его круглых, выпученных глаз, Ирина порылась в своем чемоданчике и бросила кусочек сладкого печенья. Оно упало на полоску желтой тесьмы на одной из его вывернутых наружу лап. Даже не взглянув на печенье, Васька признал в подношении нечто стоящее и, схватив его плоским клювом, вошел в воду и устремился за уходящим паромом. Дети, оставив игру, молча смотрели на Ирину, едва ответив на ее приветливое *«Здравствуйте»*. Это были три девочки и с ними маленький ребенок, весь закутанный и привязанный к санкам.

Ирина вытащила еще одно печенье из чемоданчика. Она попыталась нащупать руку ребенка меж бесконечных платков, но потом, изменив намерение, отдала всю пачку одной из наблюдавших за ней девочек; та ловко всунула печенье в руку ребенка, одетую в варежку. Все выдохнули хором *«Спасибо!»*; одна даже улыбнулась. Лишь ребенок – воплощенное достоинство – совершенно невозмутимо жевал свое печенье. *«До свиданья!»* – сказала Ирина и стала карабкаться вверх по склону. Дети вынули печенье изо рта и откликнулись эхом: *«До свиданья!»* Только ребенок продолжал жевать молча.

Вверх по склону Ирина ожидала увидеть скамью (это была просто доска, прибитая к отпиленным чурбакам), но не сразу признала ее в обличе пиршественного стола, расставленного у ее ног. На треть длины «стол» покрывала полоска грубого льна, на которой были аккуратно расставлены картонные блюдца. На каждом из блюдец в окружении ярко-красных ягод лежал слепленный из глины пирожок, а рядом с блюдами стояли «чашки» из желудевых крыше-

чек. На концах «стола» уместились пузырьки от лекарств, наполовину наполненные розовой и синей жидкостями, а в центре возвышался огарок свечи на обрывке фольги. Ирина не могла отвести глаз от этого великолепия, словно зачарованная его неожиданным блеском и той любовной заботливостью, с которой оно было выполнено. И все-таки она поправила лямки рюкзака на ноющих плечах и решительно направилась вверх по склону. На вершине холма она оглянулась. Санки подтащили к скамье, и две девочки сидели теперь на корточках перед «столом»; третья сняла свой платок и стояла, держа его перед собой наподобие гамака. Луч заходящего солнца позолотил ее льняные волосы. Две другие девочки сунули руки в платок и вытащили оттуда маленькие черные предметы (веточки?), которые сразу же презрительно отбросили прочь. Вдруг одна из них ударила по платку снизу, и веточки (если это были веточки) полетели вверх и рассыпались по земле. «Поссорились», – с сожалением подумала Ирина, но, к ее радости, раздался и затем утих громкий смех. Владелица платка резко отряхнула его и закутала им голову и плечи. В движениях девочек обозначилась какая-то цель, понятная им одним, словно они вили гнездо, и Ирина пошла дальше, преследуемая их доброжелательным щебетом.

Как только Ирина вошла в комнату, свекровь спросила ее, привезла ли она третий том. Ольга Дмитриевна сидела в кровати и резала на доске темные кудрявые листья петрушки. На тумбочке у кровати лежал открытый фолиант, в котором Ирина признала «Книгу о вкусной и здоровой пище», а из-под подушки выглядывал уголок одного из голубых томов полного собрания сочинений Толстого – второго тома, который Бабушка уже почти дочитала.

Ольга Дмитриевна жаждала выслушать все имевшиеся новости. Она хотела узнать и об экзаменах Вовы, и растет

ли Машенька; ей нужно было знать все о строящейся линии метро. Мысль о новых поездах, в которые ей никогда не придется войти, приводила ее в восторг. Потом она спросила, как Ирина перебиралась через реку, и была расстроена тем, что мост все еще не построен.

Прасковья Егоровна принесла на деревянном подносе две тарелки супа и ломтики черного хлеба. Ольга Дмитриевна посыпала суп нарезанной петрушкой и выпрямилась в постели, не прикасаясь к подушкам. Снова вошла Прасковья Егоровна и принесла им картошку, которую они ели с кусочками мяса, выловленными из супа. За едой Ирина рассказала свекрови об игравших детях, встреченных ею на берегу реки. Ольга Дмитриевна с глухим стуком соединила ладони своих иссохших рук. «Погоди! Когда она унесет посуду, я тебе кое-что покажу».

Ирина вынула лимон из своего чемоданчика и вышла на кухню приготовить чай. Когда она вернулась в комнату, держа в каждой руке по блюду со стаканом дымящегося чая, свекровь стояла возле кровати, неуверенно оглядываясь вокруг. «Что вы ищете, мама? – с упреком спросила она. – Давайте, я найду». Но в старых глазах зажегся огонек, и Ольга Дмитриевна пугающе резко наклонилась и вытащила из-под кровати чемодан. Немного порывшись в нем, она извлекла из него плоскую картонную коробку и тяжело опустилась на край матраса. Ирина осторожно уложила ее на подушки и накрыла одеялом. «Ах, мама, вы ужасны».

Ольга Дмитриевна молча вручила ей коробку, показав ударом кончиков пальцев по крышке, что Ирина должна открыть ее. Под крышкой ее очарованному взору представило целое пиршество – багровый омар на овальном блюде, гроздь винограда в компотнице, тушка цыпленка, форель в чешуе, волнистое золотое желе и трехдюймовая глянцеви́тая французская булочка.

Ольга Дмитриевна продолжала держать коробку открытой, наслаждаясь экстатическим восхищением невестки. «Я играла ими в детстве, – сказала она. – Наша мисс Поллок привезла их из Лидса. Посмотри! – Она опустила крышку и перевернула коробку так, чтобы Ирина смогла прочесть надпись на внутренней стороне: *For my sweet little pupil from her fond 'Miss Allie'*¹. – И Коля играл ими. Он был очень аккуратен, ни одна не потерялась. Когда омар отклеился, он стал разыгрывать сцены, будто омар ест с других тарелок, но потом снова приклеил его на место. Отдай их тем детям, которые играют в дом. Я хотела подарить их Машеньке на день рождения, но она их обязательно потеряет. Да у нее и так все есть».

– А если я их не встречу? – ревниво спросила Ирина. Эти прелестные безделушки были слишком ценны, чтобы позволить им покинуть семью. Да и Николай играл ими когда-то.

– Так оставь их до следующего раза, когда снова приедешь сюда, – спокойно произнесла Ольга Дмитриевна.

Ирина словно почувствовала на языке оскомину от не изжитого до конца противостояния. Она еще помнила те времена, когда этот тон, спокойный и властный, вызывал у нее слезы ярости. Даже сейчас олимпийское спокойствие Ольги Дмитриевны, ее твердая уверенность в том, что отданное ею приказание будет исполнено, не могли не вызвать раздражения у невестки.

Старческий голос продолжал монотонно гудеть.

– Может быть, к тому времени новый мост достроят, и грузовику не придется ехать в объезд. – Она закрыла глаза, и Ирина подумала, не заснула ли она, но глаза снова открылись, и Ольга Дмитриевна резко произнесла: – Я вовсе не хочу сказать, что вам надо хоронить меня в Москве. Я хочу, чтобы меня похоронили здесь, в деревне. Прасковья Егоровна знает, что делать. Скажи Коле.

Она повернула голову на подушке, и на этот раз Ирина поняла, что она действительно заснула. Ирина оглядела комнату, чтобы удостовериться, все ли она сделала для свекрови перед уходом. На комодѣ стояла свеча и рядом с ней коробок спичек; Ирина перенесла их на тумбочку, непроизвольно закусив губу. Еще одно угрызение совести. Коля провел много времени, оборудуя ночник над изголовьем матери и протягивая провода, чтобы Бабушке было удобно включать и выключать свет. Но оказалось, что плоские зубцы вилки новой лампы не входят в круглые отверстия розетки; он купил новую, но она все еще лежала завернутая в ящике стола Ирины, и если Бабушка спалит себя до смерти, то виновата в этом будет Ирина. На цыпочках она пошла к двери, но обернулась на звук, исходивший с кровати.

Ольга Дмитриевна лежала с открытыми глазами и смотрела на невестку.

– Положи на тумбочку эти библиотечные книги, – не очень внятно произнесла она. – Я обещала сделать к ним бирочки к завтрашнему дню. – Ирина взяла с комода несколько томиков в коленкором переплете и положила их на столик. – И мою авторучку, – продолжал настаивать старческий голос, – и ярлычки. Они в верхнем ящике, в самой глубине. Ты оставила мне спички?

– Да, мама. – Ирина нагнулась и поцеловала дряблую, мягкую щеку. – Спокойной ночи, мама. Спице хорошенько. Я скоро приеду снова. На следующей неделе.

Под полуприкрытыми веками блеснули глаза, но Бабушка ничего не ответила и никак не показала, что восприняла дежурную ласку и дежурное обещание.

Ирина открыла дверь на кухню, чтобы поговорить с Прасковьей Егоровной.

– Мне не хотелось отбирать у нее спички, – тихим голосом сказала она. Прасковья Егоровна уверила ее, что сама

возьмет их перед тем, как лечь спать. Если Бабушке что-нибудь понадобится, она может постучать в стенку.

– Вы не забудете? – обеспокоенно спросила Ирина. На это Прасковья Егоровна ответила вопросом: неужели Ирина думает, будто она хочет, чтобы ее дом сгорел? И этот ответ вполне успокоил Ирину.

На полутемной деревенской улице Ирина остановила маленькую девочку: ей показалось, что это та самая светловолосая девочка, что снимала платок.

– Это ты с девочками играла в дом на берегу реки, когда я приехала? – спросила она.

Светлые глаза плясали под белобрысыми бровями.

– Мы играли в свадьбу. (Свадебный подарок! О, как кстати!)

Ирина вытащила из чемоданчика плоский сверток и вручила его девочке.

– Бабушка... я хочу сказать, бабушка Вовы и Машеньки... посылает это вам к столу.

Неуверенным жестом девочка взяла сверток, прошептала «*спасибо*» из-за складок своего платка и пошла прочь, не оглядываясь на Ирину.

Ирина не могла удержаться от мысли о том, с какой шумной радостью принимали подарки ее собственные дети, забыв, как быстро остывал их интерес к новой игрушке и как быстро она оказывалась сломанной или потерянной. Пронзительный крик заставил ее обернуться. Девочка бежала вприпрыжку, держа сверток высоко над головой, и кричала, обращаясь к закутаным фигурам, стоявшим у соседней калитки: «Дуся! Надя! Смотрите, что у меня есть!»

В городских парках кусты сирени набухли почками; на углах продавали тюльпаны, а Ирина все не могла найти времени, чтобы выбраться в деревню. Из открыток, которые Прасковья Егоровна добросовестно посылала каждую неделю, Ирина знала, что с Бабушкой все в порядке; а теперь, со

дня на день, вся семья собиралась выехать за город на все лето. Уже были найдены купальные костюмы и летние одежды, Вове и Машеньке купили новые сандалии, отыскивали и приладили веревкой крышку к корзине, в которой перевозили кошку Мурку. Оставалось только заказать грузовик и всем вместе отправиться на дачу, со столами и стульями, кастрюлями и сковородками, с новым холодильником. Заказать грузовик было делом Николая, но каждый вечер, вернувшись с работы, он сообщал, что отъезд откладывается. Один раз у него не было времени, чтобы позвонить по телефону; другой раз он был так загружен работой, что все вылетело у него из головы; то телефон был занят весь день, то никто не отвечал в гараже. Николай говорил даже, что весь этот переезд на дачу – устаревший пережиток: больше хлопот, чем толку. Следующим летом дети поедут в пионерлагерь, а они с Ириной в дом отдыха в Крыму.

К ужасу Ирины дети закричали от радости.

– А как же Бабушка? – спросила она.

– Бабушку возьмем с собой.

Лишь один вопрос отрезвил детей: а как быть с Муркой?

Но, во всяком случае, этим летом от дачи им было nowhere не деться. И вот однажды вечером Николай сказал, что на следующее утро, ровно в девять часов, грузовик будет стоять у подъезда. Детей позвали со двора и велели мыть руки перед ужином. «Скорее! Завтра уезжаем на дачу!»

Когда они уселись ужинать, Ирина заметила, что Машенька держит Мурку под столом на коленях.

– Сейчас же отпусти Мурку! – велела Ирина.

Машенька повиновалась почти сразу, успев лишь поцеловать Мурку в полосатую остренькую головку.

– Мурка пахнет ботинками, – мечтательно сказала она, после чего ее послали снова мыть руки.

– Мурка не виновата, что спит в коробке из-под обуви, – сказал Вова.

– Неважно, скоро Мурка будет пахнуть лютиками, – отвечал Николай, обожавший Мурку.

Разговоры за ужином шли о переезде. Вова хвалился, что этим летом будет ходить купаться со старшими мальчиками. Машенька подумала о новом козленке, который вознаградит Дусю за то, что она всю зиму ухаживала за козами. Им хотелось знать, сохранился ли у Дуси с Надей подарок Бабушки. Ирина рассказывала им о свадебном обеде на берегу реки и теперь никак не могла упустить подходящий случай.

– Конечно, сохранился. Деревенские дети бережно относятся к своим игрушкам. – Вдруг она повернулась к мужу: – Как ты думаешь, Коля, может быть, послать телеграмму Прасковье Егоровне, что мы приезжаем?

Прежде чем Николай успел ответить, вмешался Вова:

– Прасковья Егоровна звонила.

– Ох, Вова, и ты нам ничего не сказал! Чего она хотела?

– Ей нужны справки.

– Какие справки?

Вова начал закладывать пальцы.

– Из поликлиники – раз. Из собеса – два. Из домоуправления – три...

Над головами детей Ирина и Николай обменялись взглядами. Николай привстал из-за стола.

– Подожди, – резко сказала Ирина. – Что она еще говорила?

– Она сказала, что справки нужны ей сейчас же. Они нужны для похорон.

Николай вскочил из-за стола и выбежал из комнаты.

– Куда же ты? – закричала Ирина. – Сегодня уже поздно что-нибудь делать.

Но не успела она закончить фразу, как Николая уже не было в доме. Она слышала, как хлопнула дверь. Выглядело это так, будто он устремился на зов Бабушки.

Но Бабушка умерла; даже Машенька поняла это.

– Только, – сказала она, – я не совсем понимаю, что значит «умерла».

– Это значит, что Бабушки больше нет. Она ушла от нас.

– Но ведь не по-настоящему, правда? – мягко поправила ее Машенька. – Папа поехал к ней, верно?

Из своей кровати, стоящей у противоположной стены, вмешался Вова:

– Она не может двигаться. Это и значит, что она умерла, раз она не может двигаться.

Николай позвонил Ирине с работы и попросил ее задержать грузовик, пока из похоронного бюро не доставят гроб: его повезут вместе с другими вещами. Ирина, как могла, пыталась ответить на задаваемые ей вопросы; она видела, что Вова сгорает от любопытства. «Нездоровое любопытство», – строго подумала она и была рада отправить детей к своей сестре, не желая, чтобы они видели, как на даче гроб выгружают вместе с холодильником. Похороны были назначены на следующий день. Николай решил ехать на грузовике, чтобы показать шоферу путь через мост, а Ирина должна была связаться с людьми с текстильной фабрики, где Бабушка проработала более тридцати лет, и затем поехать на поезде вместе с родственниками и старыми друзьями, которые захотят присутствовать на погребении.

Стоя у могилы, Ирина слушала, как ее свекровь восхваляли за качества, которые вряд ли в силах завоевать чью-нибудь любовь: пунктуальность, добросовестность, старательность. Должно быть, эти качества она делила с сотнями коллег со своей фабрики, где ее еще помнили несколько молодых людей. Старик с львиной гривой и детски-голубыми глазами сказал просто: «У нас в профкоме от покойной было много хлопот. Она всегда хотела настоять на своем».

Это тоже была похвала; все знали, что Ольга Дмитриевна никогда не просила за себя.

Дома после похорон собравшиеся выпили по паре стопок водки, с одобрительными возгласами закусывая слоеными пирожками. «Она была славная женщина во всех отношениях», – сказал кто-то. «Что ж, семьдесят шесть лет по нынешним временам неплохой возраст», – отвечал другой. Кажется, возникнет опасность, что похоронные речи начнутся по новому кругу. Но вскоре стало ясно, что большинство собравшихся, особенно те, что приехали из Москвы, на самом деле озабочены тем, чтобы поскорей улизнуть, не нарушая приличий, так что благочестивым чувствам не очень давали ходу соображения о расписании поездов.

Прасковья Егоровна захотела, чтобы Ирина осталась и разобрала вещи Ольги Дмитриевны. Ирина и сама была рада предлогу не возвращаться в город со всеми вместе и не вести неизбежный разговор под грохот поезда; но она видела, что Николай стремится поскорей уехать. «Поезжай, – сказала она. – Дети одни. Я скоро приеду».

– Вы не привезли с собой Вову и Машеньку, – укорила Прасковья Егоровна.

– Они слишком малы для похорон, – извиняющимся тоном ответила Ирина.

– Она была хорошей бабушкой, – сказала Прасковья Егоровна, – всегда думала о них. Последнее, что она сделала, починила куклу, которую Машенька оставила в чулане. Мы нашли ее ножку на куче песка и пришили ее. Это было последнее желание Ольги Дмитриевны, и мы его исполнили.

Прасковья Егоровна принесла узел с вещами. Когда Ирина развязала его, оттуда выпала «Книга о вкусной и здоровой пище». Подняв книгу, Ирина вручила ее Прасковье Егоровне.

– Возьмите на память о ней.

Прасковья Егоровна почтительно шмыгнула носом и тронула очки в роговой оправе, завернутые в чистый носовой платок.

– Можно мне их взять? – Заметив тень сомнения на лице Ирины, она поспешила добавить: – Или, может быть, они нужны вам или Николаю Степановичу? Или пригодятся детям, когда подрастут.

Ирина поспешила заверить ее, что ни она, ни ее муж не нуждаются в очках и не собираются превращать их в фамильную реликвию. Прасковья Егоровна ни за что не поверила бы в истинную причину ее минутной заминки – а ею была мысль, что не стоит носить чужие очки, не посоветовавшись с окулистом.

Были распределены и остальные вещи: маленькую стопку книг – томик Толстого, который Ольга Дмитриевна читала в день своей смерти, «Украинские народные сказки», несколько разрозненных номеров «Нового мира» – завернули в бумагу и увязали – книги Ирина собиралась отвезти в город. Вежливый спор по поводу цветастого фланелевого халата Ольги Дмитриевны – Ирина пыталась вручить его Прасковье Егоровне, а Прасковья Егоровна говорила, что он может пригодиться самой Ирине – завершился тем, что Ирина вынула его из рюкзака и положила на кровать, когда Прасковья Егоровна вышла из комнаты. Вместе с халатом из рюкзака были извлечены тщательно сложенные нейлоновые ленты для волос; Ирина запихнула их в карманы. Больше они не понадобятся. Ирина собиралась обрезать Машеньке волосы – она желала этого долгие годы.

Чудный майский вечер уже овладевал местностью, вбирая в себя зелень травы и деревьев, но было еще не темно, когда Ирина осторожно спускалась вниз к новому мосту, стараясь не наступить на две полосы грязи и смятой травы, проделанные этим днем грузовиком, привезшим на да-

чу гроб для Бабушки. На пятне голой земли вокруг скамейки, стоящей на полпути от берега, шина оставила четкий, подобный подписи отпечаток, прежде чем нанести удар по скамейке. Выпачканный лоскут под скамьей указывал на то, что сегодня днем здесь был накрыт свадебный обед, но теперь осколки красного и белого, розового и голубого блестяли, как цветы, выросшие в борозде, проделанной колесницей джаггернаута. Ирина поняла, что это разбитые остатки обеденного набора Бабушки. Еще через несколько шагов она наткнулась взглядом на большое цветное пятно в грязи. Это был омар, целиком отлетевший со своего блюда. Ирина хотела нагнуться и поднять его, но не успела остановиться и наступила на него каблуком, вдавив осколки в мягкую землю.

Она бросилась прочь, к мосту, и перевела дух только на его середине. Тут она увидела, что Васька сопровождает ее, плывя по реке. Ирина остановилась и сняла с себя рюкзак. Васька тоже остановился. С надеждой? У нее не было ничего съестного, кроме нескольких *пирожков* Прасковьи Егоровны, завернутых в кружевную салфеточку, одну из тех, что когда-то с такой тщательностью вышивала Бабушка в редкие свободные минуты. Ирина взяла два пирожка, намереваясь бросить их Ваське, а остальные отвезти в салфетке детям. Но почему-то сделала все наоборот: пирожки, предназначенные Ваське, положила в рюкзак, а все остальные, в замечательной бабушкиной салфетке, бросила через перила в воду. Васька с трудом подхватил один пирожок, прежде чем все другие пошли ко дну, а белый квадратик материи безмятежно поплыл вниз по течению.

Ирина вытащила два пирожка из рюкзака, засунула их в рот, похлопав ладошами, стряхнула обильные крошки и побежала по мосту к остановке. Как раз вовремя, чтобы успеть в последний вагон уходящего поезда.

СВЕТЛЫЙ БЕРЕГ

1. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

Обмануться в Джоне Броу было невозможно – любой житель Светлого Берега с первого взгляда узнавал в нем иностранца. Это видно было не только по смелому покрою его сшитых по мерке брюк или несминаемому пиджаку без накладных плеч, и даже не по древним коричневым сандалиям – он выглядел иностранцем и в полосатой пижаме и дерматиновых тапочках, которые выдавали гостям санатория, а особенно в вышитой «крестьянской» рубашке, купленной им в магазине «Интурист» в Тбилиси. Быть может, среди коротко подстриженных и бритых голов других гостей его выделяла копна вздыбленных волос, казавшихся седыми в одном освещении и просто тусклыми в другом, но всегда нуждавшимися в стрижке. А может быть, его отличала размашистая, целеустремленная походка, тогда как другие лениво бродили на отдыхе, казалось, без всякой цели; или выражение его лица, сосредоточенное и дружелюбное одновременно, в то время как другие выглядели либо приветливыми, либо ушедшими в себя, но редко приветливыми и сосредоточенными одновременно. Как бы то ни было, существовало нечто, выдававшее в нем англичанина.

Если Светлый Берег считал Джона Броу экзотичным, то Джон Броу не находил Светлый Берег даже живописным. Местный автобус доставил его к зданию почты в середине улицы Ленина. Карта, до этого лежавшая сложенной в его кармане, поведала, что он находится между Кавказскими горами и Черным морем, но горы были закрыты зданием

почты, а магазины и учреждения на другой стороне улицы заслоняли море и пляж. Джон знал, что море должно быть там, надо только перейти дорогу. Проезжавший грузовик удержал его от этого движения, и он встал у обочины, наблюдая, как люди выстраиваются в очередь на остановке автобуса, а другие ныряют в двери кафе. Женщины и девушки в легких цветастых платьях, молодые люди с транзисторами на ремешках, перекинутых через плечо, несколько старух с византийскими чертами лица и стариков с худыми загорелыми лицами и свирепыми усами, в подпоясанных рубашках и сапогах до колен, стояли в стороне, словно тени, отделившиеся от своих тел. Джон взглянул на часы и понял, что успеет дойти до санатория к ужину, если найдет дорогу к скале. Толпа быстро редела, и когда он оказался на противоположном тротуаре, тот был уже почти пуст. К своему разочарованию, меж домов он обнаружил лишь глухие дворы, покрытые густой растительностью, но холодный блеск, тут и там просвечивавший сквозь качающиеся ветви деревьев, подсказывал, что море где-то рядом. И вот дома и тротуар уступили место огороженному скверу; Джон вошел в него через турникет и мимо клумб с цветами и гипсовых статуй юных пионеров, бивших палочками по гипсовым барабанам, двинулся к гранитному памятнику героям войны в центре сквера. Гул в его ушах становился все громче с каждым мгновением. Миновав сквер, через другой турникет Джон вышел на широкую немощеную дорогу и через несколько шагов нашел брешь в густой растительности, откуда началась боковая тропинка. Очевидно, это и был долгожданный выход к морю, и Джон уверенно направился туда, но едва не был сбит с ног неожиданной толпой возвращавшихся с пляжа. Все они – кто целыми семьями, кто группами по двое, трое – спешили к автобусной остановке. Вспугнутый дождем шелухи от семечек, то и дело слетавшей с покрашенных

губ, ритмичным шлепаньем мокрых купальников и резкими звуками эстрадной музыки из транзисторов, он повернул назад: легче было дать увлечь себя толпе, чем пробиваться через нее. Он решил выйти к дороге и вернуться на автобусе.

Через пару недель туристский сезон на Светлом Берегу подошел к концу. Солнце еще ласково грело землю, изобилие винограда и инжира радовало взор, в каменных вазах цвели розы и георгины, но по всей стране начались занятия в школах и институтах и пляжи и садовые скамейки опустели. Джон Броу полагал, что самое время и ему возвращаться домой, но доктор отказывался его выписать. Ему объяснили, что, поскольку все еще могут случиться припадки, кое-каких поступков до поры до времени следует избегать. Его видели, например, садящимся в автобус, и это нехорошо: вдруг ему бы пришло в голову догнать автобус и впрыгнуть в него на ходу... Нельзя было ни купаться, ни ходить в горы. «Представьте, у вас закружится голова и никого не будет рядом, чтобы помочь вам». Джон возражал, что у него никогда не было головокружений, но доктор Злотов настаивал: надо подождать, пока их не будет в течение трех месяцев после операции. Ему можно курить, есть все, что захочется, умеренно выпивать – грузинские вина еще никому не приносили вреда. Видя, что пациент по-прежнему мрачен, доктор рассказал ему об ученом, получившем Нобелевскую премию после трепанации черепа, и о боксере, который стал отцом двух близнецов. Лицо Джона не прояснилось. Чтение «Правды» со словарем и обмен искусно построенными фразами за обеденным столом потеряли очарование новизны. Он тосковал по работе, по жене и двоим детям.

Дорожка к пляжу, забитая людьми еще пару недель назад, была теперь пуста, и однажды Джон остановился на углу. На дощечке, прибитой к эвкалипту, красным карандашом от

руки были выведены простые слова: «Крутая тропа». Впрочем, дорожка совсем не была крутой и скорей даже походила на лесную поляну, чем на тропу. Она была слишком коротка, чтобы создать хоть какую-то иллюзию перспективы, но там, где по каждую ее сторону заканчивались ряды кипарисов, изогнутые кверху кусты обрамляли мерцающее голубое полотно, которое Джон поначалу принял за небо. Впечатление было таким, будто он стоял в нескольких шагах от горизонта; потом, однако, рассудок взял верх над воображением, и Джон понял, что перед ним не небо, а море. За деревьями были перила; спускаясь вдоль них, Джон насчитал на каждой стороне по четыре заботливо сделанные калитки; на каждой был свой номер и висел почтовый ящик. Все заканчивалось на краю утеса, откуда Джон смог увидеть настоящий горизонт и силуэт парохода на фоне неба, чуть более бледного, чем море. Он наклонился, чтобы разглядеть пляж, и увидел русалку. Она спала у самой кромки воды, ее волосы были огненно-рыжими, и что-то ярко горело в ладони ее откинутой в сторону руки. Если это головокружение, подумал Джон, то оно мне нравится.

На мгновение он зажмурил глаза, а когда он открыл их, русалка была на прежнем месте; теперь она сидела прямо, а зеленый хвост был откинут в сторону, открыв две великолепные ноги. Спрятав сверкающий шар в пляжную сумку, она убирала волосы, которые казались теперь уже не золотого, а песчаного цвета, в пучок. В этой чарующей позе она пробыла не больше минуты, после чего безжалостным движением вынула из сумки полосатое платье и не менее безжалостно надела его и застегнула на все пуговицы. Теперь уже обыкновенная молодая женщина стояла и надевала коричневые сандалии, которые раньше Джон не заметил.

Вместо того чтобы поднять сумку и подстилку, как ожидал Джон, и направиться к подножию скалы, она постоя-

ла лицом к морю, положив руки на узкие бедра. «Вдох, выдох», – пробормотал Джон и спрятался за стволом разросшегося тиса, когда она повернулась и стала взбираться на скалу. Оказавшись наверху, она прошла совсем рядом с ним, так что он мог разглядеть, что она не так уж и молода, как казалось издали, и что у нее резкие северные черты лица и пухлый детский рот, который годы хоть и сделали жестче, но не смогли испортить. На улицах и в кафе Тбилиси Джону приходилось видеть женщин, отличавшихся античным совершенством форм и красок, но сейчас мгновенное озарение подсказало ему, что мягкий взгляд голубых глаз и наивный рот более в его вкусе, чем знойные взоры и губы, будто высеченные из камня. Слово «песчаный» применительно к женским волосам просто ушло из его лексикона.

Одной из причин, а возможно, и единственной причиной того, что Вера Ивановна каждый год покидала семью на время двухмесячного отпуска, была растущая тяга к одиночеству. Дитя революции, она никогда не жила одна в собственной комнате, а после рождения первого ребенка никогда не оставалась одна в комнате ни на один час. Когда в их тесную квартирку сын привел жену и в положенное время у них родился ребенок, Вера Ивановна поняла, что больше не может. Она ездила на Светлый Берег к Черному морю, потому что он был еще «не развит» (нет канализации, нет водопровода) и, хотя уже долгое время считался модным курортом, мало застроен; она приезжала туда не в сезон, потому что так легче было снять комнату и солнце уже не палило нещадно прямо над головой, а искоса изливало приятную теплоту с девяти до шести; и она снимала комнату на Крутой тропе, потому что оттуда было лишь три минуты ходу до края скалы и можно было пройти на пляж прямо в купальнике. Весьма осмотрительная, Вера Ивановна позволя-

ла себе загорать не более пяти минут в день; люди, живущие на Светлом Берегу круглый год, не ходят купаться, и Вера Ивановна была уверена, что она всегда сможет услышать приближающиеся шаги и успеет накинуть свой ворсистый купальный халат.

Вера Ивановна загорала и купалась в одиночестве, но зато она писала длинные письма домой и всегда выходила на угол Крутой тропы, чтобы встретить женщину-почтальона. И вот однажды выяснилось, что ей никак не избежать общения, хоть и в небольшой и не чуждой по духу компании. Это произошло в тот день, когда хозяйка принесла ей «Морнинг Стар»¹. Вера Ивановна удивилась, кому могла понадобиться эта газета сейчас, когда все учащиеся разъехались по своим институтам и школам, но Клавдия Михайловна объяснила ей, что у Тамары – девушки из газетного киоска – была постоянная клиентка, учительница английского языка, которая жила неподалеку, выше в гору. Она не пришла на этот раз, и Тамара предложила газету Клавдии Михайловне для ее *англичанки*. Вроде бы *англичанка* Тамары была старой подругой *англичанки* Клавдии Михайловны и собиралась как-нибудь навестить ее. Поэтому, когда Вера Ивановна оказалась на почте, она подошла к газетному киоску и оставила свой адрес, чтобы его передали *англичанке* Тамары, когда та придет в следующий раз. Знай Тамара ее адрес, Вера Ивановна непременно села бы в автобус, идущий наверх, и навестила старую подругу.

На другой день после обнаружения наяды ноги Джона Броу сами привели его на пляж в конце Крутой тропы, сразу же после того как ему был сделан массаж и он принял лечебный душ. Она была там – женщина, а не наяда – одетая, в очках. Она читала книгу, укрывшись в тени перевернутой рыбацкой лодки. К его ужасу, из-под его ботинок вниз посы-

палась галька, и один камешек ударил по книге и рикошетом попал в колени читательницы. Джон рассыпался в извинениях на английском, но женщина поняла его и после короткой паузы, во время которой она улыбнулась и сняла очки, мило стиво наклонила голову и сказала: «*Nothing!*» Он был очень рад узнать, что она понимает английский, хотя, как она поспешила объяснить, говорит на нем не слишком хорошо.

Наступило чарующее время. Теперь Джон всегда появлялся первым в столовой санатория, первым занимал очередь в массажный кабинет и стремился ускользнуть на Крутую тропу, прежде чем какая-нибудь добрая душа вовлечет его в разговор или в оздоровительную прогулку по парку. Вскоре он отказался от душа и уходил сразу же после массажа, а потом отказался и от него и сбегал из санатория тотчас после завтрака.

Что же до Веры Ивановны, то теперь она постоянно ходила с легкой улыбкой.

С самого начала они много разговаривали. Джон слушал ее, восхищаясь и чуть усмехаясь, а Вера Ивановна, удивленная тем, что *культурный англичанин* столь несведущ в литературе собственной страны, просвещала его по поводу Голсуорси, Сомерсета Моэма и Кронина. Постоянным предметом их разговоров был перевод местных названий. Следует ли перевести «Светлый Берег» на английский как *Bright Shore*? Лучше будет *Bright Shores*, полагал Джон, но не мог объяснить почему. А неужели всех англичан зовут Джон? Пожалуй, очень многих, но вот как быть с Верой? В санатории были две Веры Ивановны – сестра-хозяйка и диетсестра, да и доктора в московской больнице тоже звали Верой Ивановной. Ну, это еще ничего: в библиотеке, где Вера Ивановна работала в молодости, были целых три Веры Ивановны. Чтобы их различать, одну так и звали Верой Ивановной, другую Верочкой, а самую Веру Ивановну звали *Малышкой*.

Но ближе всего они становились в тихие минуты. Когда лист отрывался от ветви инжира и дрожал и крутился в воздухе со звуком, подобным жужжанию старых часов, готовящихся пробить положенный час, они в молчании ждали тяжелого глухого удара при его падении, и они замирали от металлического звона настоящих часов, которые где-то вдалеке били двенадцать; а когда ветерок доносил до них резкий запах эвкалипта, они инстинктивно приближались друг к другу на расстеленном пледе.

Джон постоянно докучал Вере Ивановне просьбой найти более укромное место для их встреч. Она же, стараясь не замечать его настойчивости, пыталась увильнуть от ответа. Джону не нужно было объяснять, что леса еще менее укромны, чем пляжи, – да, по сути дела, здесь и не было никаких лесов, только голый склон горы и парки, полные скамеек и площадок для игр. Но у Веры Ивановны была своя комната, так почему бы ей... не все ли равно, что подумает хозяйка. «Мне не все равно», – серьезно отвечала Вера Ивановна. Она приезжала к Клавдии Михайловне каждую осень в последние пять лет; как она сможет ни с того ни с сего привести в ее дом чужого человека, иностранца, и подняться с ним по лестнице в свою комнату? Джон заметил гостиницу около вокзала – не могут ли они снять комнату там? Она с иронией предложила ему попросить у директора санатория свой паспорт и объяснить, зачем это ему понадобилось. Ну хорошо, тогда, быть может, она уедет со Светлого Берега вместе с ним и приведет в Москве к себе домой? Ей пришлось объяснить, что она никак не может привести его в двухкомнатную квартиру, где одну из комнат занимал сын с семьей, а вторую она с мужем...

– Ваш кто? – воскликнул Джон так громко, что Вера Ивановна вздрогнула. – Вы сказали мне, что ваш муж умер.

– С чего вы взяли? – Она побледнела. – Он жив. Как и ваша жена.

– Вы сказали мне, что прожили в Москве десять лет со вторым мужем.

Вера Ивановна застонала.

– Нужно было сказать... Я употребила не то время... нужно было сказать в *present perfect*! В *present perfect continuous*... В общем, последние десять лет мы живем с мужем в Москве. Теперь вы понимаете?

Теперь он понял. Но, в конце концов, имело ли это какое-то значение? Не отвлекаясь на обсуждение английской грамматики, Джон упрямо возвращался к исходному пункту, как кошка, которая все лезет и лезет на стол, хоть ее то и дело спихивают оттуда. А не могла бы Вера Ивановна попросить какую-нибудь подругу одолжить им комнату на пару часов?

– Мои подруги очень бы удивились, – сказала Вера Ивановна.

Джон был в отчаянии.

– Что же делают русские, когда хотят... когда хотят побыть одни?

– Они разводятся, – сказала Вера Ивановна.

– Не слишком ли это... – Джон употребил слово *drastic*².

Тут же появился блокнот Веры Ивановны, который она всегда держала под рукой, чтобы заносить туда новые английские слова. Карандаш задрожал в ее руке, она искоса посмотрела на Джона, сияющая, как птичка, высмотревшая червячка, – *drastic*?

Джон пытался найти синоним. Пришедшее на ум слово *extreme*³ показалось ему недостаточно емким.

Вера Ивановна все же записала слово. «Может быть, *severe*⁴?» – предположила она, не отрывая карандаш от бумаги, и, увидев, что он колеблется, добавила слово *severe*. Таким образом, она деликатно ушла от темы разговора, но при этом не могла не спросить себя, что же это за разговор у них завязался. Неужели ее втянули в обсуждение вопроса о средствах и способах совершения супружеской измены?

Это ее-то, которая всегда предпочитала недосказанность в отношениях с людьми!

Наступил предпоследний день. Джон покидал Советский Союз, и им вряд ли суждено будет когда-либо увидеться вновь. Конечно же, Вера Ивановна позволит ему пригласить ее на ужин? Они закажут в ресторане свежую форель.

– Разогретую форель, – презрительно отвечала Вера Ивановна. – Приходите завтра ко мне, я угощу вас настоящей свежей форелью.

– А ваша хозяйка?

Вера Ивановна, вспыхнув, поведала ему, что хозяйка собирается уехать на целый день в Сухуми. Глаза Джона неистово сверкнули, и она поспешила добавить, что после завтрака они отправятся на автобусе в Серебряный залив, откуда открывается великолепный вид.

– Там горы подходят к самому морю. Раньше туда приезжал Сталин, но теперь его дача стала санаторием.

Джон уверил ее, что все будет так, как она захочет, а он захватит с собой на пляж бутылку вина, которую они потом разопьют под форель. Но Вера Ивановна сказала, что на следующее утро она не придет на пляж: у нее будет слишком много дел. Пусть принесет вино прямо к ней домой в час дня.

– Я даже не знаю, где вы живете.

Она посмотрела на него озорным взглядом.

– Я покажу. Пошли!

Джон знал: она живет где-то совсем рядом, но не ожидал, что они останутся в нескольких шагах от вершины скалы, у калитки, мимо которой он проходил каждый день в течение месяца.

– Не могу себе представить, чтоб на свете нашлась еще одна женщина, которая молчала бы об этом так долго! – воскликнул он в чистосердечном изумлении.

– А что, англичанки такие скорые? – спросила Вера Ивановна.

Как только на следующее утро Клавдия Михайловна уехала в Сухуми, Вера Ивановна поднялась по лестнице за тяжелой сумкой, которую, как она надеялась, ей удалось спрятать от пытливых глаз хозяйки. У дверей она остановилась и, обернувшись, оглядела свою комнату. Та была поистине безупречна; удовлетворенным взглядом она задержалась на «Тихом американце»⁵, положенном на стуле рядом с ее узкой кроватью (в комнате было две кровати; комнат на одного человека на Светлом Берегу не было вовсе), и на чайной розе, представшей во всей красе в стеклянном кувшине, стоявшем на подоконнике между накрахмаленными пожелтевшими кружевными занавесками. Потом она поставила на минуту сумку и вернулась поправить легкий коврик посреди паркетного пола (в былые времена этот дом был особняком в огромном имении) и спрятать под кровать поношенные домашние тапочки.

Чувство неловкости, с которым она готовилась в первый раз в жизни изменить собственным принципам, не позволило ей совершить более тщательные приготовления к тому, что должно было стать не более чем пусть изысканной, но все же только трапезой; но глаза ее искрились, и каждая деталь проделанной ею работы, казалось, имела огромную важность. В это время стук в калитку заставил ее удивленно и с раздражением взглянуть на часы. Всего лишь двенадцать, а ведь она велела ему прийти в час, когда под деревом будет накрыт стол и она переоденется. Она ни на мгновение не усомнилась, что у калитки может оказаться кто-то иной, кроме Джона, и вид женской фигуры за металлической оградой словно принес угрозу из чужого мира. Но обращению с враждебными посланцами пристала почтительность,

и Вера Ивановна вежливо сказала: «Клавдия Михайловна уехала в Сухуми. Она вернется только вечером».

Женщина с улицы позвала громким, протяжным голосом: «*Малышка!*»

Вера Ивановна почувствовала, как у нее подгибаются колени; она сочла за чудо, что ей все же удалось поднять руку и отвести в сторону железный засов. Она посмотрела на тыльную сторону своей руки, словно не понимая, что это такое, прежде чем потянуть на себя тяжелую калитку и впустить незнакомку, которая была вовсе не незнакомкой, а давней знакомой, которую она и не думала когда-либо увидеть в жизни. Она услышала себя, как резким, тонким голосом произнесла «Верочка!», и вновь удивилась, что может двигаться, говорить.

Женщина с улицы вступила во двор, и старая, едва ли не древняя дружба бросила их навстречу друг другу. Вера Ивановна вышла из объятий окрепшей духом. Другая женщина тоже, казалось, избавилась от чувства неуверенности, тревоги. «Малышка, Малышка! Не было дня, чтобы я не спрашивала себя: "Как там Малышка? Где она?" А у тебя все было хорошо, ты и не изменилась совсем, я тебя сразу узнала».

В этих словах Вера Ивановна услышала подспудный упрек, и ей показалось, что этот упрек заслужен. Она чувствовала себя виноватой в том, что спокойно прожила все эти годы, пока ее подруга влачила существование в лагерях! Она задвинула засов, взяла под руку старинную подругу и, повернувшись в направлении дома, сказала;

– Посиди здесь минутку. Я как раз готовлю обед. Иними плащ, неужели тебе не жарко?

– Здешней погоде верить нельзя, так она непостоянна, – сварливо проговорила Верочка, и Вера Ивановна тотчас же вспомнила, какой надоедливой зачастую бывала ее подруга и что близость, когда-то объединявшая их, была лишь бли-

зостью людей, ежедневно работающих бок о бок, которая исчезает, когда эта связь рвется. Но она тут же вспомнила и то, как Верочка однажды перед ревизией просидела с ней ночь напролет в поисках ошибки, вкравшейся в ее счета и чреватой неповышением Веры Ивановны по службе. И как она поощряла ее к чтению на английском и развивала ее вкус, до тех пор пока современная английская литература не стала тем, чем она была теперь, – всепоглощающим интересом ее жизни.

Вера Ивановна решила, что нет смысла накрывать стол во дворе, и поставила тарелки и приборы на кухне. Она отправила бокалы обратно в буфет и положила закуски (рубленую куриную печенку с орехами в остром кавказском соусе) в холодильник. Она сделала это не в отместку, но скорее из чувства такта, не желая добить подругу признаками роскошной жизни, которую она вела, тем более что это была не более чем видимость, ибо, как правило, еда Веры Ивановны была настолько спартанской, насколько это вообще возможно в Грузии – этом благословенном крае. Свежая форель, запеченная с травами, и жареный картофель уже представляли собой роскошную трапезу для двух одиноких женщин, а блюдо, доверху наполненное хурмой, вряд ли было роскошью, если вспомнить, что хурму необходимо собрать, прежде чем ее склюют птицы. Верочка широко раскрыла глаза при виде золотистой морщинистой кожи форели – она полагала, что торговать форелью запрещено.

– Моя хозяйка знает одного рыбака, – отвечала Вера Ивановна. – Тебе просто повезло, что ты пришла сегодня. – Эти слова стоили ей еще одного краткого приступа боли, но с этого момента к ней вернулось прежнее присутствие духа, и она была уверена, что теперь навсегда.

Вера Ивановна знала, что нельзя лучше проявить расположение к человеку, вернувшемуся из заключения, чем дать

ему поведать свою горестную повесть. Но она не знала, да и едва ли кто-нибудь знает, что эту повесть нельзя рассказать. Слушатель на самом деле не с вами, ему нужны только факты. Поэтому даже самый неопытный рассказчик как-то отбирает факты, и исповедальное последовательное повествование со множеством деталей, что заняло бы целый день, уступает место набору наиболее ярких эпизодов, которые, однако, не могут передать картину во всей полноте. Тем не менее Вера Ивановна слушала, как могла внимательно и сочувственно, хотя ум ее занимала только одна мысль – что она скажет Джону? Она вышла во двор наполнить ведро из крана и стояла, пока ее обувь не вымокла; в другой раз она подошла к калитке, посмотрела через забор на тропу и, вспомнив, что не заперла калитку после прихода Верочки, поколебавшись, повернула ключ в висячем замке. Она не испытывала никаких сомнений; о том, чтобы принять Джона, не могло быть и речи, но что ей сказать ему? Что? Она не могла придумать понятного ему объяснения. Ведь подруге можно было бы сказать, что у нее назначена встреча, и та пришла бы в другой день, не правда ли? Нет, Джон ни за что не поймет.

Когда раздался стук в калитку, Вера Ивановна притворилась, что ничего не слышит.

– Там мужчина, – сказала Верочка, посмотрев через ее плечо в открытую дверь кухни.

Вера Ивановна вскочила из-за стола.

– Это, должно быть, насчет комнаты, – сказала она. – Я обещала хозяйке... – Она была уже у калитки, так близко, что могла сквозь ее узор тронуть кончиками пальцев его улыбающееся лицо, но все еще не могла решить, что сейчас скажет.

Сам того не желая, Джон помог ей. Завидев неясную согнутую фигуру в дверном проеме под портиком, с любопыт-

ством смотрящую в сторону калитки, он возбужденно воскликнул: «Так она не уехала?»

Вера Ивановна поглядела на него странным взглядом и медленно качнула головой. Она ничего не сказала, но ее голубые глаза, казалось, потемнели, и Джон прочел в них любовь и отказ.

Проклиная бессильную любовь, почти любя каменный отказ, в приступе гнева он рванул ручку калитки.

– Ты и не хотела этого!

Перехватив ее отчаянный взгляд через плечо, он сбавил тон до сердитого ворчания. «Ты и твоя английская литература!» Внезапно он поднял другую руку и ударил по железной калитке чем-то, что на миг блеснуло в солнечных лучах. Послышался звон стекла о железо, и на блузку Веры Ивановны хлынула вода и стала затекать под одежду; но это была не вода; жидкость высохла почти сразу, оставив запах, исходящий от пьяных мужчин.

Прикрыв рукой пятно на блузке, Вера Ивановна метнулась к дому. Ее подруга умирала от любопытства.

– О, это просто человек хотел снять комнату. Я сказала, чтобы приходил завтра, и он разозлился.

– Разозлился! Да он, видно, пьян в стельку! Я видела, как он бросил в тебя бутылку.

– Не в меня, в калитку. Я сейчас схожу, принесу чистое белье. Ты, наверное, захочешь отдохнуть с дороги. Подожди, я тебя позову.

Оказавшись в комнате, она стащила блузку через голову и положила ее в ящик комода подальше от глаз, но не смяла ее. Нет, она ее тщательно расправила, прежде чем задвинуть ящик. Она едва успела снять юбку и надеть цветастый халат, как в двери появилась Верочка.

– Ты тоже отдохни, Малышка, – сказала Верочка, увидев, что в комнате две кровати.

– Хорошо, – согласилась Вера Ивановна. Она легла на кровать и решительно закрыла глаза.

Полчаса спустя у калитки раздался какой-то шум. Верочка, полудремавшая, отложив в сторону «Над пропастью во ржи»⁶, проснулась тотчас же. «Малышка», – тихо позвала она. Вера Ивановна лежала, отвернувшись к стенке, и по ее дыханию подруга могла подумать, что она спит. Верочка встала с кровати и на цыпочках подошла к окну. За забором на дороге она увидела мужчину, который, казалось, подбирает камни, время от времени выпрямляясь и всматриваясь сквозь кружевной узор калитки. Во внезапном приступе страха перед насилием, который стал частью ее жизни, Верочка подумала, что он начнет бросать камни в окно. Но дом стоял слишком далеко, и вскоре мужчина повернулся и зашагал по улочке к дороге. «Малышка, это тот мужчина!» – воскликнула Верочка. Но голова Малышки на подушке не шевельнулась. Верочка подумала, как легко людям, чьи нервы не расстроены вдребезги, спать, когда они пожелают. Она закрыла глаза, и скоро раздалось ее ритмичное похрапывание.

У противоположной стены Вера Ивановна подняла голову и тихо-тихо перевернула подушку.

2. БЕГСТВО СО СВЕТЛОГО БЕРЕГА

«Светлый Берег,
6 октября

Дорогая Вера,

итак, я прочно обосновалась в твоей бывшей комнате на Крутой тропе; только теперь это уже не Крутая тропа, теперь это место называется Медицинский пляж.

Когда я вышла из аэропорта на площадь, она вся кипела; огромные автобусы разъезжали во все стороны с явным намерением ко-

го-нибудь раздавить. Как ты и предсказывала, никаких носильщиков не было и в помине, и люди металась от одной остановки к другой, волоча за собой тяжелые сумки. У этих несчастных не было своей Веры Ивановны, которая подсказала бы им, что нужно делать. Строго следуя твоим указаниям, я оставила чемодан в камере хранения и пронеслась, как ветерок (вернее, пронеслась бы, если бы мне адски не жали эти роскошные новые туфли, за которыми я отстояла такую очередь), через площадь, по мосту и вокруг ограды рынка, и очутилась на улице Ленина, где нашла на положенном месте около почты славный маленький местный автобус – все, как ты и говорила. Как заправский старожил, я сошла на третьей остановке и перешла дорогу по направлению к эвкалипту на углу Крутой тропы (я не хочу и не буду называть ее Медицинским пляжем!). По твоим описаниям я представляла себе, что войду в сплошной туннель из зелени, где в конце светится естественно образовавшаяся буква "О" – словно начало Океана. Но оказалось, что инжиры и магнолии безжалостно вырублены, лесная прогалина превратилась в асфальтовую полосу, упирающуюся в ограду, на которой на фанерной радуге над входом написано славянской вязью: "Добро пожаловать на Медицинский пляж – вход 10 копеек".

Клавдия Михайловна встретила меня, расплывшись в улыбке, как и пристало домовладелице; она еще менее привлекательна, чем ты говорила, но сам дом и его расположение чудесны, и я вполне верю, что она опрятна и честна, да и нельзя иметь все сразу – никто не знает этого лучше нас с тобой. Я занимаю твою прежнюю комнату в дальнем конце веранды, где виноградник особенно густ. Рада сообщить, что радио во дворе все еще не работает. Комната была бы совсем хороша, если бы не вторая кровать; мне она не нравится тем, что занимает место и вводит в искушение сваливать на нее вещи. Клавдия Михайловна сказала, что в сезон она поселяет в этой комнате троих, и пыталась заставить меня платить за вторую кровать, но я твердо напомнила ей, что

сезон закончился, и она согласилась, чтобы я платила только за себя. Она послала мальчика в аэропорт за вещами, и, поскольку я ничем не могу заняться, пока он не вернется, я решила написать тебе, хотя, конечно, мне еще не о чем писать. Интересно, удастся ли мне встретить английского джентльмена? Я думаю, что, как и ты, я могла бы сидеть с ним на вершине скалы и вести разговоры об английской литературе».

Отложив ручку, Дарья Львовна согнула и разогнула пальцы ног, все еще одетых в чулки. Новые туфли – молчаливые инквизиторы – стояли прижавшись друг к другу. Дверь комнаты выходила на веранду, а в проеме окна открывался чудесный вид на верхушки фруктовых деревьев, среди которых выделялись виноградные грозди. Плоды хурмы свисали с безлистных ветвей, как игрушки на рождественской елке. Листья инжира начали один за другим опадать, но на верхушке еще оставалось довольно листвы, чтобы укрыть несколько съезжившихся комочков. Яблоки и груши можно было рвать, высунувшись из окна, но гроздья винограда – свет проникал сквозь зеленые ягоды и заставлял слабо мерцать темные – были в некотором отдалении. Дарья вспомнила, что ничего не ела с самой Москвы. Она вытрясла свою набитую сумочку над второй кроватью, и самые разные предметы посыпались на покрывало. Свернутый в кольцо собачий ошейник, старая квитанция из прачечной, читательский билет, – все эти вещи оказались в сумочке по невнимательности – Дарья забыла проверить ее содержимое перед отъездом. Но пинцет и колода миниатюрных карт не должны были быть в сумочке – она оставила их дома умышленно, желая дать отдохнуть подбородку и хотя бы на время забыть о пристрастии к пасьянсу. Объяснить их присутствие можно было только тем, что ее сын Володя заметил их в последний момент и сунул в сумочку, не в силах представить, как мать сможет обходиться без них в течение месяца.

Из кучки на покрывале Дарья выбрала то, что могло ей понадобиться в кафе, – деньги, носовой платок, томик «Кентавра»¹. Морщась и гримасничая, она засунула ноги в ужасные туфли. В руках продавщицы они казались мягкими, как перчатки, а теперь они и в самом деле облегли ее съезжившиеся ноги, как рукавицы – но железные рукавицы. Новая кожа на носках туфель быстро нащупала болевые точки на мизинцах обеих ног – мозоли, одна зарождающаяся, другая было задремавшая, – а на пятках горели ссадины, которые скоро пойдут волдырями. Прихрамывая, Дарья вышла на крыльцо, не смея остановиться и полюбоваться на багровое небо за зубцами гор, ибо знала, как больно будет снова сделать шаг после остановки. Между своей комнатой и лестницей, ведущей во двор, она насчитала три двери, на которых висели замки, и три окна, закрытых ставнями. Под одним из окон к стене был придвинут маленький столик. Дарья была уверена, что его не было, когда она приехала, потому что специально отметила, что на веранде нет ничего, кроме радиолы. Но от дальнейших размышлений на эту тему Дарью отвлекла хозяйка, бодро поднимающаяся по лестнице с большим чемоданом в руках, с таким видом, будто он был невесом. «Дайте его мне!» – воскликнула Дарья, но Клавдия Михайловна крепко держала ручку, и Дарья могла лишь пройти в комнату рядом с ней, что-то бормоча извиняющимся тоном. С подчеркнуто деликатным видом Клавдия Михайловна удалилась, предоставив жилище разбирать чемодан без ее надзора; но Дарья Львовна, заметившая ее быстрый взгляд, прежде чем оставить комнату, положила незапечатанное письмо в сумочку. Теперь она обнаружила то, чего не заметила раньше, – поверхность столика была расчерчена на квадраты. Она крикнула Клавдии Михайловне, которая была уже во дворе: «Ваш муж играет в шахматы?», но не

получила ответа. Клавдия Михайловна вошла в открытую кухню под домом; может быть, она и не слышала.

Сойдя с автобуса напротив кафе, Дарья Львовна заметила человека, переходившего дорогу. Она обратила на него внимание, потому что он был непохож на всех прочих; в самом деле, он выглядел, как иностранец, может быть, из-за своих рыжевато-коричневых башмаков и покроя норфолкской куртки, чья похожесть на русскую толстовку лишь подчеркивала их различие. Его рыжеватые волосы были почти того же цвета, что и куртка, и крайне нуждались в стрижке. Лицо его в профиль выглядело худым, едва ли не изможденным. Дарья не успела дойти до тротуара, как он исчез из виду.

На обед она взяла борщ и биточки с гречкой; она знала, что это будет ее пищей во все время пребывания на Светлом Берегу, кроме тех редких и счастливых случаев, когда в меню появятся цыплята табака, которые так чудесно готовят в Грузии. Дарья прислонила книгу к графинчику с уксусом и завершила обед стаканом неосветленного клюквенного сока. Перед тем как встать из-за стола, она вынула из сумочки письмо и, улыбаясь, добавила в него еще одну фразу. На улице она поймала себя на том, что оглядывается в поисках иностранного джентльмена.

Дорога пролегла между невидимыми горами и невидимым морем, и Дарья повернула у первого же угла, зная, что любая поперечная дорожка приведет ее на берег; она надеялась вернуться к Крутой тропе, обойдя скалу. Боковая улочка, которую она выбрала, была немощеной и кончалась густой рощицей; но Дарья продралась сквозь кусты, и перед ней возникло море. Ей показалось, что она заметила человека, то входившего, то выходящего перед нею из рощи, но эта мысль заставила ее ускорить шаг. Тропинка вдруг упер-

лась в забор, и на этот раз Дарья была почти уверена, что видит фигуру, притаившуюся в его тени, но когда она подошла поближе, то никого не обнаружила. Не имея возможности идти дальше вдоль края скалы, она свернула, чтобы поискать кусочек парка на краю дороги, о котором ей рассказывала Вера Ивановна, и прошла по его тропинкам до другого края, где на углу Медицинского пляжа росло то самое эвкалиптовое дерево.

Небо на западе было еще расчерчено полосами, но отполированный диск луны уже поднялся над горизонтом, и широкий луч света, брошенный им на воду, протянулся до самой изгороди. Дарья испытала непреодолимое желание спуститься по тропинке к пляжу и подойти к кромке прибора; но сначала надо было вернуться домой и поменять туфли. С лестничной площадки она мельком оглядела веранду, чтобы посмотреть, стоит ли еще шахматный столик. Он был на месте, и теперь желтоватый конь с раздувшимися ноздрями нетерпеливо топтался на белом поле, глядя в лицо двум бесстрастным ладьям и россыпи желтых и черных пешек. Слон, ферзь и остальные пешки вывалились из открытой деревянной коробки, стоявшей ребром на столе.

В комнате, переминаясь с ноги на ногу, она освободилась от новых туфель, надела старые домашние тапочки и извлекла из чемодана объемистый том Достоевского. Вера Ивановна просила передать эту книгу в подарок Клавдии Михайловне. Хотя Клавдию Михайловну и нельзя было назвать образованным человеком, она была страстной читательницей и отточила свой вкус на книгах и журналах, которые оставляли жильцы. В последний раз, когда Вера Ивановна была на Светлом Берегу, случилась трагедия – Клавдия Михайловна дошла до самой кульминации «Братьев Карамазовых», как вдруг получила письмо от бывшей жилицы, просившей ее вернуть книгу. Вера Ивановна купила

роман в букинистическом магазине, но так и не собралась отправить его почтой. Дарья оставила сумочку на столе, но, вспомнив рыщущий взгляд хозяйки, вынула оттуда неоконченное письмо и спрятала в чемодан, и вновь улыбнулась, вспомнив фразу, добавленную ею в кафе: «А твой англичанин играл в шахматы?»

Рядом с шахматным столиком появился новый предмет – это был розовый стул, имевший форму запятой, на трех сужающихся книзу темных ножках. Могла ли она проглядеть такой бросающийся в глаза предмет у покрытой дранкой стены? Она решила, что нет, но отбросила эту мысль, устав рваться в своей памяти.

Когда Дарья с книгой в руке приблизилась к неосвещенной кухне под верандой, оттуда сверкнули поросячьи глазки. «Я отложу ее до зимы и тогда прочту с самого начала». Слова Клавдии Михайловны прозвучали как воспоминание о бесконечных зимних вечерах, когда все окна закрыты ставнями, а из-за бурь постоянно случаются перебои с электричеством; когда соседи забираются в кровати и засыпают под рокот моря и неба, а Клавдия Михайловна лежит, повернувшись спиной к храпящему мужу, и читает Чехова или Достоевского при свете керосиновой лампы с потрескавшимся стеклом и фарфоровым абажуром с отколотым краем. Она встала на стул, чтобы положить тяжелую книгу на гардероб, и тут же превратилась в ту суровую женщину, которую описывала Вера Ивановна. «Я пошлю что-нибудь Вере Ивановне, – проворчала она. – Может быть, я передам с вами банку варенья из хурмы». Дарья в душе пожелала, чтобы она отказалась от этой мысли, – у нее уже был опыт перевозки банок с вареньем среди одежды и бумаг в чемодане.

– Клавдия Михайловна, – сказала она, – вы ничего не должны Вере Ивановне. Ей было очень приятно достать для вас «Братьев Карамазовых».

– Она потратила на это время, – неумолимо отвечала Клавдия Михайловна. Потом она взглянула на тапочки своей жилицы. – Вы выходите в домашних туфлях?

– Я хотела только выйти взглянуть на море, – извиняющимся тоном произнесла Дарья Львовна. Выходить из дома в домашних туфлях было не принято. Стоя на тропе, она по некоторым звукам догадалась, что Клавдия Михайловна прошла за ней через двор и сейчас, вероятно, стоит у калитки и следит за ней.

Пройдя несколько шагов, она оказалась перед забором, который, как она теперь поняла, был одной из сторон того ограждения, что помешало ей пройти к дому по краю скалы. Она знала, что под деревянной радугой, которую она описала в письме к Вере Ивановне, должен быть проход, и кончиками пальцев нащупала более широкую щель между соседними кольями, что должно было означать присутствие между ними петель. Но дверь или калитка была заперта на засов с другой стороны. Дарья Львовна нетерпеливо обернулась. Да, она была права, хозяйка стояла у калитки и смотрела ей вслед. Ее готические черты были смягчены тенями от свисающих ветвей, но те же тени четко обозначили ее мощную фигуру. В гибкой линии ее довольно полной талии, в маленькой высокой груди и удлинённых бедрах совсем не было угловатости. Дарья вспомнила, с какой легкостью она несла наверх тяжелый чемодан и как легко сгибалась и разгибалась спину при стирке. Мужчина может найти очарование в крепкой женской фигуре, подумала она, и простить мрачность лица, возвышающегося на царственной шее. Оказавшись в пределах слышимости, Дарья тут же спросила: «А что, проход откроют утром?» Клавдия Михайловна отвечала, что пляж закрыт на зиму и ей придется пройти по дороге до более дальнего спуска к морю. Забыв, что во времена Веры Ивановны здесь не было ограждения, Дарья Львовна сказала:

– Но ведь Вера Ивановна выходила загорать на скале прямо по тропе?

– Это все знают, – отвечала Клавдия Михайловна с безобразной усмешкой.

Вера Ивановна предупредила подругу, что Клавдия Михайловна непривлекательная особа, но Дарья не предполагала, что до такой степени. Она быстро вышла к началу тропы и на дорогу. Там она замедлила шаг, пока наконец не нашла изрезанную колеями дорожку, проложенную через пустырь, прошла по ней до края скалы и дальше по крутому спуску, держа путь к морю. Волны разбивались о камни и отступали прочь медленнее, чем набегали, с отчаянием цепляясь за мелкие камешки, которыми за мгновение до этого так небрежно швырялись. Сюда, сказала себе Дарья, я буду приходить каждое утро купаться и лежать на солнце.

Когда она вернулась, в доме уже было темно, и только над дверью ее комнаты светилась узенькая полоска. Во дворах других домов по обеим сторонам улицы горел яркий свет, но Дарья Львовна не удивилась, понимая, что Клавдия Михайловна экономит электричество. Шахматный столик стоял не на прежнем месте, а ближе к ее двери, очевидно, из-за света крошечной лампочки, ввинченной в стену. За столиком спиной к ней сидел мужчина. При звуке ее шагов он встал, отодвинул столик и исчез. Теперь столик и стул стояли на своих прежних местах, в глубине веранды.

Когда следующим утром, собираясь позавтракать, Дарья прошла мимо закрытых ставнями окон и запертых дверей, на веранде уже не было ни шахматного столика, ни цветного стула. Она выпила кофе, съела пресный армянский хлеб с острым козьим сыром, положила большой плод хурмы в пляжную сумку и отправилась искать тропку через пустырь, обнаруженный ею вечером. Тропка оказалась ближе, чем ей

представилось в лунном свете, и Дарья прошла по ней вдоль края скалы на пляж. Там она сняла сандалии и пошлепала по прозрачным курчавым волночкам назад к Медицинскому пляжу, до изгороди, спускавшейся в море и становившейся все ниже, так что ее столбики уже едва выходили из воды; здесь их уже нетрудно было переступить. Теперь она могла видеть, что люди получают за свои десять копеек. На вершине скалы было небольшое просмоленное строение с окошечком кассы в одной из стен, а чуть дальше вниз открытый павильон, набитый шезлонгами и лежаками. На мгновение Дарья захотелось вытащить наружу лежак и вволю позагорать на нем, хотя бы ради удовольствия немного смошенничать, но полоска травы у подножия изгороди казалась такой привлекательной и тенистой, что она решила расположиться именно там после купания. «Клянусь, что как раз там они сидели и болтали», – подумала она. Дарья долго качалась в ленивом прибое, пока легкое изменение его ритма не побудило ее поплыть к берегу. С трудом ступая по гальке, она забралась на вершину скалы, стянула там с себя купальник, расстелила на траве халат и улеглась под прикрытием изгороди. На горизонте вырисовывался контур большого парохода, его нос то погружался в воду, то выныривал. Дарья лениво прикинула, сколько пройдет времени, прежде чем он исчезнет за горизонтом. Ее глаза сами собой закрылись от золотого мерцания неба и моря. Под сморщенными складками капюшона ее халата что-то билось, словно сердце; легкий ветерок, едва уловимый зефир, забрался в широкий рукав, словно чья-то ищущая рука; земля подымалась и опускалась, как море. Она уже лежала не на траве под изгородью, а на содрогающейся палубе и слышала толчки поршней в машинном отделении, их мягкий, но неотвратимый ход взад и вперед в царстве, где возможно все. Толчки поршней становились все реже и медленней, потом они прекратились. Дарья открыла глаза и

притянула халат. Из чашечки цветка вылетела пчела. Дарья посмотрела на мерцающую поверхность моря. Корабль уже исчез, только столб дыма на горизонте указывал на то место, где он находился. Она напрягла мышцы и села. Потом вытянулась и встала. «Это было чудесно», – сказала она.

Дарья покачнулась и тяжело наступила на что-то невообразимо мягкое. Нагнувшись, она увидела, как по белому халату растекается красное пятно. Хурма. Она подобрала ее, задумчиво поглядела, быстро высосала сочную сердцевину и выбросила шкурку в кусты.

Во дворе она остановилась на пару минут у колонки, чтобы замочить пятно и повесить сушиться халат и купальник. Когда она проходила мимо кухни, хозяйка оторвалась от белья, которое гладила, и неприятным тоном спросила: «Загорали?»

В своей комнате Дарья открыла все еще не распакованный чемодан и стала рыться в нем, пока ее пальцы не нащупали узкий несессер, который, освобожденный от карандашей и катушек с нитками, содержал теперь лишь ошейник и колоду карт. На пинцет она мельком взглянула и положила его на ночной столик. Неоконченное письмо осталось в чемодане; несессер она собиралась взять с собой на почту, где хотела купить цветную открытку с видом, чтобы послать Вере Ивановне. По пути у нее сложился текст, который она напишет на свободном месте рядом с адресом:

«Обосновалась на Крутой тропе, хотя теперь это уже не Крутая тропа, а Медицинский пляж, но все всё равно называют это место Крутой тропой, и я тоже так буду. Клавдия Михайловна была очень рада Достоевскому. Искупалась в первый раз. Все отлично. Целую. Даша».

Теперь Дарья Львовна проводила каждое утро на неогороженной части берега, не заплывая больше на Медицин-

ский пляж и не загорая под изгородью. Почему она так делала, Дарья и сама не могла сказать. Время от времени она вынимала из чемодана неоконченное письмо и добавляла туда несколько строчек с насмешливыми намеками на английского джентльмена Веры Ивановны; письмо получалось длинным, и ей пришлось начать новую страницу. Она знала, что никогда не пошлет его.

Шахматный столик окончательно исчез с веранды. Мимолетная фигура в норфолкской куртке и башмаках также больше не появлялась на углу, когда она выходила в город. Но однажды произошла встреча, которая хоть и не тронула ее до глубины души, все же была ей крайне интересна. Она стояла у стойки кафе и собиралась взять погнутую алюминиевую столовую ложку и вилку с углового стола (ножи здесь не полагались), когда заметила, что женщина, стоявшая за ней в очереди, уставилась на нее своими печальными бусинками-глазами. Дарья села за столик у большого окна, откуда во время еды могла развлекать себя, наблюдая за прохожими. Та женщина, немного поколебавшись, с подносом в руках двинулась прямо к ней – хотя в помещении было достаточно свободных мест – и тронула стул напротив Дарьи с умоляющим взглядом, еще более выразительным, чем извиняющееся бормотание, с каким она попросила разрешения сесть рядом. Одинокая душа, недоброжелательно подумала Дарья, но потом решила, что и сама она тоже одинока, и улыбнулась в знак согласия, хотя и вынужденного. Женщина начала разговор обычным гамбитом. Впервые ли ее соседка на Светлом Берегу? Ближе ли от моря она осталась? Как ей здесь нравится? Дарья отвечала с ледяной вежливостью, и женщины принялись за еду в молчании. После нескольких движений вилкой соседка опустила ее и буквально не дала Дарье Львовне поднести ложку супа ко рту, наклонившись вперед и спросив тихим голосом:

– Вы меня не помните?

Дарья положила ложку, слабо улыбнулась и сказала:

– Боюсь, что нет. А мы знакомы?

– У нас есть общая знакомая, Смирнова. Вера Ивановна Смирнова. Вера Ивановна и я работали вместе в Библиотеке иностранной литературы. Вы приходили туда за английскими книжками. Я работала там в бухгалтерии.

Смутные образы возникли в сознании Дарьи. Вот Вера Ивановна появляется над склоненными головами в глубине библиотеки, чтобы поздороваться с ней у стойки. Вот чье-то лицо – то самое, что сейчас напротив нее? – поднимается из-за чужих голов, смотрит на нее, словно желая удостовериться, кто это, и вновь склоняется над бумагами.

– Вера Ивановна говорила мне, что вы здесь, – сказала Дарья. – Вы, кажется, живете где-то наверху? И вас будто бы (улыбаясь) тоже зовут Верой Ивановной? Но я не помню, чтобы видела вас в библиотеке.

– Вера Ивановна рассказывала вам обо мне?

Лицо Дарьи погрузнело.

– Она сказала, что вы... что вас долго не было...

Постепенно напряженность спала; как только у женщин появился подходящий предмет для разговора в лице общей подруги, им нашлось много чего сказать друг другу.

– Вы, наверное, близкая подруга Веры Ивановны?

– Да, – подтвердила Дарья. – Но у вас с ней более долгое знакомство.

– Она была совсем ребенком, когда мы познакомились. Мы называли ее Малышкой, потому что у нас было три Веры Ивановны.

Дарья улыбнулась.

– Я знаю. Она рассказала мне, как вы пришли к ней, когда она была здесь в последний раз.

– В самом деле? – Вера Ивановна была явно взволнованна. – А она рассказывала вам о своем англичанине?

– Она говорила мне, что познакомилась с англичанином, отдохнувшим в санатории, – холодным тоном ответила Дарья; но ей было так любопытно узнать побольше об английском джентльмене, что она едва ли не с нетерпением согласилась на предложение новой знакомой закончить разговор за чашкой чая. Из кармана своего обвисшего жакета Вера Ивановна извлекла пластиковый пакет, а оттуда половинку лимона и коротенький ножик с черной ручкой. Восхищенная ее предусмотрительностью, Дарья смотрела, как та отрывает тонкие ломтики лимона.

– В кафе должны бы давать посетителям ножи, не правда ли? Или они боятся, что мы унесем их домой?

– Они, быть может, боятся, что люди перережут друг друга.

Женщины рассмеялись, оглядывая немногочисленных посетителей кафе, мирно поедавших щи или жевавших кусочки мяса, слишком мягкие и волокнистые, чтобы для них нужен был нож.

– На мой взгляд, Малышка очень сильно изменилась, – начала Вера Ивановна.

– Неужели? А мне кажется, мало кого так пощадили годы, как Веру Ивановну. По-моему, она все еще выглядит молоденькой девушкой – ни одного седого волоска, почти нет морщин, и фигурка все такая же тонкая и гибкая...

– О, не внешне, я имела в виду ее поведение.

– Поведение? Я всегда считала Веру Ивановну образцом для подражания, не в упрек нам будь сказано. Поначалу она может показаться немного чопорной, но скоро понимаешь, что это всего лишь застенчивость. Не знаю человека добрее и терпимее.

– Да, да! Я очень люблю Малышку, но она так странно вела себя, когда была здесь в последний раз: лежала на пляже

раздетая с мужчиной – иностранцем из санатория – и все время обнималась с ним на вершине скалы.

– Ради Бога! Откуда вы все это взяли?

Вера Ивановна, казалось, немного смутилась.

– Мне говорила Тамара, – сказала она.

– А откуда Тамара, которая целыми днями сидит в газетном киоске, могла знать что-то о Вере?

– Из самого надежного источника – ей рассказала хозяйка.

– Клавдия Михайловна?! И вы поверили тому, что эта злая ведьма наболтала про вашу подружку?

– Но ведь это правда. Я и сама кое-что видела.

«Я не должна слушать ее», – подумала Дарья Львовна, но вместо того, чтобы дать должный отпор, поощрила дальнейшие разоблачения.

– Вы хотите сказать, что в самом деле видели, как Вера делала что-то дурное?

– Я видела достаточно. Однажды я пришла к ней без предупреждения и сразу поняла, что она ждет мужчину. Для одной себя она не стала бы готовить такой роскошный обед. И я видела, как она убрала бокалы. А пока я сидела у нее, к калитке подходил мужчина – два раза. Она не впустила его, сказала, что это кто-то ищет хозяйку. Думаю, я испортила им свиданье.

– И вы этим гордитесь? – спросила Дарья, ужаснувшись злорадству в голосе Веры Ивановны. – Вы пожалели миг счастья для вашей подружки?

– Счастья! Никому в голову не приходит, что у меня тоже есть право на счастье! Вера не выглядела бы молоденькой девушкой, проведи она десять лет в лагерях! Посмотрите на себя – вы, как я понимаю, постарше меня, но никто этого не скажет. У вас не выпали от цинги все зубы, и рот у вас не впалый! Вы не облысели, как колено, когда вам еще не исполни-

лось сорока! – Едва ли не в ярости Вера Ивановна поднесла руку к голове и сдвинула грубо сделанный парик, обнажив воскового цвета череп.

– Я знаю, – сказала Дарья Львовна, – и, поверьте, мы испытывали к вам искреннее сочувствие, понимая, что вы перенесли. Но не вы одна. Моя младшая сестра такая же, как вы, – она не была в лагерях, но она перенесла ленинградскую блокаду. А что касается Веры Ивановны, то да, вы правы – ваша подруга ждала мужчину, к которому испытывала симпатию. Она приготовила для него прощальный обед, но она не могла оскорбить ваши чувства. Другая женщина попросила бы вас просто зайти на следующий день. Не плачьте. На нас начинают обращать внимание. Пойдемте посидим в парке.

Они уселись на свободную скамейку в тени цветущих деревьев. Рядом была цилиндрическая урна, увенчанная ободком, похожим на блюдце, но, сидя на скамейке, трудно было попасть в высоко расположенное отверстие, и поэтому все обгоревшие спички, окурки, обертки от конфет валялись на гравии у их ног. Кинотеатр напротив был закрыт и тих, его портик с колоннами и побеленные стены на фоне полукруга кипарисов представляли перед непросвещенным взором как нечто восхитительно античное. Позади на неровной песчаной площадке стояли неподвижные качели: дети были в школе.

– Вы, конечно, презираете меня, – тихо сказала Вера Ивановна. – Я не желаю ей зла. Я всегда любила Малышку и всегда буду любить. Окажись она в беде, я бы ничего для нее не пожалела.

«Но снести ее счастье тебе было не под силу», – подумала Дарья Львовна. Вслух она сказала:

– Я не презираю вас. Вероятно, на вашем месте я бы чувствовала то же, что и вы. – Она протянула руку и дотрону-

лась до руки Веры Ивановны, лежавшей на коленях, руки, которая, как она с удивлением заметила, имела удивительно красивую форму – единственная элегантная нота в нескладной фигуре, расположившейся рядом с ней на скамейке.

Вера Ивановна с благодарностью приняла это пожатие и небрежным движением отшвырнула окурок.

– Как вы думаете, Вера счастлива? – спросила она.

– А кто счастлив? – резко ответила Дарья.

На кухонном столе ее ожидало письмо из дома. Она получила по письму в день; муж писал ей конвейерным методом, начиная очередное письмо сразу же по отправлении предыдущего.

«Дорогая жена», – писал он, не подозревая, насколько раздражают Дарью его шутивно-нежные слова.

*«Дорогая жена,
мне пришлось недавно прочесть ряд лекций о научных характеристиках политэкономии коммунизма. Я знаю, что ты не проявляешь ни малейшего интереса к тому, что является страстью моей жизни, тебе не нужно этого повторять, поэтому не буду докучать тебе подробностями, хотя все говорят, что на лекциях подобного рода еще не было такого внимания аудитории и таких громких аплодисментов. Я начал с утверждения, что установление коммунистического строя само по себе является естественным историческим процессом, при котором каждая стадия происходит из предыдущей и ни одна из этих стадий не может быть произвольно опущена. Ты скажешь, что это очевидное утверждение, но его следует сформулировать как отправной пункт. Есть, однако, люди, готовые оспаривать любое утверждение, и этот осел Кузнецов прислал мне записку с вопросом: "Насколько я понимаю докладчика, коммунистическая экономика описывается как полностью рациональный процесс. Тем самым как будто бы полностью исключаются элементы спонтанности в развитии. Согласуется ли это с партийной линией?" Мне пришлось напомнить ему о су-*

ществовании слова "естественный" в моем послыле, которое допускает наличие спонтанных явлений даже в условиях социализма. Таковы, например...»

Дарья Львовна быстро листала страницу за страницей, пока не наткнулась на имена детей.

«Нюлочка редко приходит домой раньше двенадцати, а Володя и вовсе рассматривает свой дом как ночлежное заведение. Я редко вижу детей, а то и совсем не вижу».

Как и все письма мужа, это заканчивалось словами:

«Возвращаясь домой. Я скучаю по тебе. Твой любящий муж».

На следующий день Дарья Львовна не пошла в кафе, а приготовила себе легкую закуску из фруктов, сыра и молока. Она не могла отделаться от мысли, что Вера Ивановна попытается снова с нею встретиться, и с недобрим чувством решила не доставлять ей этого удовольствия. Ставя ветку сирени в бутылке из-под молока на льняную цветастую скатерть, Дарья не могла не подумать о трапезе, которую устроили две Веры Ивановны, и поймала себя на том, что накрывает стол на двоих. Иллюзия была настолько полной, что стук в калитку заставил ее вздрогнуть. Калитка была заперта на засов: Клавдия Михайловна, хотя и отошла не дальше птичника в конце двора, позаботилась об этом. Дарья вскопчила, чтобы подоспеть к калитке первой, и сразу же признала коренастую фигуру своей вчерашней знакомой.

– История повторяется, – сказала Вера Ивановна, целеустремленно протискиваясь сквозь узкую щель в калитке, которую столь негостеприимно оставила ей Дарья Львовна. – Вы так похожи на Малышку в тот день, когда я к ней приходила, словно ждете кого-то.

– Я никого не жду, – нелюбезно ответила Дарья. – Я собиралась поесть.

– А я только что пообедала. Может быть, погуляем? Мы могли бы съездить на автобусе в Золотой залив. Там была дача Сталина – говорят, оттуда замечательный вид.

Дарья Львовна вежливо отказалась, но все же пригласила гостя присесть и угоститься виноградом. Вера Ивановна, смущенная холодным приемом, посидела с полчаса и ушла, не повторив приглашения в Золотой зал. Разумеется, Дарья чувствовала, что поступила по-свински. Вчера она выказала сочувствие плачущей одинокой незнакомке, пожимала ей руку и сама едва ли не открыла перед ней свое сердце, а сегодня не может вынести ее вида. Но когда она вспомнила ее бессердечные слова «думаю, я испортила им свиданьице», жесточенность овладела ею, или, скорее, она уцепилась за это воспоминание как за оправдание своей черствости.

После того как гостя ушла, Дарья Львовна, утомленная переживаниями, особенно раскаянием и самооправданием, сбросила верхнюю одежду и бросилась на кровать, отбросив в сторону красное ватное одеяло; комната, нагретая лучами вечернего солнца, еще хранила тепло, и простыни было достаточно, чтобы не замерзнуть во время короткого сна, который она решила себе позволить. Она попыталась взять себя в руки, размышляя о действительных горестях других людей – Веры Ивановны, одинокой, всеми покинутой, злопамятной, с подорванным здоровьем, зарабатывающей на жизнь, пытаясь обучить грузинских детей английскому языку; о своей сестре, страдающей ипохондрией, живущей среди пузырьков с лекарствами и медицинских рецептов; о подруге с шестнадцатилетней дочерью, страдающей эпилепсией; о девушке с работы, которой никто не назначал свиданий. На что жаловаться ей по сравнению с ними? Она не любила работу в своем учреждении, но эту нелюбовь разделяли с ней многие ее коллеги; радость и чувство давно исчезли из отношений с ее превосходным мужем, но и в этом не было ничего необычного; дети, добрые и заботливые, ушли из сферы ее притяжения, но что может быть естественней? Что же снадало ее? Ей не дано было докопаться до корней своей собственной боли. Наконец она уснула.

Разбудила ее музыка – пронзительная, благозвучная, то-сующая. Смычок взмывал в руке музыканта в ликующем крещендо и возвращался в примиряющем диминуэндо. Все в мире невыразимо сладостно и не менее невыразимо печально – так уверяло Дарью пение смычка, но затем вступил голос, и знакомые пустые слова прозвучали издевкой. Она улыбнулась насмешливо, одними губами.

I'll be loving you

Always,

With a love that's true

*Always*².

Двадцать лет назад пластинка с записью этой жуткой песенки была самой любимой у ее мужа. Он выучил наизусть эти идиотские слова, и хотя Дарья посмеивалась над ним, она сама же предложила водрузить патефон на ночной столик, чтобы он мог снять пластинку прямо из постели и, не умея прислушаться к ее чувствам, склониться над ней, тихо бормоча *Oalways-s*. Традиция прервалась сама собой, как останавливаются незаведенные часы, – сначала исчезло бормотание, потом на диск патефона поставили новую пластинку, и наконец, сам патефон был отправлен в шкаф, где оставался неделями и извлекался оттуда лишь изредка, но никогда уже не занимал прежнего места на ночном столике. Ирония всего этого состояла в том, что глупые слова были верны: они и самом деле любили друг друга добрую порцию этого «всегда», лет двадцать и более, но теперь их любовь напоминала тюремный рацион, гарантированный, но безвкусный. Дарья вновь и вновь повторяла себе, что ей не на что жаловаться: он был ее мужем, и она не сомневалась в его любви. Наверное, трудно сказать что-либо злее о мужчине.

Странные звуки, похожие на шарканье ног, прерываемые беспорядочными глухими ударами, слишком тяжелыми, чтобы быть шагами танцора, присоединились к пению и игре скрипки. Дарья встала с кровати и на цыпочках по-

дошла к двери, приоткрытой настолько, что в щель хорошо было видно крыльцо. Она сразу увидела, откуда идут звуки. Клавдия Михайловна, в цветастом сарафане и белом платке на голове, притоптывала и шаркала в такт пластинке, крутившейся на радиоле. Ее правая нога была вдета в щетку, рядом с ней стояли ведро с тряпкой, висящей на его краю, и прислоненный к нему веник. Тряпка была вся в желтых пятнах, веник безжалостно растрепан – Клавдия Михайловна натирала пол на крыльце.

Дарья увидела, как чья-то неясная фигура вынырнула из глубины, положила руку на талию женщины, занятой полами, и присоединилась к ее ритмичным движениям.

Маленькие глазки Клавдии Михайловны излучали свет из темных глазниц, а губы, которые Дарья видела раньше лишь плотно сжатыми, обнажили сильные, чрезвычайно белые зубы.

Но вот появилась и третья фигурка, сутулая, жалкая, с выпученными глазами. Клавдия Михайловна, казалось, не заметила ее, но ее партнер протянул другую руку и вовлек вновь прибывшую в танец. Тут старая карга преобразилась в спящую красавицу; она уронила голову на любезно подставленное плечо и включилась в ритм танца. Темп музыки стал бешеным, самозабвение танцоров перешло в полное неистовство; Дарья высунула голову дальше из комнаты. Женщины не заметили ее, но мужчина-танцор увидел ее тотчас же, легко освободился от своих партнерш и направился к ней. В этот момент пластинка закрипела, заканчивая свою игру, и Клавдия Михайловна закрыла патефон, подобрала ведро и поковыляла вниз по ступенькам. И другая женщина исчезла, как только прекратилась музыка. Дарья осталась одна, лицом к лицу с игроком в шахматы, он же преследовал ее на скале и в рощице. Она сделала шаг вперед, прижалась щекой к его плечу и закрыла глаза. Грубая

на вид шерсть его свитера оказалась мягкой и холодной, как подушка. Это и была подушка.

Когда она снова открыла глаза, свет лился в комнату и скомканное одеяло лежало у ее ног, там, куда она бросила его, ложась в постель. Сколько прошло времени? Она легла еще до девяти, а сейчас часы показывали семь. Слишком рано, чтобы вставать (ей не хотелось выходить в кухню, прежде чем муж Клавдии Михайловны не уйдет из дому). Все же мысль о том, что она проспала целых одиннадцать часов, заставила ее выбраться из постели и кое-как одеться. Более того, она собрала свои вещи и вышла к завтраку, полная решимости отправиться домой первым же рейсом. Каждый день она получала по письму от мужа. Последние три заканчивались одной и той же фразой: «Когда ты вернешься?» Сейчас на кухонном столе лежало новое письмо с советом воспользоваться тем, что пока еще хорошая погода, а то потом могут возникнуть трудности с полетами. «Я возвращаюсь домой», – сказала Дарья Львовна.

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

1.

Все специалисты, к которым обращались встревоженные Славины родители, сходились в том, что мальчик отстаёт в развитии. Ничего более определенного они сказать не хотели. Ведь всем известны случаи – по крайней мере, о таких случаях слыхали, – когда дети, во всем остальном нормальные, не говорят до пяти, шести, а то и до семи лет. Но к восьми годам уже не оставалось сомнений, что Слава человек лишь по видимости, а полноценным членом общества ему никогда не стать. Отвисшая нижняя губа, негнущиеся растопыренные пальцы, непривычный угол, под которым Слава держал голову, говорили за себя яснее, чем его невнятная речь. Многие советовали Юрию Владимировичу и Валентине Матвеевне отдать сына в специализированный интернат. Юрий Владимирович, возможно, и согласился бы, но предложить такое жене и своей матери он бы никогда не посмел. А те, кто видел Славу в домашнем окружении, были уверены, что разлука с близкими станет для него настоящей трагедией. Один доктор даже утверждал, что лишить Славу единственных понятных ему вещей – привязанности матери и страстной преданности бабушки – означало бы нанести ему такую травму, от которой он никогда не оправится. «И это убьет бабушку», – говорила Валентина Матвеевна. Юрий Владимирович знал, что это правда, – его мать жила ради Славы, и без него ее жизнь потеряла бы всякий смысл.

Переезд из Одессы, где Слава родился, в Москву, чем семья была обязана поразительным успехам Юрия Влади-

мировича на поприще ядерной физики, как нельзя хуже сказался на мальчишке. В Одессе они жили на первом этаже ветхого двухэтажного домика; долгие часы Слава проводил в заросшем бурьяном дворе, срывая стебельки растений и выкладывая их на каменной дорожке в искусные, никогда не повторявшиеся узоры. На верхнем этаже проживали две пожилые женщины; они знали Славу с рождения и призывали к нему. В Москве же семья получила две комнаты в старой коммунальной квартире на девятом этаже. По двору здесь разъезжали машины, и Славе приходилось выкладывать свои узоры из горелых спичек на крышке сундука в маленькой комнатке, которую он делил с бабушкой. Вскоре он заболел гриппом в очень тяжелой форме. Благодаря фанатичной тщательности, с которой бабушка исполняла все предписания врача, а еще больше благодаря ее чистой и преданной любви Слава выздоровел. Но с тех пор и навсегда изменилось его отношение к внешнему миру.

До болезни он не обращал внимания на других жильцов, когда они заговаривали с ним; теперь на самое доброжелательное обращение он отвечал безумным хихиканьем. Он был спокоен, находясь со своей ласковой матерью и бабушкой, но по вечерам, когда домой возвращался отец, и по воскресеньям резкий смех доносился из его комнаты, стоило отворить туда дверь. Хозяйки на общей кухне опускали скалки на доски, засыпанные мукой, или ставили утюг на ребро, чтобы заткнуть руками уши и не слышать эти немилосердные звуки. И вот однажды Юрий Владимирович собрал чемодан, ушел и больше не вернулся. И неудивительно, говорили соседи. Не может же один из самых многообещающих физиков в Советском Союзе жить бок о бок с безнадежным идиотом, будь это даже его собственный сын. Как ему писать свои научные работы, принимать дома друзей и коллег? Некоторые даже говорили, что Славе надо было «дать умереть» от гриппа. Они задавались вопросом: а что станет-

ся со Славой, когда умрет его бабушка или – в более деликатной форме – если что-нибудь случится с матерью? Говорят, что такие дети живут подолгу. Валентина Матвеевна и ее свекровь беспомощно разводили руками. Что значит «дать умереть» Славе? Неужели отказать в попечении страждущему существу, так доверчиво устремляющему на них взор своих оплывших синяками глаз, принимающему их помощь с той блуждающей улыбкой, которую можно увидеть только на лицах младенцев и умирающих? Разве Славе меньше, чем другим детям, нужны любовь и защита? Или из-за его неполноценности его нужды уже ничего не значат? Разве первые четыре года Славиной жизни его мать не была им горда и счастлива, как любая другая мать? И теперь отказаться от него из-за того, что ему так не повезло?

Дважды Славу пытались определить в дневную школу для детей с запоздалым развитием, первый раз, когда ему исполнилось шесть лет, и еще раз после ухода отца. Обе попытки провалились; доктор сказал, что обучение Славы возможно только в интернате, но при этом не дал никакой гарантии на «выздоровление» – слишком сильна могла оказаться болезнь, чтобы суметь справиться с ее последствиями. И тогда за дело взялась бабушка; под ее мягким, но неослабным давлением Слава был постепенно обучен простейшим навыкам жизни в обществе; он научился уступать дорогу соседу в коридоре, не входить в лифт, пока в нем никого нет, вытирать ноги о половик. Он по-прежнему тихо бурчал под нос за игрой, но дикие приступы смеха становились все реже, случаясь теперь лишь под действием испуга или нового впечатления.

Слава любил рисовать. Каждый день он по несколько часов занимался рисованием, а ночью бабушка просыпалась иногда от глухого непрерывного ворчания, шедшего от окна; она знала, что это Слава стоит за шторами, привлечен-

ный светом неоновых ламп с улицы. Подруги поддерживали веру Валентины Матвеевны в художественный талант ее сына (разве не были безумны Ван Гог или Утрилло?). Но увлечение прошло; альбомы и карандаши лежали нетронутые в верхнем ящике письменного стола. И тогда неутомимая бабушка сумела привить кое-что к пустым, как утверждали врачи, клеткам Славиного мозга – она научила его читать. Теперь он часами читал вслух тихим монотонным голосом; читал из любой книги, которую вкладывали ему в руки, не выказывая ни одной из них предпочтения. Русские народные сказки, «Робинзон Крузо», «Сказки для самых маленьких» доставляли ему, казалось, одинаковое удовольствие, а однажды его матери пришлось отбирать у него путеводитель по Ленинграду, который ему дали по ошибке вместо «Тысячи и одной ночи». Слава, очевидно, мог быть обучен всему, но ничего не мог делать осмысленно.

Высшим достижением бабушки было то, что она выучила Славу играть на пианино. Ее метод был примитивен до гениальности: грубые его лапищи она располагала поверх своих слегка изогнутых рук, а затем снова и снова проигрывала несколько музыкальных тактов. Потом она убирала свои руки из-под Славиных ладоней, оставляя кончики его пальцев на клавишах. Превосходный Славин слух и чувство ритма доделывали остальное, и скоро у него сложился свой репертуар, в который вошли и «Дубинушка», и «Тихая ночь», и все эти вещи он мог сыграть «и левой рукой тоже» – бабушка не упускала случая подчеркнуть этот факт, имея при этом в виду, что каким-то образом она научила его переходить с тоники на доминанту и обратно. Теперь женщины тешились надеждами на его музыкальный талант. Еще маленькой девочкой Валентину Матвеевну водили слушать Пахмана¹, когда он исполнял Шопена в Петербургской консерватории. Запомнила она только, как Пахман дергался на

стуле перед роялем, вызывая у публики смех своими ужимками. Бедный Пахман был сумасшедшим. Но ведь это не помешало ему стать великим пианистом, не так ли? Нашли учительницу, которая, как говорили, имеет опыт обращения с «трудноуправляемыми» детьми. Слава сыграл перед ней шесть выученных пьесок и ждал, как обычно, взрыва восторга. Когда же учительница молча взяла его за предплечья и попыталась показать правильное положение рук перед взятием аккорда, Слава с силой вырвался от нее и вновь проиграл весь свой репертуар, не переставая мотать тяжелой головой и издавая резкий, пронзительный смех. А когда она попыталась как-то ввести в рамки его буйную, хотя и ритмичную в основе игру, отстукивая темп карандашом по корпусу пианино, Слава, оскалив зубы, вырвал у нее карандаш и разломил надвое. После этого случая даже бабушка не могла выучить его новым вещам, хотя старые шесть он продолжал время от времени играть, и когда мать приходила с работы, ей навстречу неслись звуки «Чирика-пыжика», и она знала, что за дверью комнаты два смеющихся лица ждут ее поцелуя. В этом была ее радость, и ее боль, и привычка тоже.

К тому времени, когда Славе исполнилось пятнадцать, его стали оставлять одного во дворе, не боясь, что он убежит и заблудится на улицах. Он даже зарабатывал деньги, помогая дворничихе сгрести снег и сколачивая доски за дверями плотницкой в подвале их дома. Бригадир плотников скоро заметил, что Славе можно спокойно доверить пилу и топор, а сила и выносливость сделали его ценным работником во время строительных сезонов, хотя его и нельзя было допускать работать в помещении, ибо издаваемый им кудахчущий смех действовал на нервы другим рабочим. И положиться на него было нельзя: он мог, получив деньги, тут же бросить работу и слоняться без дела, пока

под действием какого-то таинственного побуждения ему не приходило в голову вновь предложить услуги, чтобы пополнить свой капитал. Он никогда не тратил заработанных денег, в этом мать и бабушка были уверены, но долгое время никто не мог догадаться, где он их прячет. Но однажды бабушка, намереваясь заштопать дыру в кармане Славиного пиджака, наткнулась на тайник под подкладкой и нашла там бумажные рубли и немного мелочи. Решили не рисковать и не расстраивать Славу, изымая у него деньги; видя, что сумма никогда не уменьшается, а лишь увеличивается, женщины даже взяли за обыкновение подкладывать в прореху несколько монеток, а то и металлический рубль в смутной надежде купить в будущем Славе что-нибудь стоящее.

Так или иначе, вряд ли нашелся бы в Москве более мирный дом, чем эти две комнаты в коммунальной квартире на девятом этаже, где две женщины лелеяли своего беспомощного подопечного. Все шло хорошо до того рокового дня, когда бабушку вызвали в Ригу к Галине, ее заболевшей дочери.

Обе женщины обсуждали расписание поездов и план поездки, передавая друг другу записки, словно опасаясь спрятанных в комнатах микрофонов. Времени подготовить Славу не оставалось, а притом неизвестно было, до чего он сумел догадаться сам, тем более что он приобрел малопривлекательное для окружающих умение читать по губам. Пока Слава спал, они поспешно уложили вещи, и в полночь бабушка поцеловала его невинный лоб и крадучись вышла из комнаты. Валентина Матвеевна взяла на работе отпуск на неделю; ей показалось, что Слава как-то странно посмотрел на нее, когда они сели завтракать. Ведь сегодня не воскресенье, казалось, говорил его взгляд (почетной обязанностью Славы было отрывать листки календаря, и он всегда знал, когда выходной, ибо эти дни были выделены красным цветом).

Других признаков беспокойства он не проявлял, разве только бросал быстрый взгляд поверх плеча матери каждый раз, как она входила в комнату. Но он ничего не спросил о бабушке, а Валентина Матвеевна тоже ничего не сказала. В ее натуру вошло всегда ждать, что Слава сделает первый шаг.

После завтрака Слава, не говоря ни слова, позволил одеть себя для прогулки и, как всегда, послушно пошел вслед за матерью в молочную и булочную, потом в овощной магазин, а когда она отошла от прилавка с фруктами, Славы нигде не было видно. Никто в магазине не обратил на него внимания, но на улице какие-то мальчишки сказали, что видели, как он перешел улицу и *сел в трамвай*.

2.

– Повсюду, – говорила Валентина Матвеевна. – Повсюду я искала, в больницах, в отделениях милиции, трамвайных депо, автобусных парках, на вокзалах. Никто его не видел.

– Ты не пробовала искать в Одессе, – сказала бабушка.

Ее дочь выздоравливала, и она вернулась в Москву, как только получила телеграмму от Валентины Матвеевны. Соседи советовали ничего не сообщать бабушке – для нее это будет потрясением, а помочь она все равно ничем не сможет. Но, несмотря на эти советы, Валентина Матвеевна отправила телеграмму: она знала, что именно так должна поступить по мнению бабушки. А приехав домой, бабушка не задала ни одного вопроса, она сказала только одно: «Ты не пробовала искать в Одессе».

В коридоре толпились соседи, скрестив на груди руки и сочувственно кивая головами. Бедная старушка!

– Он уехал искать меня, – сказала бабушка.

Никто не верил, что Слава способен найти дорогу к вокзалу и купить билет до Одессы, пока бабушка не вытащила из письменного стола старую коробку из-под конфет, в ко-

торой оказались аккуратно разложенные старые билеты и кучка «рублей» и картонных монет, которые служили для игры в магазин. А игра в «поездку на дачу» устраивалась едва ли не каждый день.

– А где он взял деньги?

Валентина Матвеевна бросилась к пиджаку, висевшему в коридоре, и запустила руку в карман. Ее пальцы привычным движением ощупали внутренность подкладки, но не извлекли на свет ничего, кроме замусоленного кусочка сахара с прилипшей к нему двухкопеечной монеткой. Слава наверняка спланировал свой побег: в ночь перед его исчезновением деньги находились еще в заветном тайнике. Валентина Матвеевна была уверена в этом, потому что сама положила туда бумажный рубль и двугривенный сразу после отъезда бабушки.

На следующий день Валентина Матвеевна отправилась в Одессу, опасаясь, что если не поедет она, то поедет бабушка. Оказавшись в Одессе, она сразу направилась на маленькую улочку на окраине города, где родился Слава. Их дома больше не было, как не было и самой улицы; всё поглотили кварталы высоких домов, и где-то между ними оказался зажат их бывший дворик, где уже не было ни травы, ни шелестящих на ветру кустов, один лишь асфальт и мусорные баки. Но нет, кое-что осталось. В углу двора стоял сарай, который помнила Валентина Матвеевна, хотя в те времена, когда она здесь жила, на его крыше не было железной трубы, говорящей о том, что внутри помещения скрывается печь. По наитию она направилась туда и тут же напала на Славины следы. В дверях, устремив взор наружу, стояла древняя старуха, и когда Валентина Матвеевна подошла поближе, она узнала в ней младшую из двух пожилых женщин со второго этажа ныне исчезнувшего дома, в котором она провела со Славой первые десять лет его жизни. Старая Роза рассказала, что

она наотрез отказалась уезжать со своего двора, когда ломали улицу и строили новые здания на месте старых домишек, и ей разрешили переселиться в сарай и даже поставили там печку. Валентина поразилась, какой уют она навела в своем домике. Начищенный самовар, бухарские коврики по стенам, портреты прошлого века в тяжелых позолоченных рамах придавали помещению богатый, чтобы не сказать аристократический, вид. И здесь-то, как оказалось, Слава и нашел свою прежнюю соседку; он, как и его мать, инстинктивно направился в этот домик, стоящий в тени новых домов. Роза сказала, что он оставался у нее два дня; она накормила его и постирала одежду, Боже, какой он был грязный и голодный! А на третий день он ушел с бродячим лудильщиком, который как раз перед тем закончил паять кастрюли во дворе. Ей показалось, что они сели на пароход.

В одесской милиции были уверены, что Славу обязательно найдут, если он окажется где-нибудь на островах. Но пока сносились с местными властями, его след вновь затерялся. Парень, некоторое время работавший с лудильщиком на окраине одного колхоза, внезапно исчез; люди запомнили только, что он всегда хохотал за работой. Валентина Матвеевна побывала в больницах, на вокзалах, даже в тюрьмах, и теперь ей ничего не оставалось, как вернуться в Москву.

Старая Роза завернула в носовой платок карточку с именем его матери и адресом и положила Славе в карман, пока он спал, и в последующие годы им время от времени приходили нацарапанные неграмотными каракулями весточки о «человеке», который работал то три, а то шесть месяцев в какой-нибудь Богом забытой деревне. По почтовым отметкам бабушка и Валентина Матвеевна отслеживали Славин маршрут. «Он зарабатывает на дорогу, – говорила бабушка, – он на пути к нам».

Однажды они получили фотографию, на которой посреди пшеничного поля была видна высокая человеческая

фигура с поднятыми граблями. Снимок был бледный и расплывчатый, но они узнали глубокие, ничего не выражающие глаза на лице, заросшем бородой и усами, узнали его маленькое, словно выточенное ухо, прижатое к грубо постриженной голове, – и заплакали. Вскоре после этого бабушка умерла.

Галина Владимировна, которой удалось в свое время выкарабкаться из болезни, приехала из Риги в Москву на похороны матери. Невестка и золовка, хотя и были едва знакомы, во всех подробностях знали о непростой жизни друг друга (в жизни Галины была своя трагедия, более обыденная, но не менее болезненная, чем у Валентины). В день похорон, пораженные общностью и в то же время несхожестью своих судеб, они заговорились до поздней ночи. После скромного поминального ужина они легли в разных комнатах, оставив открытой дверь между собою. «И не припомню, когда я спала одна в комнате, – сказала Галина. – А как ты думаешь, Валя, тебе оставят две комнаты?» Валентина отвечала, что вопрос так даже не стоит; Слава по-прежнему здесь прописан, да и вообще никого нельзя вселить в его крошечную смежную комнату. «А тебе не могут предложить одну комнату вместо двух?» – не унималась Галина. Валентина не допускала такой мысли. Комната принадлежит Славе, и когда-нибудь он вернется и потребует ее себе. «Валя, милая, ты еще веришь, что Слава вернется?» Валя была в этом уверена, он вернется в свой дом, как вернулся в свой старый дом в Одессе. Галина пожалала плечами; в ее воображении предстала фигура, некое подобие неандертальца, бредущая по долинам и горам, мимо городов и сел, в далекую Москву, к матери.

– Почему бы тебе снова не выйти замуж? – спросила Галина, повинувшись внезапному чувству. Валя раздраженно вздохнула.

– Я уже сказала тебе: жду, когда вернется Слава. Я не могу надеяться, что какой-нибудь мужчина захочет жить в одном доме со Славой. Его собственный отец не выдержал.

– Юра говорил мне, что никогда не любил тебя сильнее, чем когда ты отказалась отдать Славу в детдом. Но он не смог ужиться с бедным мальчиком.

– Я знаю, – сказала Валентина, – я его ни в чем не виню.

– Я думаю, он не смог вынести, что ты предпочла посвятить свою жизнь Славе, а не ему.

– Он снова женился через год, – кратко ответила Валя.

– А почему бы тебе... после стольких лет...

– Да с чего ты так стремишься меня выдать замуж, Галя? Ты-то что такого хорошего нашла в семейной жизни?

– Мне не повезло, – сказала Галя. – Но не у всех так скверно складывается. – Двумя ладонями она смахнула слезы из уголков глаз. Однако как бы она ни любила обсуждать свои беды, сейчас ей не хотелось позволить невестке увести разговор в сторону от главной темы. И она продолжила: – Не пойму, какой тебе прок от твоей свободы?

– Да уж какой ни есть, – отвечала Валя. – Только я не хочу пускать сюда никакого мужчину. Не хотела, пока была жива бабушка, и не хочу теперь, пока есть хоть какая-то надежда, что Слава вернется.

Галя повернулась и сквозь открытую дверь посмотрела на невестку; ее округлившиеся глаза были теперь совершенно сухими.

– О, так у тебя кто-то есть? – воскликнула она. – Я и понятия не имела.

– Ради Бога, Галя, что же я, не женщина?

Галя вернулась в Ригу к своей собственной трагедии, о Славе ничего не было слышно, а Валентина Матвеевна, как обычно, каждое утро уходила на работу и вечером возвращалась домой. Даже Галя, которой-то уж следовало

знать, что к чему, сделала нерешительную попытку поку- ситься на свободу невестки. У нее уже было трое детей, а через несколько месяцев после возвращения из Москвы бед- ная дурочка снова забеременела, она-то, никогда не устава- шая повторять, как ненавидит и презирает своего гнусного мужа. «Ох, Валя, – писала она, – я не смею даже просить те- бя, но, может быть, ты все-таки возьмешь Наташу к себе! Ей всего два годика, и она такая ласковая, что вы сразу привя- жетесь друг к другу, я хочу сказать, что не стала бы просить тебя взять кого-нибудь из старших, они уже слишком труд- ные. Но я уверена, что для Наташки это не было бы трав- мой. Появление нового ребенка станет для нее травмой еще сильнее. (Галя сначала написала «ударом», но потом зачер- кнула это слово, заменив его более современным.) Даже ес- ли Слава вернется, ничего страшного не произойдет, это не то, как если бы он обнаружил рядом с тобой мужчину, это, я понимаю, было бы действительно тяжело. Ох, Валя, ты понимаешь, в каком я отчаянии, если решаюсь просить тебя...» А человек, много лет довольствовавшийся ни к че- му не обязывающей связью, теперь вдруг почувствовал, что ему мало воскресного дня с ней за городом и месяца летом на юге; все свое счастье он видел теперь в том, чтобы жить постоянно с Валентиной Матвеевной, ведь теперь, после смерти ее свекрови, это стало возможно. Но ему не удалось настоять на своем, и они расстались.

И теперь Валентина Матвеевна начала склоняться к мыс- ли, что ей больше нечего ждать ни от какого мужчины. От- ныне она смирилась с тем, что вся ее жизнь станет вечным ожиданием Славы.

В ДОМЕ ОТДЫХА

Поезд остановился у станции «Дроздово», и Нина Петровна, кое-как выбравшись с чемоданом на платформу, принялась озираться по сторонам в ожидании помощи. Но кругом никого не было, и, подобрав чемодан, она, то и дело останавливаясь, поволокла его в камеру хранения. Дорогу до дома отдыха ей объяснили заранее: выйдя со станции, повернуть направо, обогнуть крытый рыночек, а потом идти прямо, пока не встретишь указатель со словами «К д/о им. Розы Люксембург».

Когда Нина Петровна проходила мимо рынка, из будки возле забора ее облаяла пятнистая собака со свернутым в кольцо хвостом. Потом огромный черный пес, привязанный цепью к столбу, приподнялся на задних лапах и свирепо зарычал; тут и первая собака, словно вспомнив о своих обязанностях, выскочила на дорогу, и ее пронзительное сопрано перекрыло хриплый лай сторожевого пса. Но когда Нина Петровна повернула к указателю на краю леса, обе собаки с глухим ворчанием возвратились на свои места. Она без труда нашла дорогу, по которой вышла на поляну в лесу, где посыпанные гравием дорожки окружали клумбу с пионами и кустами роз перед трехэтажным зданием с многочисленными колоннами, балконами и флигелями.

Поднявшись по каменным ступеням, Нина Петровна оказалась перед массивной дверью, с ручки которой свисала эмалированная табличка, призывающая отдыхающих – крупными, сантиметров десять в высоту, буквами – соблю-

дать тишину в послеобеденный час отдыха. Дверь была не заперта, и она вошла в просторный коридор, вдоль стен которого стояли стулья и кожаные кушетки; в одном из углов коридора разместился письменный стол, а в противоположном конце находился большой радиоприемник из орехового дерева. На звук ее шагов в коридор вышла молодая женщина в медицинском халате и белой косынке, туго завязанной на затылке. Она тщетно пыталась согнать со своего румяного лица выражение простодушного гостеприимства, заменив его официальной приветливостью; лучезарно улыбаясь, она сообщила, что директор будет у себя в кабинете к пяти, а пока она проводит Нину Петровну наверх. На первой лестничной площадке она обернулась и закричала так, словно их с Ниной Петровной разделяло полкилометра: «Не спешите, бабуля! До вашей палаты еще два этажа. Я вас подожду наверху – просто не могу ходить медленно по лестнице. Держитесь за перила, бабуля! Погодите, давайте вашу сумку!» Нина Петровна, однако, не отдала свою сумочку, и девушка исчезла за поворотом лестницы. Она уже ожидала Нину Петровну на верхней площадке и, едва завидев ее голову внизу, закричала своим звонким голосом:

– Ну вот и она! Я здесь, бабуля! Не спешите, я подожду.

– Да не кричите вы, – сказала Нина Петровна, – ведь сейчас тихий час.

– Мне-то все равно, – весело ответила девушка. – Это для отдыхающих, а не для персонала. Да здесь, наверное, никого и нет; все в лесу, погода такая чудная.

Вслед за девушкой Нина Петровна вошла в комнату, среди которой выстроились в ряд три кровати. На одной из тумбочек лежала книга, на другой стоял стакан с водой, сквозь которую просвечивали волнистые очертания вставных зубов, нежно-розовых с белым. Нина Петровна поняла, что два места уже заняты.

– А я не могла бы поселиться одна? – спросила она. – Ведь не все комнаты уже заняты?

Девушка весело рассмеялась.

– Да они почти все пустые. Вы одна из первых.

– Так что же, может, поселите меня в одной из пустых комнат?

Румяное лицо посерьезнело.

– Вам надо попросить у директора.

– Но он ведь не будет возражать?

– Если и не будет, так сестра-хозяйка уже ушла.

– Но если директор разрешит, то и сестра-хозяйка не станет возражать?

– Придется переносить белье.

– А что, это так трудно?

– Да нет, но моя смена уже кончилась. Я как раз собиралась домой, когда вы пришли.

У Нины Петровны возникла новая идея:

– А на первом этаже нет пустых комнат?

– Сначала заселяют верхние.

– А если человек старый? Или больной? Такому трудно ходить вверх и вниз.

– У нас почти все отдыхающие старые. Детей мы не принимаем, поэтому семьи к нам не едут. Вы у нас будете из самых молоденьких.

– Ну хорошо, тогда зачем заселять верхние комнаты раньше нижних?

– Те еще не готовы. У нас подготовлены только верхние комнаты.

– Надо было начинать с нижних комнат, а уж потом, если приедут люди помоложе, поселять их наверху.

Девушка посмотрела на Нину Петровну с сожалением.

– Уборка всегда начинается сверху, – сказала она с обезоруживающей простотой. – Да вам, бабуля, здесь будет удобно. Здесь две очень милые пожилые дамы. Фаня Борисовна,

это ее зубы в стакане, она их надевает только за обедом, она очень славная. И Марья Михайловна Гончарова тоже очень милая, хотя, правда, по ночам кашляет.

Нина Петровна присела на стул возле третьей кровати. Внезапно она почувствовала себя смертельно уставшей. Недавно купленные туфли немилосердно жали. Она сбросила их с ног и сразу почувствовала себя лучше, во всяком случае, достаточно хорошо для того, чтобы спросить румяную девушку, как ее зовут.

– Меня? Катя, просто Катя.

– Хорошо, Катя, а у меня тоже есть имя. Меня зовут Нина Петровна Орлова. Люди должны называть друг друга по имени.

– Для меня вы бабушка, бабуля, так я и буду вас звать.

Нина Петровна отказалась от дальнейшей борьбы.

– Есть здесь кто-нибудь, кого можно послать на станцию за чемоданом?

– Я сама схожу. Первым делом занесу его вам завтра утром. Вы ведь обойдетесь без него одну ночь?

– Конечно, нет. Мне он нужен как можно скорей. – У Нины Петровны сейчас было только одно желание: побыстрее достать из чемодана тапочки.

– Ну, ладно, – успокаивающим тоном сказала Катя, – дайте вашу квитанцию, я схожу за ним сейчас же.

– Я вовсе не хочу, чтобы вы его таскали. Это мужская работа, неужели тут нет ни одного мужчины?

Катя развела в стороны свои крепкие руки, и ее звонкий смех прозвучал как голос самой юности и жизненной силы.

Директор внимательно выслушал просьбу товарища Орловой о поселении в отдельную палату, хотя бы до тех пор, пока дом отдыха не будет заполнен. Он отсоветовал ей занимать комнату на первом этаже: там вечный шум, люди приходят и уходят, и никому не запретишь слушать радио

до полуночи. На втором этаже находились кабинет врача, библиотека и холл с телевизором. Третий этаж был самый спокойный. Лестница не крутая, и она вполне может подниматься не спеша, вставая обеими ногами на каждую ступеньку – доктор даже считает, что это полезно для укрепления сердечной мышцы. Он был столь убедителен, что Нина Петровна вышла из его кабинета вполне довольная; отдыхать на третьем этаже казалось ей теперь едва ли не привилегией.

Когда она вошла в столовую на ужин, ей показалось сперва, что ни за одним из столиков никого нет. Но потом в самом конце зала она разглядела смутные фигуры сидящих за круглым столом. Окна были задернуты шторами, и зал освещался единственной лампочкой в искусно сделанной люстре из дерева и стекла. Подойдя к круглому столу, она разглядела компанию из трех-четырех пожилых дам. Затем она обнаружила за соседним столом еще и двух мужчин: они тоже были немолоды. Официантка с льняным кокошником в пышной прическе подошла к Нине Петровне и указала ей на стул за столиком, где сидели мужчины. Один из них, переведя взгляд с новоприбывшей на официантку, сказал: «Клавочка, почему мы сидим в темноте, как волки?» Нина Петровна почувствовала, что это замечание обращено скорее к ней, чем к официантке, – старожил извинялся за неудобства дома. Она улыбнулась в пространство и поздоровалась. Официантка вежливо хихикнула, а потом, накрывая на стол для Нины Петровны, громко сказала, как бы отвечая всем сразу, что на следующий день придет электрик и ввернет еще несколько лампочек и тогда будет светло.

После ужина отдыхающие собрались возле радио в коридоре, но Нина Петровна пошла наверх, твердо решив перебраться в пустую палату. Она нашла одну незанятую комнату и вошла внутрь. Здесь также стояли три железные кровати, но на них не было даже матрасов. Тогда она вернулась

в палату, указанную Катей, взяла свое пальто, брошенное на пустую кровать, и прихватила одеяло, простыни и подушку; все это она перенесла в новую комнату, положила на ближайшую к окну кровать и вернулась за матрасом. Едва она застелила кровать, как в коридоре послышались шаги и тишину разорвал звенящий голос Кати: «Петровна!» Увидев, что натворила Нина Петровна, она поставила чемодан и прошептала:

– А директор знает?

– Нет, – сказала Нина Петровна. – Скажите ему сами, Катя, и посмотрим, что он ответит.

Катя ушла и вернулась несколько минут спустя.

– Директор сказал: «Ладно, ладно, я поговорю утром с сестрой-хозяйкой».

Нина Петровна принялась распаковывать чемодан и раскладывать и развешивать свои вещи во вместительном шкафу. Через какое-то время на его пространство могут появиться новые претендентки, и она решила пользоваться им в полной мере до тех пор, пока это будет возможно. На ночном столике она разложила все вещи, необходимые ночью, которая, как она была уверена, окажется бессонной: часы, том «Саги о Форсайтах»¹, трубочку с таблетками нембутала, пузырек с каплями дигиталиса. Время было еще слишком раннее для сна – стрелки ее часов показывали четверть одиннадцатого, но она устала. Короткая, но напряженная и столь успешная операция, проведенная ею, привела ее в состояние эйфории, но в то же время истощила силы, так что она сразу же улеглась в постель. Почитав с полчаса, она выключила свет и закрыла глаза, но два часа спустя проснулась с чувством смутного беспокойства и, лишь включив свет, вспомнила с коротким смешком, что находится не у себя дома. Чернота кругом показывала, что еще ночь и что это будет одна из ее плохих ночей – два часа бодрствования после трех-четырёх часов сна, затем короткое предраассвет-

ное забытье и пробуждение с таким чувством, словно и не засыпала. Дома после подобной ночи в ее привычке было подождать, пока четырежды не откроется и не захлопнется входная дверь, выпустив на работу и в школу сына, невестку, внучку и внука (от последнего шума было больше всех): тогда она повернулась бы на бок и насладилась двумя часами здорового, сладкого сна, пока не проснется сама с чувством вины за то, что спала, пока мир кругом продолжал жить и работать. Но здесь, в доме отдыха, столовая закрывается в десять, и ей придется встать вовремя, чтобы успеть привести себя в порядок перед завтраком. «И хорошо, – сказала она себе. – Почему я должна просыпаться лучшее время дня и пропускать восход солнца за городом?» Но чувство тревоги, с которым она проснулась, не отпустило.

Нина Петровна попыталась вспомнить причину этого беспокойства. Конечно, оно было как-то связано с ее домом, но как именно? В чем дело? Дети? Ну, конечно, дети. За пару дней до ее отъезда у Ирочки оказалась положительная реакция Пирке, и ее направили на рентген. Результат должен был быть известен на следующий день, но у Сони не было времени зайти за ним, хотя она, конечно, знала, как беспокоена свекровь. Снова и снова Нина Петровна повторяла про себя, что нет смысла беспокоиться, что после завтрака она сможет послать телеграмму и получит ответ вечером; улыбнувшись, она повторила пословицу из английского учебника: *Never trouble trouble till trouble troubles you*². Результаты рентгена, несомненно, будут хорошими, но к этой утешительной мысли примешивалась и капелька яда: кому есть дело до ее тревог? Никому и в голову не приходит, какие муки испытывает *она*. Будь новости дурными, она могла бы подумать, что ее пытаются ограбить; но ведь даже если все будет в порядке, они все равно и пальцем не пошевелинут, чтобы дать ей знать поскорее. Рана, нанесенная самолюбию, была

глубже, чем тревога за здоровье внучки. Наконец усталость пересилила тревогу, и Нина Петровна заснула. Когда она проснулась, еще оставалось время, чтобы одеться к завтраку; боязнь пропустить его оказалась сильнее душевных мук.

После завтрака Нина Петровна устроилась на террасе и стала разглядывать сотоварищей по дому отдыха, совершенно забыв, что собиралась послать телеграмму. Из двух разных дверей вышли две женщины и встретились на террасе. «Где вы были? – воскликнула одна. – Почему не подождали меня? Я уже стала волноваться». Слово «волноваться» как током ударило Нину Петровну; она вскочила и бросилась в дом. В конторе ей объяснили, что телеграммы забирает почтальон, когда приносит дневную почту, и она уселась за столик, чтобы написать свое послание. Но, узнав, что получить ответ сможет в лучшем случае через двадцать четыре часа, отказалась от этой мысли, купила цветную открытку с видом дома отдыха в Одессе и своим быстрым, но разборчивым почерком написала на обратной стороне, что 1) она благополучно добралась до места, 2) сумела устроиться, хотя бы на первое время, в отдельной палате и 3) все было бы прекрасно, не беспокойся она о результатах рентгена Ирочки, а это мешает ей отдыхать спокойно. Она знала, что получит ответ в лучшем случае через три, а то и четыре дня, и то если они соберутся ответить сразу же по получении письма, а это было маловероятно. Люди приходят с работы уставшие и голодные, у них, быть может, и нет под рукой конверта. Возможно, ей придется дожидаться ответа целую неделю, но она уже почти убедила себя, что ответ будет утешительный – сам процесс написания принес ей успокоение. Она решила пойти прогуляться в лесу.

Тем временем дом отдыха постепенно наполнялся, но в комнату Нины Петровны никого не поселяли. Она пристально разглядывала каждую вновь прибывшую женщину,

снова и снова надеясь, что это не она разделит – нет, нарушит – ее уединение. Не эта с пустым взглядом и не та с светливым выражением лица и отвислыми румяными щеками. Не эта неприятная старуха, кутающаяся в шаль. Никто не вызывал в ней симпатии, и меньше всего эти молодящиеся пожилые женщины, лет пятидесяти и старше, красившие волосы и напяливавшие прозрачные чулки на ноги с набухшими венами, с их вечной болтовней и смешками. Были, конечно, и такие, к которым старость пришла в должное время, а они ничего не стали делать, чтобы отсрочить ее приход. Эти предпочитали простые платья и прически, которым были привержены всю жизнь, а по их глазам было видно, что жизнь их прошла в умственной работе. Нина Петровна, начинавшая корректором в издательстве, принадлежала именно к этой, меньшей группе. Но, оглядываясь по сторонам, она думала: «Все равно все мы старые». Позже появились гости и помоложе, захватившие в свою собственность несколько столиков в столовой. Всеобщее внимание привлекли бледный мужчина лет под сорок и его молодая нарядная жена; он – угрюмостью лица, а она тем, как ярко одевалась и красилась. Она меняла наряды так часто, что однажды про нее было сказано: «Хотелось бы знать, сколько она привезла чемоданов?» Моложе всех была чета новобрачных. Этих никогда не видели порознь, они, казалось, приросли друг к другу и с небольшого расстояния виделись одним человеком с двумя головами, всегда обращенными одна к другой, так что можно было лишь удивляться, как они никогда не споткнутся. За столом они почти ничего не говорили, ели все, что им приносили, а когда на тарелках ничего не оставалось, вставали и друг за другом направлялись к дверям, а выйдя на просторное место, смыкались вновь и продолжали свою нескончаемую беседу.

В холле рядом со столовой висела доска, разбитая на ячейки, в которые клали письма, и Нина Петровна каждый раз с нетерпением набрасывалась на ячейку под буквой О в ожидании адресованного ей письма. Но когда прошло пять дней, а письма все не было, ею овладели тревога и обида. А когда истекла уже целая неделя, а письмо не пришло и на восьмой день, Нину Петровну охватила паника. На девятый день она вышла в коридор с твердым намерением, если письма не будет и сегодня, сразу же после завтрака идти на почту и посылать телеграмму. Но словно в ответ на ее отчаяние, на этот раз под буквой О была телеграмма. Она схватила маленький конвертик и заставила себя не разорвать его, а отлепить кусочки липкой ленты, склеивающей края. Развернув бланк, она прочла: «Дорогая, все в порядке, написала тебе два письма. Целуем все. Соня». Нина Петровна заняла свое место в столовой и, уже сидя, перечла телеграмму. За столом теперь было занято и четвертое место; за ним сидела оживленная женщина лет шестидесяти, с мелкими чертами лица и блестящими глазами. Нина Петровна уже успела поведать ей о своих переживаниях, связанных с отсутствием писем; теперь она показала ей телеграмму и сказала: «Вот видите, зря я так волновалась». Но Юлия Андреевна взглянула на телеграмму и ответила: «Это не вам, это вот той женщине», и показала на сидевшую за два столика от них старую даму, похожую на черепаху.

Нина Петровна вновь посмотрела на телеграмму – она была подписана не Соней, как ей показалось, а Таней. Да и с какой бы стати Соня назвала ее «дорогой»? – такие нежности в их доме не были приняты. В голове у Нины Петровны что-то пронзительно зазвенело, но она нашла силы, чтобы встать и передать телеграмму настоящему адресату. «До сих пор я здесь была одна на букву О», – сказала она с извиняющейся улыбкой, втайне обозвав себя старой дурой.

А вечером пришло и настоящее письмо из дома. Соня писала, что все в порядке, рентген не показал ничего плохого и следующая реакция Пирке была отрицательной; все они были рады ее открытке и задержались с ответом, так как ждали для нее хороших вестей, и все они желают ей хорошего отдыха. А кроме того, Ваня пытается продлить ей путевку, чтобы она смогла провести еще месяц в доме отдыха, подальше от московской жары и духоты. Нина Петровна была очень рада узнать, что Ирочке ничто не угрожает, но настроение поднялось все же не до такой степени, как следовало бы: после того как первая телеграмма принесла ей облегчение, пусть и ложное, она уже почему-то перестала волноваться за Ирочку.

Нина Петровна наслаждалась уединением в отдельной комнате целых две недели, но она знала, что со дня на день ожидается новый заезд, и с замиранием сердца гадала, кто окажется ее соседкой по палате. Был момент надежды, когда в торце коридора она обнаружила крохотную комнатку, по сути дела, чулан, в котором, однако, стояли кровать, стул и маленький столик. Правда, не было шкафа – лишь несколько крючков на двери; не было и умывальника – здешнему жильцу придется выходить умываться в общую ванную. Зато сквозь внушительных размеров окно лился дневной свет, и Нина Петровна обругала себя за недостаток предприимчивости. Почему она не заглянула сюда вместо того, чтобы ломиться в первую же пустую палату? Как хорошо было бы жить совсем одной в этом светлом чулане! Кровать была застелена, и непременно графин с водой и стакан на столике, казалось, ждали постояльца. Может быть, еще не поздно попросить эту комнатенку? Быть может, и не найдется женщины, согласной обменять удобства в других палатах на одиночество без всяких удобств? Но последующий визит к директору развеял все ее мечтания: крошечная комната бы-

ла предназначена для женщины из Ленинграда, писательницы, которая нуждалась в отдельной комнате, потому что везет с собой пишущую машинку. Единственное, что пообещал директор, так это оставить Нину Петровну одну в комнате как можно дольше; а потом он постарается поселить с ней только одну соседку и сам проследит, чтобы это была достойная тихая женщина. Когда через несколько дней после этого разговора Нина Петровна зашла к себе в палату вымыть руки перед обедом, в дверях ее встретил крепкий запах косметики, нечто вроде смеси пудры, туалетного мыла, дешевых духов, и поверх всего грушевый аромат – это был, конечно, лак для ногтей. Она тихо закрыла дверь и присела на краешек кровати. Оглядевшись, она увидела на столике возле третьей кровати перевернутое настольное зеркало в виде сердечка и поняла, что отныне у нее нет своего пристанища. В столовой она пыталась угадать, с кем из вновь прибывших женщин она разделит комнату, но они были рассеяны по одной, по две за разными столиками, и она отказалась от этой попытки. После обеда она поспешила на третий этаж, надеясь устроиться на полуденный сон до того, как появится незнакомка. Комната была пуста, но каштанового цвета халат, висевший на спинке кровати в другом углу комнаты, и пара дырявых поношенных тапочек на полу говорили о том, что враг уже укрепился в цитадели. Нина Петровна была уверена, что ей не удастся заснуть, но не добралась она и до середины первой главы «Темного цветка»³, как сомкнула глаза. Когда она открыла их, то обнаружила, что проспала больше часа, а звуки чужого размеренного дыхания дали ей знать, что больше она не одна. Тело, громоздившееся под простыней на третьей кровати, и россыпь золотистых волос на подушке (лицо заслоняло зеркало, расставленное на столике) помогли Нине Петровне воссоздать образ спящей. Она должна быть вульгарной

и дородной – об этом говорили запахи косметики и массивное тело под простыней. Вряд ли молодая – с чего бы молодой женщине приезжать в этот скучный, хоть и на природе, дом отдыха; и еще этот старомодный, потрепанный халат и эти убогие тапочки. Спящая заворочалась, потом села в кровати и повернулась лицом к Нине Петровне; та увидела короткий нос с раздувшимися ноздрями, густые темные ресницы, безупречные дуги бровей над красивыми газельими глазами. Глаза широко раскрылись, окинув Нину Петровну взглядом, полным едва ли не нежности. «Ольга Васильевна Смирнова, – представилась незнакомка. – Мы с вами соседки, так что давайте дружить». Нина Петровна назвала себя.

Новая знакомая болтала без умолку, и Нине Петровне приходилось глядеть ей в лицо, отвечая на вопросы, задаваемые с таким добродушием, что оставить их без ответа было бы просто нелюбезно. Не переставая говорить и вовсе не смущаясь присутствием посторонней, Ольга Васильевна стянула через голову розовую нейлоновую рубашку. Затем, тяжело вздохнув, она спустила ноги на пол и стала совать их в свои ужасные тапочки. Увидев распухшие ноги с вывернутыми, мозолистыми большими пальцами, Нина Петровна поняла, что так изуродовало эти тапочки. Она отвернулась к стене, пока продолжался процесс одевания и умывания, сопровождаемый короткими вздохами и ворчанием. Когда Нина Петровна услышала, что соседка прохромала по комнате и закрыла за собой дверь, она встала сама и через несколько минут была готова к полднику. Ольга Васильевна поджидала ее на лестничной площадке. Теперь, одетая, она уже не выглядела такой толстой, и Нина Петровна отнесла слышанные ею только что вздохи и стоны на счет затягивания лифчика и пояса. Растекавшийся живот был стянут ремнем и теперь образовывал подобие футбольного мяча под тесной юбкой, а обвислые груди были подняты лиф-

чиком, кружевная отделка которого выглядывала в вырезе блузки; ужасные ноги были втиснуты в туфли на высоком каблуке. В общем, ее массивная фигура стала едва ли не стройной.

– Мы должны подружиться, – сказала Ольга Васильевна, вприпрыжку следуя за Ниной Петровной по лестнице, и добавила со смешком: – По крайней мере, на месяц. – И, словно смакуя удачно выбранный оборот, повторила: – Да, подружиться на месяц. – Что-то в выражении лица Нины Петровны заставило ее добавить: – Конечно, под дружбой я имею в виду взаимную терпимость. Культурные люди должны уметь жить вдвоем в одной комнате, не мешая друг другу, так, словно каждая из нас одна.

Нина Петровна охотно согласилась с этими взглядами, вполне совпадавшими с ее собственными, но у Ольги Васильевны оставалось про запас еще одно сообщение, которое показало, что ее представления о невмешательстве весьма разнятся с теми, что исповедовала Нина Петровна.

– И мы не будем скучать, – сказала она. – Я привезла с собой маленький транзистор, и мы сможем слушать музыку, сколько захотим.

Они уже спустились в коридор, и Нина Петровна остановилась на коврике на площадке.

– Что? – воскликнула она. – В спальне? Да ведь это не решается.

– Да кто будет возражать? Я думаю, все любят музыку.

– Я буду, – твердо произнесла Нина Петровна. – А еще рядом с нами, вернее, через несколько дверей, вскоре поселится писательница. Уж она-то точно будет возражать.

– Писательница! Да ведь здесь дом отдыха. Пусть отправляется в писательский дом творчества, если хочет стучать на машинке. Но если возражаете *вы*, то я и вынимать не стану транзистор. Если только вы сами не захотите как-нибудь

послушать музыку. Я сказала «взаимная терпимость», и я собираюсь придерживаться этого правила. Хотя и не совсем понимаю, почему я не должна делать что-то, что вам не нравится, а вы можете запретить мне делать что-то, что мне нравится. – Но при этих словах она весело засмеялась, и они вошли в столовую как старые подруги.

На следующий день в столовой появилась писательница – пожилая дама крупного телосложения, с коротко постриженными серо-стальными волосами и морщинистым обветренным лицом. Ее вовсю обсуждали за столиками и на скамейках в саду, и не только потому, что она была последней из заезда, но и потому, что персоналу дома отдыха и даже некоторым отдыхающим было кое-что о ней известно. Ее звали Людмила Ивановна Поленова – простое русское имя, но это имя произносили с трепетным уважением и степенный пожилой мужчина, чью русскую речь Нина Петровна про себя называла изысканной, и, что удивительнее, элегантная молодая супружеская пара. Посреди обычной болтовни о кровяном давлении, обеденном меню и о девушке, трижды в день менявшей наряды, теперь можно было услышать рассказы отдыхающих о том, что писательница на самом деле поэтесса, хотя ни одно из ее стихотворений не было опубликовано за последние двадцать лет; что в сталинские годы она «сидела»; что некоторым влиятельным членам Союза писателей удалось выхлопотать для нее крохотную пенсию, и теперь они даже надеялись издать когда-нибудь сборник ее ранних стихов. Ольга Васильевна принимала в этих разговорах живое участие, во-первых, потому что проявляла интерес практически к каждому и, во-вторых, потому что когда-то видела отпечатанные на машинке стихи Поленовой на письменном столе своего сына и даже слышала, как он читал их восхищенному кругу молодых людей. О самих

стихах она вспомнить ничего не могла, так как была занята главным образом приготовлением ужина на кухне. Это напомнило Нине Петровне, как ее собственная невестка проводила вечер за вечером, печатая стихи, и это после тяжелого рабочего дня в своем учреждении. Нина Петровна пыталась прочесть страничку-другую, но, видимо, это была лишь часть длинной поэмы, строчки не рифмовались, и вообще прошло уже столько времени с тех пор, как она читала какие-нибудь длинные поэмы, кроме «Евгения Онегина», которого время от времени перелистывала, пытаясь заставить внуков выслушать хотя бы самые простые отрывки. Ольга Васильевна ворвалась в ее размышления с вопросом, почему Поленова вытворяет из себя такое чучело – простые чулки, туфли на резиновой подошве, и эта прямая челка седых волос! Ей бы сделать перманент перед поездкой в дом отдыха – здесь ведь все старались выглядеть понаряднее на публике.

– Я всегда говорю... – сказала Ольга Васильевна и повторила: – Я всегда говорю, что женщина в любом возрасте должна выставить себя в лучшем свете. Вот и вы, Нина Петровна, у вас чудесные волосы. Почему бы вам – нет, конечно, не покрасить, они и не кажутся седыми, если не приглядываться, – но просто слегка подцветить, чтобы придать им естественный оттенок. А если вы их еще красиво уложите и купите себе помаду, то сразу сбросите лет десять. Да не надо и покупать, у меня есть лишняя помада, я и пользовалась-то ею всего раза два; она как раз очень пойдет вам, и, право же, Нина Петровна, многие молодые женщины позавидуют вашей внешности и цвету лица.

В конечном счете жить в одной комнате с чужой женщиной совсем другого культурного уровня оказалось не столь уж худо, как того опасалась Нина Петровна. Живость и невозмутимое добродушие Ольги Васильевны, полное отсутствие жеманства действовали как успокоительное средство

на постоянную, хотя и сдерживаемую раздражительность Нины Петровны. Кроме того, за вульгарным обликом своей соседки она скоро обнаружила бесконечные запасы естественного такта, что было куда как лучше безразличной корректности.

– Вы не мешаете мне, – сказала она Нине Петровне, опасавшейся, что свет ее ночника не дает Ольге Васильевне уснуть ночью. (Нина Петровна не могла заснуть, не почитав час-другой в постели.) – Читайте хоть всю ночь, если хотите; я просто повернусь на другой бок и закрою глаза. Я со всеми могу ужиться. Я прожила пятнадцать лет в одной комнате с дочерью, а потом – вместе с ней и ее дочерью, и могу сказать, что мы почти не ссорились. Мы обе прекрасно знаем, что люди не могут долго жить рядом и не действовать время от времени друг другу на нервы, и мы решили просто не разговаривать, когда такое случается.

– Но ведь трудно все время подавлять свои чувства?

– Может быть, но всё лучше, чем сделать что-нибудь такое, о чем будешь жалеть всю жизнь.

Так прошли две недели из назначенного Ольгой Васильевной «месячника дружбы». Женщины вместе гуляли в лесу, заходили в деревенский магазин, и пара, выглядывшая столь же нелепой, как две птицы разных пород (одна – скромный дрозд с коричневым опереньем, другая – пышный, переливающийся радугой зобастый голубь), казалась теперь неразлучной. Каким-то образом Ольге Васильевне удавалось говорить о себе, не наскучивая, а Нина Петровна не уставала выслушивать длинную повесть чужой жизни. Через какое-то время она обнаружила, что поверяет свои заботы чужому сочувственному слуху, а ведь и не вспомнить, чтобы с ней когда-нибудь такое бывало.

Однажды, когда после утренней прогулки они отдыхали на одной из зеленых скамеек в саду, умиротворенно наблю-

дая за возвращением из леса других отдыхающих, поодиночке, по двое и маленькими группами, Ольга Васильевна вернулась к разговору, который завязался еще в лесу. Письмо из дома, казалось, нарушило ее безмятежность.

– Будь у меня своя комната, ни за что бы сюда не поехала, – горько сказала она. Маска добродушия на миг слетела с ее лица, и Нина Петровна успела разглядеть за ней лик грустной реальности. Ольга Васильевна вздохнула; это был один из тех долгих трепещущих вздохов, которые идут как будто из самого сердца человека. Когда маска была водворена на место, она продолжила своим обычным рассудительным тоном: – Нам тут с вами было хорошо. Нас было только двое, и что вы, что я, как говорится, приличные люди. А иногда попадаются такие склочные женщины, что, как ни старайся им угодить, на них ничего не действует. В прошлом году я жила с двумя такими, так они состязались друг с другом, кто больше сделает гадостей остальным. Одна из них вечно бегала к директору и жаловалась на меня, что я встаю раньше всех и сливаю всю горячую воду или что я стираю чулки в раковине. И у каждой из них было по транзистору, так, поверьте, они включали их одновременно и слушали разные программы – они ненавидели друг друга еще сильнее, чем меня.

– Вам надо было на них пожаловаться, – сказала Нина Петровна, – этого нельзя допускать в спальне.

– Я никогда не жалуясь, – кратко ответила Ольга Васильевна. – И я уверена, вы тоже не пойдете к директору, если я включу свой транзистор.

– Мне и не нужно было никуда ходить, – мягко возразила Нина Петровна. – Довольно было вам сказать, что я этого не люблю.

– Ах, если бы все были, как мы с вами, не было бы войн, – сказала Ольга Васильевна.

– Вы уверены? – удивилась Нина Петровна.

Увлеченная потоком подробностей, которые ей не терпелось сообщить, Ольга Васильевна забыла, о чем на самом деле хотела поведать своей подруге, но по слегка смущенному и беспокойному выражению ее лица Нина Петровна поняла, что она еще не прогнала какие-то неприятные мысли. Когда Ольга Васильевна вновь нарушила молчание, ее слова, казалось, никак не были связаны с тем, о чем она говорила раньше.

– Им будет легче, когда меня не станет.

– Вы только так говорите. Это оттого, что вы живете в такой невыносимой тесноте.

– Не только. Не удержишься от мысли, что им станет проще жить, когда я умру. С одним человеком меньше считаться.

– Это нормально. Все мы живем в настоящем. А у наших детей масса забот. Конечно, когда мы помрем, у них одной станет меньше. – Нина Петровна знала, как мучилась ее невестка из-за того, что Ирочка, как раз вступавшая в критический возраст отрочества, вынуждена спать в одной комнате с почти взрослым братом. Ей и самой ситуация казалась столь же ужасной, как и Соне, но вопрос о том, чтобы переселить Ирочку в комнату бабушки, не поднимался ни одной из них, хотя у обеих постоянно вертелся в голове. А ответ на него был таков, что это будет невыносимо, и не только для Нины Петровны, но и для Ирочки. У Ирочки появится своя комната, когда умрет бабушка, комната, где она сможет по вечерам принимать подруг, делать все, что захочет.

Они молча наблюдали за густеющей процессией отдыхающих. Через четверть часа наступало время обеда, и на лицах большинства людей читалось приятное ожидание самого желанного события за долгий пустой день.

– Вот кому я завидую! – пробормотала Ольга Васильевна, завидев в воротах две женские фигуры – одну высокую

и худенькую, другую коренастенькую. Их никогда не видели порознь, и все знали, – потому что низенькая говорила это всем при первом случае, – что они живут вместе почти двадцать лет, что обе они учительницы, хотя низенькая уже на пенсии и может посвятить все свое время и энергию единственной цели: сделать как можно удобней жизнь подруги. Когда они подошли ближе, серебристый луч света отразился от каких-то предметов, качавшихся в руках преданной подруги; это оказались молочные бутылки, наполненные водой, и каждый, кто пожелал услышать, мог узнать из торжественного рассказа, что вода взята из дальнего источника.

– А разве в доме плохая вода? – спросил кто-то.

При этих словах высокая дама, все время державшаяся поодаль, как будто ее не интересовал разговор, тихо прошла в дом, оставив свою компаньонку, которая продолжала объяснять, что она каждый день приносит две бутылки воды из этого особого колодца, чтобы вымыть подруге голову: вода из крана в спальне не годилась для ее волос. Когда она поспешила прочь на своих коротеньких ножках, Нина Петровна спросила:

– Им?

– У них есть для чего жить. Они нужны друг другу, и возраст им не помеха.

– Не скажу, чтобы я им завидовала, – ответила Нина Петровна, но при этом вздохнула.

Из леса вышли новобрачные. Он шел на несколько шагов впереди, засунув руки в карманы брюк. Она поспешила за ним и искусным движеньем сумела охватить его руку возле локтя. Молодой человек не вынул рук из карманов и упрямо ступал, словно был один.

– Как быстро! – тихо сказала Ольга Васильевна.

– Бедным детям скучно, – ответила Нина Петровна.

– Вы хотите сказать – ему, – поправила ее Ольга Васильевна.

Нина Петровна заметила, что им следовало поехать на море:

– Здесь им нечего делать.

– Кроме как... – начала Ольга Васильевна с озорной улыбкой. Нина Петровна нахмурилась. На работе, куда она поступила сразу после школы, никто не отваживался на пошлые намеки в ее присутствии, а к тому времени, когда она стала самым уважаемым членом коллектива, все считались с ее строгим нравом; непристойные смешки смолкали при ее появлении, неоконченные анекдоты повисали в воздухе, но теперь, хотя сперва и нахмурилась, она поймала себя на том, что не ощутила внутреннего протеста против высказанной непристойности. И в этот самый момент на фоне леса выделилась еще одна фигура крепко скроенной женщины; опираясь на палку, она, однако, не горбилась. Это была Людмила Ивановна, поэтесса, чья пишущая машинка стучала едва ли не каждый раз, когда отдыхающие выходили в коридор. В другой руке она держала, немного отстранив от себя, цветок дикого ириса с тремя закрытыми бутонами, едва начавшими отделяться от стебля. Она прошла мимо Нины Петровны и Ольги Васильевны, улыбнувшись им милостивой и отсутствующей улыбкой, и протянула в их сторону цветок, как бы приглашая полюбоваться им.

– Вот кому я завидую, – прошептала Нина Петровна, когда Людмила Ивановна исчезла из виду за колонной.

– Ей? Да вы в сто раз лучше выглядите. Вас можно принять за ее дочь. Если б вы только меня послушали...

– Она всегда занята, – нетерпеливо перебила собеседницу Нина Петровна. – Говорят, она работает над циклом сонетов. Она сама говорит, что ей не хватает дня...

– Почему она не поехала в писательский дом творчества? – проворчала Ольга Васильевна. – Там для нее были бы все условия.

– Она ездит туда раз в год, на месяц. Но она говорит, что ей не нравится подолгу жить среди писателей: они слишком много разговаривают.

– Просто для нее это слишком дорого, – сердито сказала Ольга Васильевна. – Ей дают один месяц бесплатно, а потом она приезжает сюда.

– А здесь дешевле?

– Директор отдает ей этот чуланчик бесплатно. Они оба были в Ленинграде во время блокады, и директор как будто ей многим обязан. В общем, он превозносит ее до небес.

– Да и не он один, я думаю.

– Да, но не те, что надо, а то бы ее стихи давно напечатали.

– Я рада, что смогу рассказать детям, что видела ее, – сказала Нина Петровна и с горечью подумала, что на ее месте Ваня и Соня предприняли бы что-нибудь большее, чем просто *смотреть* на своего кумира.

– Я уже написала своим, – отвечала Ольга Васильевна. – Я написала им вчера.

Через два дня Нина Петровна должна была покинуть дом отдыха. На Ольгу Васильевну жалко было смотреть. Что она будет делать без Нины Петровны? Хуже того – с кем ей придется жить в палате? – ни с кем ей не будет так легко, как с Ниной Петровой.

– Я думаю, вы легко уживетесь с любым человеком, – успокаивала ее Нина Петровна.

– О, не говорите так! Такие тактичные, милые люди, как вы, каждый день не встречаются. Не думаю, чтобы какой-нибудь другой женщине я смогла рассказать все, что говорила вам.

– Да я уверена, вы говорили это десятку других людей.

– Я вам рассказывала о себе такое, о чем не говорила никому, и даже не ожидала, что на такое способна. В большинстве своем женщины такие ограниченные.

Нина Петровна знала, что это правда, – им довелось обменяться необычными признаниями.

– Ну, так или иначе, вы и сами скоро уезжаете, – сказала она. – Две недели пролетят незаметно.

Ольга Васильевна зарыдала.

– Они продлили мне путевку, – захлебывалась она в плаче. – Все время пишут и говорят, как им меня не хватает, а не пожалели ни денег, ни трудов, чтобы пожить без меня еще месяц.

Нина Петровна, однако, никак не могла заставить себя склониться над плачущей женщиной и обнять ее. Напротив, слезы расхолаживали ее, появилось горькое чувство обиды на то, что в течение долгого времени пришлось делить кров с человеком, далеким от ее истинных интересов, ведь невозможно было обсуждать с Ольгой Васильевной творчество Голсуорси и Айрис Мэрдок, не говоря уже о таких писателях, как Солженицын и Паустовский, ибо она не читала ничего, кроме иллюстрированных журналов, которыми снабжали отдыхающих. Не будь Нина Петровна вечно в ее компании, быть может, удалось бы познакомиться с Поленовой, войти в узкий кружок избранных, кому раз в неделю дозволялось слушать ее стихи... Но все это, конечно, чепуха – что в ней было такого, чтобы привлечь внимание поэтессы?

– Мой сын тоже продлевал мне путевку, – сочувственно сказала она. – Это ведь нормально. Все хотят как можно больше свободы для себя. Вы сами меня этому учили.

На следующий день, вернувшись в палату после утренней прогулки, подруги одновременно обратили внимание

на следы чужого присутствия – на средней кровати лежала разбухшая сумка, а на полу стоял потрепанный чемодан и рядом с ним пара поношенных туфель.

– Новенькая в палате! – воскликнула Ольга Васильевна.

– Вы как Робинзон Крузо, увидевший на песке следы Пятницы, – сказала Нина Петровна, но не дождалась ответа.

– Я не выдержу здесь и одной ночи, когда вы уедете.

– Может быть, это очень славная женщина, – успокаивающе сказала Нина Петровна.

– Сплошное убожество, кто бы она ни была, – с отвращением проговорила Ольга Васильевна.

– Ну я и сама неважно одеваюсь, но вы как-то это стерпели.

– Ах, будто мне еще раз повезет так, как с вами, – мрачно произнесла Ольга Васильевна, но потом добавила, уже веселее: – Но тут есть и хорошие стороны – с чужим человеком в палате я не буду плакать по ночам.

Новенькая появилась в палате только после ужина. Она была молоденькая, почти девочка, светлоглазая, с тоненькой шейкой и хвостом пышных волос, схваченных ленточкой на затылке. Все представились друг другу, изобразив радостные улыбки. Третья обитательница палаты важно назвала себя Елизаветой Матвеевной.

– Это слишком длинно, – сказала Ольга Васильевна. – Я буду звать вас Лизой. Вы ведь мне в дочери годитесь.

Девушка печально улыбнулась, а Нина Петровна с удовлетворением подумала, что при всей их близости Ольга Васильевна ни разу не осмелилась назвать ее Ниной. Когда они легли спать и Нина Петровна закрыла свою книгу и выключила свет, со средней кровати донеслось сдавленное рыдание. Ольга Васильевна тут же выскочила из постели и склонилась над новенькой.

– Не плачьте, – сказала она. – Мы знаем, как вы себя сейчас чувствуете, одна с двумя старухами. Что поделаешь? Но

вы не плачьте. Завтра мы отведем вас на теннисный корт, вы познакомитесь с молодежью. Вы играете в теннис?

Девушка изо всех сил пыталась справиться с плачем, вытирая глаза и нервно хихикая. Да, она играет в теннис, но очень плохо, никто не захочет играть с ней, да и ракетки у нее с собою нет. Ольга Васильевна уверяла ее, что ракетку можно достать и что все захотят играть с ней – в теннис вообще мало кто играл, и партнеры были в большом дефиците.

– А как насчет музыки? – храбро сказала Нина Петровна. – Может, достанете свой транзистор, Ольга Васильевна? – И словно по заклинанию доброго волшебника, в комнате раздались звуки джаза, и Нина Петровна заснула под томную мелодию блюза.

На следующее утро она спросила Ольгу Васильевну, долго ли они слушали музыку.

– Пока не постучали из соседней комнаты, – скромно ответила та. – Но я вышла и спросила их, может, они зайдут к нам и тоже послушают, и они зашли, и мы сидели и слушали, пока Лиза не заснула.

– Вы чудесная женщина, – убежденно произнесла Нина Петровна. – Лиза, у вас будет отличный отдых.



ГДЕ ТЫ БЫЛА СЕГОДНЯ, КИСКА?

Ни одному живому существу в лесу не укрыться было от глаз Кота, а вот самого Кота мало кому удавалось увидеть. Ни мальчишка с рогаткой наготове, ни дети, искавшие клюкву под снегом, – никто не мог обнаружить места, где он сидел в засаде в зарослях папоротника; и не успевал еще охотничий пес, бегущий перед человеком с ружьем, вступить на опушку, как Кот уже оказывался на верхушке дерева. Бывало, что собака, промышлявшая зайцев в лесу, столкнется нос к носу с Котом на узкой тропке, где страшно повернуться спиной к противнику; и все же, после долгого глядения в упор, первой убежала собака. А однажды старуха, собиравшая хворост, принесла в деревню весть о полосатом коте, который, подойдя к ней, обнюхал ей кончики пальцев и потерял о ноги. Она была почти уверена, что это был не кто иной, как Васька, в прежние времена любимец семьи Морозовых. Но с той поры столько людей перебрались из деревни в город на заработки или, как Морозовы, были раскулачены и сосланы, что никто не мог и припомнить Ваську.

Кот нашел себе жилище в дуплистом стволе старой ели в глубине леса. Забирался туда и выходил оттуда он через косое отверстие, проделанное в прошлом чьей-то неумелой рукой, пытавшейся срубить сук. Зимой и летом каждое утро Кот запрыгивал на изогнутый отполированный край дупла, какое-то мгновение стоял на самом краю, плотно собрав лапы, и вот он уже в полете, правит своим движением, сводя и разводя лапы, и приземляется на клочке рыхлой

земли у подножия дерева. Еще мгновение он стоял, замерев, страшный в своем обманчивом спокойствии, размахивая полосатым хвостом, и то раздувая, то сжимая нежные розовые ноздри. Потом среди корней деревьев пускался в путь в поисках завтрака. Когда, остановившись, он поднимал голову и нюхал воздух, жизнь в лесу тоже словно замирала. Мыши забивались глубже в свои норки, лягушка распласталась за камнем, а птицы, видевшие сверху то, что другие твари могли лишь чувствовать, приглушенным щебетанием и свистом предупреждали друг друга о приближении врага. Сосновая шишка, отчаянно цеплявшаяся за ветку в течение всей зимы, падала в тишине с раскатом ружейного выстрела.

Но на этот раз не запах птиц или грызунов заставил Ваську остановиться; это был знакомый запах, которого он еще никогда не чуял в лесу, – запах кошки. Не тот влекущий дух, доносившийся весной и осенью из деревни, но все же, несомненно, запах кошки. Ошибиться было невозможно: в лесу, где Васька столь долго царствовал безраздельно, появилась киска. Следуя за запахом, он прошел к подножию березы, и там в самом деле среди древесного сора сидел, играя листком, белый котенок. Малыш то отступал, то бросался на листок, подтягивал его к себе изогнутыми когтями, отталкивал прочь, то и дело останавливаясь, чтобылизать шерсть на груди резким движением темно-красного язычка. Надоел листок! А в следующий миг котенок вновь начинал свои прыжки. Когда после нескольких нападений листок превратился в труху, котенок оглянулся в поисках новой игрушки и с удивлением обнаружил, что на него пристально смотрит большой полосатый зверь, присевший на мощных бедрах. Охваченный ужасом, котенок ответил ему взглядом, и тогда зверь разомкнул свои плотно сжатые челюсти и гордо объявил: «Я кот Васька, жил раньше в семье Морозовых в селе Грустном». Котенок не отрывал от него взгляда – словно из

умруд посреди янтарного блеска – и Васька продолжил: «Ты когда зашел в лес, малыш? Здесь, под этими деревьями, давно уж не было никаких кошек, кроме меня».

Котенок слабо мяукнул.

– Мы жили в Другом Лесу, – жалобно сказал он, – но туда бегала страшная собака, и вчера мы перебрались сюда. Мамочка пошла назад за дроздом – она не захватила его с собой, потому что боялась, что я не смогу быстро забраться на дерево, если нас настигнет собака.

– Ты мешал бы ей, – сочувственно произнес Васька. – Но как случилось, что вы стали жить в лесу? Вы должны были жить с людьми. Кошки стали домашними животными на заре цивилизации или, скажем так, на начальной стадии общественной истории.

– Мы и жили с людьми, да что от них толку, когда они топят котят.

Но среди лучших друзей Васьки были как раз люди. Он вырос в Ленинграде в полной изоляции от кошачьего общества и с детства привык к людям.

– Сейчас это называют «импринтингом», – надменно произнес он.

– Я знаю о людях только то, что они утопили моих братьев и сестер в бадье, и утопили бы меня, не спрячь меня мама в соломе; а когда она попыталась отвести меня назад в деревню, они спустили на нас собак.

– И все же, – задумчиво произнес Васька, – судьбы людей и кошек переплетены неразрывно. В Древнем Египте мы были богами, и я слышал, что еще до изобретения часов китайцы узнавали время, заглядывая в наши светящиеся глаза. Мисс Люси, моя добрая хозяйка в Ленинграде, читала своим братьям и сестрам историю о бедном мальчике, ставшем лорд-мэром Лондона. Он сумел заработать много денег, продав кошку в одном заморском королевстве, стра-

давшем от крыс. Насколько я знаю, церковные колокола в Лондоне до сих пор отмечают это событие: «Вернись, Уиттингтон, лорд-мэр Лондона, лорд-мэр Лондона...». Как-нибудь я расскажу тебе сказку про Кота в Сапогах, которая, как и всякая история, есть по сути история предательства и продажности. Но люди сделали многое, чтобы сохранить древний род кошек. Сами по себе мы, кошки, могли бы и не открыть удовольствия есть рыбу, особенно жареную или вареную. Мне приходилось слышать, как кошки ловят рыбу с берега, но, поверь, вкус к рыбе они обрели у бивачных костров. Непохоже также, что тебе или мне доведется еще пить из блюда молоко, которое можно назвать национальным кошачьим блюдом. Если, конечно (вздых), мисс Люси не приедет в Грустное и не заберет меня назад в Ленинград. Но вернемся к *твоей* истории. Как я понимаю, твоя мама унесла тебя в Другой Лес, чтобы тебя не постигла участь твоих братьев и сестер; почему же вы оставили его и пришли сюда?

– Как только я научился ходить, мама хотела отвести меня назад, в деревню. Она не могла поверить, что люди, с которыми она прожила всю жизнь, будут так жестоки, что прогонят нас прочь. И еще она думала, что моя белая шкурка окажется мне на пользу – в деревне нет ни одной белой кошки.

– Верно, – прервал ее Васька. – В наши дни редко встретишь белую кошку. Было, как я знаю, время, когда во время голода в Москве все кошки были белые. Этим мы обязаны, несомненно, случаю – очевидно, одна белая кошка уцелела, когда все пестрые были съедены. А когда пестрые и черные кошки стали вновь появляться в Москве, там часто можно было встретить белую кошку с полосатым хвостом или лапами – явление дотоле, я думаю, неизвестное. Но это я говорю по слухам, сам я жил, как уже говорил, в Ленинграде.

– А в Ленинграде не было белых кошек?

– В Ленинграде не было никаких кошек. Там было в порядке вещей, что дети вырастали, ни разу не видав кошки, кроме как в старых книжках с картинками. Своим существованием я обязан тому, что мисс Люси прятала меня в шкафу, время от времени принося мне еду и меняя песок. Перед этим она запирала дверь и задергивала занавески. Но вернемся к тебе. Как тебя зовут, малыш?

Котенок катался на спине у лап Васьки.

– Я *Котенок*, – промурлыкал он.

Васька снисходительно усмехнулся.

– Я вижу, что ты котенок, но у котят тоже есть имена. Как тебя зовет мама?

– *Миленькая, Доченька*. А когда я шалю, она зовет меня *Озорницей*.

– Это просто ласкательные прозвища. Мы должны подобрать тебе настоящее имя. Подошел бы Снежок, но это собачье имя. Мы же не хотим, чтобы нам все время напоминали о собаках, правда? – Котенок вздрогнул. – Пушок, Белянка – всё это тоже собачьи имена. Многих котят-девочек, которых я знал, звали Мурочка, но это имя просто значит, что ты мурлычешь. Английская леди, приходившая давать уроки мисс Люси, называла меня Пусси. Она садилась возле меня на корточки и пела: «*O, lovely Pussy, o, Pussy my love, what a beautiful Pussy you are!*»¹. Но Пусси это едва ли не родовое имя для кошек в Англии, как Киска в нашем языке. К тому же оба этих имени неприятно шипящие. Я буду звать тебя Жемчужинкой. Мисс Люси носила большую серебряную брошь и перламутровый кулон. Я, бывало, сидел у нее на коленях и раскачивал его лапой. Да, я стану звать тебя Жемчужинкой. Это имя будет напоминать мне о ленинградских днях. Но слушай, малышка, твоя мать подозрительно задерживается. Ты, наверное, голодна?

– Я нашла мышиную нору, – гордо сказала Жемчужинка. – Мама-мышь куда-то ушла, и я слопала мышат.

Васькины глаза сверкнули.

– До чего же ты шустрый котенок! Твоя мама хорошо тебя воспитала. Покажи-ка мне свое прибежище.

Жемчужинка провела его к норе близ букового дерева, наполовину скрытой корнями ежевики. Васька одобрительно огляделся.

– Чисто, – сказал он. – Но тебе надо доесть эти хвостики и лапки, а то от них все место провоняет. Никогда не оставляй рядом с собой объедков, иначе всё будет кишеть червями.

– Мне и мама это говорит, но я не смогла их доесть, а выбросить было жалко. Может, ты их доешь?

– Ну, если ты так считаешь, я, пожалуй, не откажусь. – Васька отправил розовые остатки в уголок рта и, закрыв глаза от усилия, сделал два мощных движения своими ужасными резцами, прежде чем проглотить угощение. – За мною долг, – сказал он. – Что ты любишь больше всего?

Изумрудные глаза вновь сверкнули.

– Яйца! – воскликнула Жемчужинка. – Я обожаю яйца. Мама прикатывала их из курятника, а я разбивала их о камни и выпивала.

– Ну, здесь в лесу нет куриных гнезд, – отвечал Васька. – А дикие птицы обычно выют гнезда так высоко, что кошке туда не забраться. Но я что-нибудь придумаю. А теперь, если ты не возражаешь, я поищу в округе что-нибудь для себя. Твоя чудная закуска лишь разожгла мой аппетит. Я полагаю, что найду тебя где-нибудь поблизости, когда вернусь. Не уходи далеко от дерева: сюда иногда забегают собаки.

Мама Жемчужинки так больше и не вернулась, но общество и покровительство Васьки скоро вытеснили ее из сла-

бой памяти котенка. Васька преподавал Жемчужинке много полезных уроков жизни в лесу, советуя ей никогда, кроме как в случае крайней нужды, не покушаться на лягушку, ибо лягушка, зажатая в зубах, может выпустить горькую пену. Он рассказал ей, что белки иногда спускаются со своих высот, чтобы попить воды, и белку можно подстеречь у лужицы, образовавшейся после дождя. Жемчужинка внимательно слушала его наставления, но иногда жаловалась на то, что он употребляет непонятные слова. Васька же уверял ее, что и она может расширить свой словарь под руководством более зрелого и опытного ума.

– Хочешь узнать, как из невежественного котенка, домашней игрушки, я вырос в мыслящего и проницательного кота?

– Если ты считаешь, что я смогу понять...

Васька не заставил себя упрасивать.

– Те годы, в которые сформировался мой характер, – начал он, ложась на землю и подбирая передние лапы под мощную грудь, – прошли, как я уже говорил тебе, в Ленинграде. Благодаря высоко образованной и интеллигентной семье, в которую меня поместила моя любящая мать, я имел возможность присутствовать на особых встречах, где свободно обсуждались литература и искусство, хотя политика была под запретом. Темы бесед охватывали предметы от кубизма и футуризма до здорового соцреализма. Иногда среди гостей случался знаменитый пианист, а еще хуже – сопрано, и поскольку людская гармония недоступна кошачьему роду, я забирался под кушетку и не вылезал оттуда, пока всё не закончится. Но, за этим исключением, у меня остались самые приятные воспоминания о моих ленинградских днях.

– Почему же ты там не остался?

– Можешь быть уверена, не по своей воле. Когда в жизни владельцев кошек случаются большие перемены, самих ко-

шек редко – да просто-таки никогда – не спрашивают об их желаниях. Однажды меня посадили в корзинку с крышкой, засунули под сиденье в вагоне поезда и отвезли в село Грустное в семью Морозовых. Они говорили, что это только на каникулы, и я думаю, что они и вправду так думали, но Морозовы так полюбили меня, что решено было оставить меня у них. Мисс Люси горько плакала, но они уговаривали ее, что это делается для моего же блага. Во многих отношениях условия здесь и в самом деле были лучше; собака всегда была на привязи, а я люблю поохотиться, что, конечно, трудно осуществить в городе. Морозовы были очень добры ко мне, мне не на что жаловаться. У них был ребенок, который все время норовил дернуть меня за хвост, но за меня всегда кто-нибудь заступался. Я видел, как собственная мать шлепнула Петьку по руке, когда он приставал ко мне.

– Так зачем же ты убежал в лес?

– Обстоятельства непреодолимой силы, – туманно отвечал Васька, – Морозовы оказались кулаками.

Жемчужинке довелось слышать это слово мимоходом, когда ее мама остановилась на опушке Другого Леса поболтать со старой подругой, но она не была уверена в его значении.

– У них была корова? – спросила она.

– Целых две. Сначала к ним пришли какие-то люди из райсовета и записали все в книгу. А на следующий день они снова пришли и увели скотину. И тогда старик Лука – так звали моего хозяина – обезумел: он выбежал с топором и зарубил лошадь, а потом срубил большую старую иву в саду. Я видел все это, спрятавшись под лавкой. И тогда я подумал, что мне пора бежать оттуда. Старик Лука любил Сивку больше меня, а однако ж убил его. Вот с тех пор я и живу в лесу.

В норе у Жемчужинки часто бывало мокро и холодно, и Васька без труда убедил ее поселиться с ним, в его собственном, еще более высоком дупле. Места Жемчужинке там как раз хватало, чтобы, свернувшись калачиком, прижаться к его теплому пушистому животу. Когда снег уже таял, Васька сказал, что ночи скоро станут короче, мыши и зайцы начнут отходить от своих норок, белки будут спускаться, чтобы напиться из пруда, а утки займутся починкой своих гнезд в камышах. Весна, полная надежд для одних и опасностей для других, становилась все ближе. Бывало, что ночью Жемчужинка замечала, как Васька осторожно встает со своего места и покидает ее, прежде чем она успеет мяукнуть, и иногда она просыпалась на рассвете от холода и одиночества. Она сумела связать эти странные поступки с отдаленными забываниями, доносившимися из деревни, и всепроникающим запахом, приносимым ветром. Спустя какое-то время звуки и запахи прекратились, Васька снова спал все ночи рядом, а днем они вместе охотились. «Скоро, – сказал он нежно, – ты вступишь в положенный возраст, и я тебя больше никогда не оставлю. Ты станешь для меня всем».

Спустя несколько месяцев в дупле обитали уже пять котят, один из которых был весь белый, но с полосатой мордочкой, а остальные полосатые целиком.

Проблема была в том, как устроить котят. Самое подходящее место для деревенской кошки – сельский магазин, где хороший мышелов всегда придется ко двору. Там с прилавка могут упасть случайные обрезки и под навесом найдется приют в холодное зимнее время. Васька уже снабдил два магазина способными мышеловами, так что точка насыщения была, пожалуй, достигнута; но в своих странствиях он наткнулся на странное маленькое сообщество, где всегда мог рассчитывать на теплый прием. Если Жемчужинка преодолет страх перед людьми, он с удовольствием покажет ей

это место – для маленького котенка в этом тихом месте, возможно, открываются перспективы. «Там живут одни дамы, – говорил он Жемчужинке, – и, поверь мне, я могу отличить даму с первого взгляда. Правда, в глубине там есть здание, у которого ходят мужчины с ружьями – джентльменами их не назовешь, и к кошкам они недружелюбны. Но зато там есть кухня, а возле кухни обычно удается что-нибудь подцепить. Дамы едят за длинным столом в столовой. Никогда я не видел, чтобы люди так ели: так едят скорее собаки, чем дамы. Когда я жил в ленинградском доме, а потом у Морозовых, там имело смысл запрыгнуть после обеда на стол, где могла остаться косточка, а на ней немного мяса, или крошки сыра, или шкурки сосисок на тарелке – но эти дамы не оставляют за собой и картофельной кожуры, а тарелки у них такие чистые, словно кошка вылизала их шершавым язычком. Они всегда рады мне, и некоторые пытаются взять меня на колени, но я, конечно, им этого не позволяю. Мне кажется, что иногда они и рады бы угостить меня лакомым кусочком, но боятся».

– Чего же они боятся?

– Друг друга. Они боятся, что другие увидят, как они отдают еду. Там есть женщина, ее зовут Варвара Семеновна, она все время следит, не сделает ли кто-то из дам что-нибудь неправильное, и тогда она говорит тем мужчинам с ружьями. Один раз одна бедная худенькая дама украдкой опустила руку с малюсеньким кусочком хрящика для меня, а эта страшная Варвара Семеновна запела через стол своим фальшивым голоском, словно в шутку: «Если у вас, Елена Николаевна, слишком много еды, поделитесь с подругами». Все побледнели, думая, что теперь Елену Николаевну снимут с довольствия. А притом, знаешь ли, эта Варвара Семеновна сама любит кошек. Иногда она бросает мне какие-нибудь остатки, но только когда она уверена, что никто не видит.

Она у них старшая и не упускает возможности сделать какую-нибудь подлость. К счастью, Елену Николаевну скоро должны выпустить, и как раз вовремя, скажу я тебе, чтобы ей остаться в живых: ноги у нее как прутики, а когда однажды я выпрямился на скамейке и хотел потереться головой об ее подбородок, так он был острый, как нож.

Спустя какое-то время котята перестали быть проблемой. Немногие пережили долгую холодную зиму, а потом род прервался навсегда, ибо преданная подруга Васьки умерла после необыкновенно долгого периода морозов и недоедания, оставив его одного с хилым котенком, Жемчужинкой Третьей. Она была вся белая, кроме ушек, а те были темно-коричневыми у кончиков и бежевыми у основания, как у самого Васьки.

Каждый день Васька, которого не покидала мысль о том, чтобы найти прибежище своей маленькой слабенькой дочке, водил ее на железнодорожную станцию, где, забившись под платформу, они встречали прибывающий экспресс Сибирь–Москва. За целую неделю он не взял ни одного пассажира из Грустного. Но наконец пришел день, когда на станции в платках и с мешками появились две женщины, в которых Васька мгновенно признал Елену Николаевну и отвратительную, хотя и котолубивую Варвару Семеновну. Преследуемые кошками, которых они не замечали, женщины поднялись по железным ступенькам в один из самых дешевых вагонов, где купе с необитыми спальными местами не отделены от коридора. Васька увидел в этом свой шанс. Схватив съжившуюся Жемчужинку за загривок, он швырнул этот прискорбно легкий груз к ногам Елены Николаевны и метнулся прочь. Когда поезд тронулся, он был уже далеко.

Вторжение белой кошки в несметные полосатые ряды московского кошачьего населения одновременно и выполнило жизненную задачу Мурочки, и положило этой задаче конец. Органически не способная к общению с сородичами, она не могла принести приплод; но она принимала блюда теплого молока, свою долю семейного обеда и уютное местечко для сна как дань, заслуженную самим своим существованием как кошки.

Жизнь Елены Николаевны после освобождения была сложнее. Она вернулась в провинциальный медицинский институт, который в свое время закончила, и – но с какими тяжкими усилиями и жертвами! – сумела устроиться в аспирантуру, после чего, ценой новых усилий и с посторонней помощью, перевелась в Москву, где ей предложили место в Московском институте стоматологии.

Там ей суждено было испытать короткое счастье с молодым коллегой, который позже погиб на фронте, оставив ее с маленькой дочкой, древним зубоврачебным креслом и стареющей Мурочкой. Дочь целые дни проводила в детском саду, Мурочка тоже не доставляла хлопот, зато с креслом, невозмутимо безжизненным, дело обстояло сложнее. Оно было и благом, и тяжким бременем. Оно помогало Елене Николаевне при многих финансовых неурядицах – когда настает нужда, всегда можно рассчитывать на частного пациента. А с другой стороны (всегда есть другая сторона), оно было таким громоздким, что остальной мебели и всем перемещениям в комнате оставалось лишь немного места у стен. Но, хуже того, оно постоянно угрожало душевному спокойствию Елены Николаевны. В любой момент недружелюбный сосед по коммунальной квартире мог донести на нее финансовым органам. Это было не слишком вероятно, потому что каждому удобно иметь под рукой первоклассного дантиста. Но стремление к острым ощущениям и празд-

ность порой бывают не хуже откровенной злобы, а в квартире весь день оставалась некая неприятная старуха, которая пила сердечные капли и высовывала голову в коридор всякий раз, как Елена Николаевна проводила пациента в свою комнату. Больше того, то и дело ей удавалось открыть входную дверь, прежде чем до нее успевала дойти Елена Николаевна. Впрочем, даже у этой бдительной и злобной карги был племянник с пораженным коренным зубом.

Кресло чересчур занимало мысли Елены Николаевны, и часто во время ночной бессонницы она решала продать его. Но пациенты с надежными рекомендациями, которым было строжайше запрещено договариваться о приеме по телефону или открыткой, означали лыжный костюмчик для маленькой Анюты зимой и отдых у моря летом. Поэтому, когда дородная дама в дорогой меховой шубе пробормотала сквозь щель в дверном проеме, вход в который преграждала цепочка, что она пришла от надежного человека, цепочку отбросили и посетительницу впустила сама Елена Николаевна. Оказавшись в своей комнате, Елена Николаевна с профессиональным интересом выслушала знакомую горестную повесть и сочувственно улыбнулась, услышав ее известный конец:

– Я надеюсь, вы сможете мне помочь. Доктор Каплан говорит, что вы очень заботливы и не причините лишней боли.

– Я думаю, таковы все зубные врачи, – кратко ответила Елена Николаевна и попросила посетительницу расположиться в кресле.

С молящим взглядом пациентка занесла ногу в меховом сапожке, чтобы залезть на ужасный трон, как тут же отдернула ее и коротко вскрикнула, увидев кошку, свернувшуюся клубком на сиденье. Белая кошка с темными ушами.

– Мурочка! – прошептала она и повернулась к Елене Николаевне. – Елена Николаевна, я вас сразу узнала. Вернее,

я была почти уверена, что это вы. Но вы меня не признали, и я ничего не сказала. – В тот самый миг, когда посетительница проявила такое волнение при виде Мурочки, Елена Николаевна узнала в стоящей перед ней преуспевающей даме мерзкую Варвару Семеновну, которая теперь, с бледным лицом, на котором выделялись густо покрашенные губы, отступала от нее. – Вы, конечно, помните, как я держала Мурочку в своем одеяле всю дорогу до Москвы.

– Я все помню, – строго произнесла Елена Николаевна. – Садитесь в кресло, если хотите, чтобы я взглянула на ваши зубы. Слезь, Мурочка. – Старая кошка с оскорбленным видом взобралась на подлокотник кресла, тяжело спрыгнула на пол и заняла место на диване.

С того момента, как она узнала Варвару Семеновну, голова Елены Николаевны превратилась в поле битвы. Она говорила себе, что лагерный доносчик всегда таким и останется. Она думала, что никто у нее на работе и в коммунальной квартире не знает о ее лагерном сроке, а если Варваре Семеновне взбрдет донести, что она уклоняется от налогов, то все выйдет, не может не выйти наружу. Все десять лет, прошедшие после освобождения из лагеря, Елена Николаевна боролась с этим страхом, и до сих пор, переходя улицу, стремилась избежать взгляда милиционера на перекрестке. Но теперь страх подсказывал ей, что разумнее всего вести себя так, словно прошлое забыто. Во время лечения Варвара Семеновна ничего не предпримет, а когда все закончится, Елена Николаевна продаст это кресло.

– Откройте рот пошире, пожалуйста, – сказала она, внимательно изучая воспаленный проем в деснах ненавистной ей женщины. – Все ясно, – спокойно продолжала она, – это займет три-четыре сеанса. Вы сможете прийти завтра к шести?

Смиренным, едва ли не льстивым голосом Варвара Семеновна ответила согласием.

– Да вы волшебница, – сказала она. – Я почти ничего не почувствовала.

Когда она покидала загроможденную комнату, Мурочка вопросительно подняла голову, оперлась на спинку дивана и напрягла передние лапы, зевнув во весь рот. Потом она сомкнула зубы над розовым гротом своей пасти, ее лапы и хвост расслабились, и она заснула на диванных подушках прежде, чем за Варварой Семеновной захлопнулась дверь.

Годы спустя подруга в библиотеке, где мне довелось работать, рекомендовала мне своего зубного врача. «Она никогда не делает больно, она чувствует твою боль еще до того, как ты почувствуешь ее сама, и она удивительно быстра и добросовестна. Попроси, чтобы она показала свою кошку. Ты никогда не видела ничего подобного – совершенно белая, с полосатыми ушами. Она привезла ее из лагеря, только не заговаривай с ней об этом: она, бедняжка, думает, что никто об этом не знает».

ПРОЩАНИЕ С ДАЧЕЙ

Устав протирать морковь и стирать пеленки, Маша с маленьким Антоном ринулась в Москву в конце августа, который походил на конец лета. Конечно, она понимала, что и в Москве ей придется протирать морковь и стирать пеленки, а вдобавок и гулять с коляской, но мечты об общении с друзьями, телефоне, горячей и холодной воде взяли верх над всеми другими соображениями. Что же до свежего воздуха, то что толку от воздуха, когда весь день идет дождь? Вадим, муж Маши, студент (его и ее возраст, взятые вместе, включая и возраст Антона, едва дотягивал до сорока лет), всецело выступал за: он был только рад прекратить кочевую жизнь. С ними уехала и Катенька, чтобы успеть к началу школьных занятий. Но я, продолжая верить прогнозу погоды на сентябрь – «мягкий и солнечный», отправилась в Москву лишь на пару дней, чтобы захватить теплые вещи на случай, если надеждам не суждено будет сбыться.

Я перебралась на дачу еще в мае, твердо решив закончить редактирование своих «Двадцать девяти женщин в литературе», но общество, чудеснее которого быть не может, безжалостно отнимало время. Одиночество, так необходимое, чтобы подвигнуть к работе, было недостижимо в тесном соседстве с моею семьей. Маша приехала в Степановку с намерением никогда не посягать на мои утренние часы; но каждое утро она проходила мимо моей калитки за молоком, и как я могла отказать себе в удовольствии выскочить во двор, чтобы взглянуть на Антошку и прокатить его по дорожке

к дому? А когда Маша возвращалась с молоком, уже кипел чайник, и это я, в припадке старушечьего деспотизма, которому так и не научилась противиться моя семья, настаивала, чтобы Маша уселась за стол, положив Антошку рядом на сиденье старого кресла-качалки.

Конечно, нет ничего на свете приятней и естественней; тем душам, что никогда не заботились о свежеснесенных яйцах, о помидорах и салате только что с огорода, домашнем клубничном варенье и вкуснейшем батоне свежего белого хлеба, этого никогда не понять. А после завтрака Маша могла еще взять Антона на руки и, усевшись в качалку, начать его кормить, пока я мою посуду. Посуду ведь надо мыть, не так ли? (Мы обе знали, что, будь я одна, я оставлю ее невымытой на Бог знает какое время.) Поэтому довольно часто лишь часам к двенадцати я доставала синюю папку и снимала чехол со своей допотопной пишущей машинки, и все для того, чтобы обнаружить, что решимость покинула меня, и, отложив средства производства, положить на их место коробку с анаграммами¹.

Пробыв неделю в Москве без всякого к тому оправдания, кроме благословенных часов в Ленинской библиотеке, где я пролистывала страницы или, лучше сказать, погрязала в страницах древнего издания «Словаря национальных биографий» в поисках сведений о миссис Вези и миссис Триммер², я побросала в чемодан несколько книг и самую причудливую смесь английских газет и американских журналов, какую только можно вообразить (отбор происходил по признаку того, достаточно ли давно я их прочла, чтобы успеть позабыть), положила сверху несколько пар теплых чулок и толстый свитер и отправилась на дачу под ледяным дождем. Моя подруга Эм поехала со мной и в течение безмятежной часовой поездки пыталась закончить чтение томика Пеписа³, чтобы затем оставить его мне, тогда как я

пыталась заполнить в лондонском «Таймсе» пустые клетки кроссворда, который кто-то не закончил решать. Я испытывала странное чувство сообщничества с человеком, которого никогда не встречала. Он прекрасно знал, что 6 по вертикали – «Число в начале од Горация» из семи букв – есть *Integer*⁴, а 13 по горизонтали – «Ящерица с нокаутом в конце» (5 букв) – это *Gecko*⁵, но не знал, что 22 по горизонтали – «Девушка для Джеймса» (5 букв) – есть, очевидно, *Joyce*⁶, а потому не мог догадаться, что 22 по вертикали – «Художник, который возвращается на свой корабль» (6 букв) – мог быть только *Jason*⁷, хотя Бог весть почему! Также он не догадался, что «Саул делает, а Давид нет» (6 букв) – это *Bellow*⁸. Поглощенные своими занятиями, мы едва не пропустили Степановку и последними выбрались на длинную платформу.

Боковые дорожки насквозь вымокли, и мы потащились по середине Коммунистической улицы, но когда свернули на Пушкинскую, наши ноги напрочь увязли в глубоких липких колеях. Я никогда не жалею на эти колеи, ибо благодаря им дорога остается тихой.

Еще вдалеке от нашего дома мы услышали пронзительный, свирепый лай Тяпы. Конечно, он лаял не потому, что узнал наши приближающиеся шаги, а потому, что облаивание прохожих есть и долг его, и в то же время развлечение в монотонной жизни. Когда мы подошли достаточно близко, чтобы он мог узнать наши голоса, на какой-то миг он был повергнут в смятение чувств, не сумев быстро перейти от свирепого лая к радостному приветствию. Положение усугубилось внезапным появлением человека с мешком на плече, и Тяпа, хотя и был вне себя от радости при нашем появлении, счел долгом прогнать чужака, прежде чем протрусить по дорожке и стать у наших ног, наклонив тяжелую голову, поворачиваясь то ко мне, то к Эм и медленно помахивая хвостом в такт обуревавшим его чувствам. Ког-

да мы открыли дверь дома, он проскользнул внутрь первым и остановился посреди комнаты, по-прежнему махая головой и хвостом и поглядывая с очевидной тревогой то на кровать, то на нас. Нельзя было сказать яснее, что он спал на моей постели. При наших негодующих возгласах, словно по сигналу, которого он ожидал с беспокойством, он прокрался в свое убежище под письменным столом, на место, которое выбрал для себя как самое укромное в комнате, и свернулся там, наблюдая оттуда одним глазом за нашими передвижениями и подергивая кончиком хвоста.

Уличающий слой черной шерсти, песка и катышков мокрой земли свидетельствовал, что, пока меня не было, Тяпа заполз под плед и уютно располагался на простынях.

– Зачем ее пускали в комнату? – осведомилась Эм (она всегда говорит о Тяпе в женском роде). – Она вполне могла бы спать на веранде.

– Он так жалобно выл, что они не могли вынести. Они же не думали, что он посмеет забраться на мою кровать.

– В кровать, – поправила Эм и принялась энергично разбирать постель и стелить чистые простыни.

Тяпа оставался под столом, пока мы не принялись пить чай; тогда он выполз наружу и прижался боком к моей ноге. Поверх его покорной головы мы обсуждали вопрос, уместно ли давать лакомства из наших собственных тарелок собаке, потерявшей чувство приличия до такой степени, что она забралась в постель хозяйки.

– Посмотри, какие у него грустные глаза, – сказала я. – Видишь, он чувствует себя виноватым. Он просит простить его.

– По-моему, она просит кусочек сыра, – сказала Эм, но благожелательно, не желая чересчур сильно задевать Тяпины чувства. – И ты знаешь, мне кажется, ей всего лишь хотелось ощутить твою близость. Она чувствовала себя отчаянно одинокой.

Сама эта мысль означала прощение, и я с чистой совестью одарила Тяпу остатками сыра и ветчины. Пока я была в Москве, хозяйка дачи, уходя утром, выгоняла его во двор с миской овсянки и вновь наполняла миску лишь за ужином. Считается, что собакам достаточно есть два раза в день, но и Эм, и я чувствовали, что жизнь в таких условиях – это сущий кошмар.

– Бедный песик, – сказала я. – Один-одинешенек все эти холодные, промозглые дни, и все ждет кого-нибудь, кто бы вернулся и поиграл с ним.

– Ну, однако же, и у нее находились дела: облаять какого-нибудь мужчину с тачкой или женщину, возвращающуюся с рынка, – сказала Эм. – И я ручаюсь, что время от времени она пролезала под забором, чтобы пообщаться с другими собаками или погоняться за кошкой. Она, небось, и приползала сюда только вечером посмотреть, не пришел ли кто-нибудь.

Эм с удовольствием оглядела аккуратно убранную постель: края белоснежной простыни были завернуты поверх стеганого одеяла миндально-зеленого цвета, которое она привезла из Америки много-много лет назад. Она взяла старомодный походный будильник, верно служивший на столь многих широтах, и завела его. (Заводить часы и стелить постель – среди тех занятий, которые я ненавижу!) Затем Эм принялась мыть веранду с ненужной затратой сил и времени, которые можно было бы с гораздо большей пользой употребить для игры в «Лексикон». Еще сигарета на веранде, и тогда уже она снизойдет до одной игры в «Ридданс» и до игры в «Твистер»⁹, прежде чем расстанется с нами. Или ей лучше сесть и закончить последнюю главу Пеписа? Это, безусловно, будет разумнее, но я голосую за «Ридданс» и за «Твистер».

Проводив взглядом Эм, вышедшую за калитку, мы с Тяпой вернулись в дом. Выражение глаз Тяпы, казалось, гово-

рило: «Ты здесь, и я здесь, чего же *нам* еще нужно?», а я, безусловно, выглядела так, как выглядит старая женщина, мечтающая принять снотворное и с горячей грелкой забраться в постель.

С вечера на кухонном столе приготовлены бутылка кефира, глиняная кружка и любимая ложка, размером подходящая Матушке Медведице. Можно не мыть посуду, не стелить постель, не надевать доспехи, а Тяпе придется доесть остатки последнего ужина, пока я сижу за машинкой, положив рядом синюю папку с оптимистично пронумерованными листами, и выполняю свой утренний долг. Я не стремлюсь уклониться от работы, она стала единственным оправданием моего существования, и я очень полюбила своих двадцать девять женщин. Особенно я люблю миссис Трейл и миссис Инчболд¹⁰. Миссис Трейл за то, что она имела мужество выскользнуть из щупалец доктора Джонсона, после того как умер ее муж, и выйти замуж за оперного певца-итальянца, невзирая на протесты шокированной семьи и друзей, да еще ей хватило энергии написать книгу об английских синонимах; а миссис Инчболд за то, что она написала «Обеты любовников», эту пьесу, которая вызвала такой переполох в Мэнсфилд-парк. Я люблю даже старую миссис Делани¹¹ – Свифт называл ее своей непременной нимфой – она делала натюрморты с бумажными цветами, которые выглядели гораздо более настоящими, чем живопись маслом.

Час или два спустя внутренний голос произнес предупреждение, которым, как я знаю, лучше не пренебрегать. «Стой, – говорит он, – или...» Я останавливаюсь посередине фразы. Папка стала толще на пару несчастных страниц, но я закрываю ее. Нет Маши, чтобы пойти за молоком, и мы с Тяпой вместе выходим в сад. Все дачники, кроме меня, разъ-

ехали, и во многих дачах окна закрыты ставнями – вид унылый. Те хозяева, что живут здесь круглый год, заняты на задних дворах, заготавливая сено для коров, доставая из сараев вторые рамы или развешивая необъятное количество выстиранного белья. Этим летом улицы были тише, чем обычно, ибо писательский дом отдыха не принимал писателей, а предоставил свои помещения детям писателей из Ташкента, оказавшимся без крова из-за землетрясения. И уже не было встреч на улицах с худыми стариками и тучными пожилыми женщинами с обменом дружескими упреками: «Что же вы никак не зайдете нас проведать?» Наводящий скуку писатель с львиной гривой уехал отдыхать в Крым, а старый джентльмен с патриархальной бородой и вьющимися пучками волос – историческая личность, в прошлом секретарь Толстого – отправился в санаторий на Балтийском море и больше не бродил по улицам, донимая упреками женщин, которые предпочитали носить в деревне спортивные брюки (интересно, что подумал бы о нас сам Толстой?). Теперь дети вернулись в Ташкент, их дома отстроены заново. Мне не хватает их. Мне нравилось наблюдать за ними через ограду дома отдыха, смотреть, как они танцуют твист в размеренном ритме, словно это один из их национальных танцев.

Выглянуло солнце и оставалось на небе пару часов на радость детям и на украшение розам. Но дети были в школе, а немногие намокшие розы, оставшиеся с лета, подвяли и их вряд ли уже что-то украсит. Только славный выюнок разбросал свои сердечки и дудочки вокруг столбов и заборов или торжествующе свисал с верхушек поникших кустов смородины. Не могу припомнить, чтобы мне приходилось видеть *convolvulus arvensis* так поздно.

На следующий день я услышала наш фамильный клич за калиткой и подумала, что это моя дочь Наташа, хотя она

никогда не приезжает так рано. Тяпа, лежавший после завтрака на ступеньках, тоже услышал его и радостно залаял, а мгновение спустя я увидела в окне лицо фавна, устремившего на меня взор из-под копны черных завитков, лицо, которое снилось мне прошлой ночью. Катенька! «Как же ты из школы так рано?»

Катенька хитро улыбнулась, но не стала вдаваться в объяснения.

– Мне захотелось увидеть тебя, и я приехала вместо мамы. – Вот она уже в комнате возле меня, стаскивает свой рюкзачок. – Она отправила со мной маленькую цветную капустку, и цыпленка, и пакет винограда, и кусочек пахучего сыра для тебя.

– Маленькая Красная Шапочка!

– Да, и я встретила волка. Когда я проходила мимо Смирновых, Цезарь был спущен с цепи.

– Ты испугалась?

– *Нисколько*. Я хотела сказать *not a bit*¹². Они *страшны* только у себя во дворе. Он завил хвостом и хотел облизать мне руку. У него красивые глаза.

Я рассказала Катеньке, что вчера видела ее во сне, но не сказала, что она снилась мне остриженной наголо. Стоит нам увидеть Катеньку, и мы начинаем расспрашивать ее, когда она пострижет волосы; но мне не хотелось дразнить ее сейчас, когда она надумала навестить меня. Кроме того, мне совсем и не хочется, чтобы Катенька обрезала волосы; пусть бы она только убрала их со лба и со щек и не прятала за ними лицо.

Катенька, которая прочла в журнале статью о телепатии, решила, что мой сон о ней и ее внезапное желание посетить меня говорят в пользу доказываемой теории. Как иначе это объяснить?

– *Coincidence*, – бесстрастно ответила я и перевела новое слово на русский язык: – *Совпадение*.

– Почему же ты веришь в *coïn...* в *совпадение*, а не в телепатию?

Катеньке хотелось бы услышать, что я хоть во что-то верю, и таким образом продолжить диспут, но мне не хотелось продолжать его на столь шатком основании, и, прихватив Катеньку, я бросилась готовить обед.

В совершенно дружеской обстановке мы пообедали крылышками цыпленка, тушеным картофелем и печеными яблоками в сметане, а затем Катеньке пришлось поторопиться к последнему уроку, чтобы как-то загладить свое отсутствие (то, что она пропустила предыдущий урок, видимо, не имело большого значения: это был всего лишь английский). Я открыла своего Бартлетта¹³ и показала ей строку: «*Like angel visits, few and far between*»¹⁴, которая так понравилась Катеньке, что она задержалась, чтобы записать ее на клочке бумаги. «Я выучу ее *from heart*¹⁵ в поезде».

Я не стала портить удовольствие Катеньке указанием на грамматическую ошибку и задержала ее лишь на миг, чтобы спросить, как скоро мне ждать Наташу. На мой ненужный, во всяком случае, бесполезный вопрос «Есть ли у тебя обратный билет?» Катенька отвечала уже на бегу. Но я смогла услышать лишь звук *e...*, что могло означать либо *Yes*, либо *нет*. Научить мне, что ли, ее говорить *Yes* во избежание путаницы?

В среду снова приехала Эм, чтобы заправить мне постель, завести часы, поставить чайник и принести два ведра воды, пока чайник закипает. Затем, как всегда бывает при посещении Эм, наступило время блаженнейшего покоя – сначала за чаем с тостами, а потом за игрой в «Ридданс» и двумя играми в «Твистер». Только после этого она устремилась на поезд, оставив мне новое (относительно) литературное приложение к «Таймсу», а Тяпе свежую мясную косточку.

А в пятницу вечером, в тот момент, когда из-за сильного ливня стемнело кругом и стало невозможно читать у окна, так что я закрыла том Пеписа на словах «И вот я дома, принося с собой ночь и дурную погоду», Тяпа издал радостный отрывистый лай и в оконном проеме появилась взъерошенная голова Наташи.

Она вошла в комнату, включила свет и поставила чемоданчик, всё разом, словно несколько нот прозвучали в одном аккорде.

– А ты думала, я никогда не приеду?

– Нет, нет, я знала, что приедешь, и разочарование в конце дня с лихвой покрывалось надеждами в начале следующего.

– Кузен Перси¹⁶, – пробормотала Наташа, которая знала, как хорошо мне послужил жестокий урок, преподанный неразделенной любовью в возрасте семи лет.

Я показала ей фразу из Пеписа.

– Я привезла с собой кое-что, помимо ночи и дурной погоды, – сказала Наташа, доставая из чемоданчика «Миддлмарч» и «Даниэля Деронда». – Хотела бы я знать, что бы сделала Джейн Остин из Доротеи¹⁷, – продолжила она, непроизвольно взяв в руки «Миддлмарч» и раскрыв роман.

Я взяла книгу из ее рук и открыла в другом месте, не глядя в страницы, а потом отложила; словно выйдя из транса, я вспомнила последние слова Наташи и ответила:

– О, всего лишь обывательницу! Она не смогла бы справиться с образом передовой женщины.

– И все же мы готовы отдать всего Джорджа Элиота за «Мэнсфилд Парк» и «Доводы рассудка»?

– Всего, кроме «Адама Беде».

– А я думала, ты терпеть не можешь «Адама Беде».

– Да, да, терпеть не могу, я имела в виду «Мельницу на Флоссе».

Наташа порылась в своем чемоданчике.

– Держу пари, с этим тебе не справиться, – сказала она, доставая сборник «Премированных произведений авангарда», и, поднявшись со стула, прошла на веранду, где, как я могла услышать, вылила остатки воды в чайник и проследовала с ведрами в ночную тьму. Чайник, я знаю, поставлен на электрическую плитку, и уже пора расстелить клетчатую скатерть и достать чайный сервиз. Но стол полностью занят пишущей машинкой и работой в разгаре, поэтому мне приходится перенести книги и бумаги со стола на кровать. Славные запахи свежего хлеба и нарезанной ветчины наполняют комнату, и в первый раз с тех пор, как мы с Наташей начали раскрывать и закрывать книги, зашевелился Тяпа.

Будь дела как угодно срочными, Наташа никогда не позволит им испортить удовольствие от чаепития, и небогатый запас семейных новостей она тратит с такой медлительностью, словно с каждой минутой не близится ночь. Оказывается, Антон освоил замечательную технику ползания, его родные ничего подобного никогда не видели; Вадим а) получив полуобещание, что ему дадут перевод книги по геофизике и б) поборов искушение купить новые лыжи, чувствует себя богатым и добродетельным; Катенька обрезала волосы, и они выглядят еще курчавее, чем прежде. Но каждое сказанное слово отсылает нас опять к литературе. Разговор об Антошке напоминает о ребенке, который ползал так премило, что его тетюшка едва ли не завидовала, потому что никто из *ее* детей не ползал так хорошо, и все потому, хотя Толстой и не говорит об этом категорично, что Анна Каренина взяла английскую няню! А Вадим своим примитивным оптимизмом не напоминает ли чуточку мистера Микобера¹⁸ и еще больше напоминает отказом купить новые лыжи Ричарда Карстона¹⁹, который делал деньги на том, что *не* нани-

мал кэб? Даже обрезанные локоны Катеньки напоминают нам о Мэгги Тулливер²⁰ – но когда же Катенька не напоминала нам Мэгги Тулливер?

У меня тоже есть много тем для разговоров, но все они касаются персонажей из книг (муж Наташи говорит, что мы с ней постоянно сплетничаем о гувернантках восемнадцатого века и дочерях священников века девятнадцатого). Я знаю, Наташа с удовольствием выслушает, как мисс Тэлбот²¹ опрокинулась из лодки в Темзу поблизости от Твикенхэма вместе с Хорасом Уолполом²². Бедное дитя! Это, кажется, единственное событие, случившееся в ее жизни, она даже не закончила ни одной из своих книг, и эта назойливая миссис Элизабет Картер²³ «издала» их и заполучила все деньги и большую часть славы после кончины мисс Тэлбот.

Наступает время, когда Наташе начинает казаться, что у нее дома уже волнуются; тогда она встает и оглядывает маленькую комнату, разоренный стол с ужином, всклокоченную постель и хаотично выглядящий (но на самом деле вовсе не хаотический) письменный стол.

– Я только... – говорит Наташа, нагибаясь, чтобы поднять обрывки тесьмы и бумаги. Прежде чем уйти, она бросает полный сомнения взгляд на мой письменный стол; каким-то образом он напоминает ей сцену из последней главы «Алисы в Стране Чудес». В ее глазах он выглядит так, словно все бумаги в любое мгновение готовы взлететь на воздух.

– Они выжидают, пока я засну, – говорю я, – а наутро одна из страниц исчезнет навсегда.

Как многие, если не большинство, я всегда готова отложить старую книгу ради новой; и Эм с удивлением увидела, как, оставив «Роксану», я набросилась на случайный номер «Ридерс Дайджест», который, по ее мнению, должна бы отбросить прочь с глаз своих. Но не из одного лишь легкомыс-

лия я отказалась от «Миддлмарч» и «Даниэля Деронды», положила Пеписа на письменный стол, а «Читателя авангарда» на столик возле кровати. Я в самом деле испытываю любопытство к этим новым молодым писателям и стыжусь своей невосприимчивости к их творчеству. Но Наташа была права: я застревала почти в каждом рассказе. Весь авангард был пропитан стариной, заставляя испытывать известную иллюзию *deja lu*²⁴. Но один рассказ кончался фразой, которая одновременно тронула и ободрила меня: «Боже, ты неоспоримо был со мной, когда я старался». Я вылезла из теплой постели, чтобы взглянуть в словаре на это «неоспоримо», прежде чем перечитать рассказ более внимательно на тот случай, если что-нибудь пропустила. Но больше там ничего не было.

Мои соседи считают меня одинокой, но это не так. На самом деле это слабо разбавленное одиночество как раз мне подходит. Да, но ночами?! Не страшно ли вам одной в пустом доме? («Я бы умерла», – воскликнула одна из них; другая уверяет, что не сомкнула бы глаз ни на миг.) Конечно, я предпочитаю, чтобы хозяйка с мужем спали в соседней комнате. Когда дождь прогоняет их в город на несколько дней, я сплю не слишком хорошо. Страх всегда ждет одинокого человека в засаде и готов в любую минуту выскочить из тени. Как легко куст становится медведем! Но нет ничего хуже, чем ждать появления тигра, вырвавшегося из зверинца, на верхней ступеньке лестницы, ведущей в детскую. Пепис проснулся однажды в три часа ночи и при свете луны увидел, как «моя подушка, которую я отбросил во сне, стояла выпрямившись в ногах кровати». Сначала, не уразумев, что бы это могло быть, он «слегка испугался, но сон взял свое». Тяпа, который считается моим защитником, иногда пугает меня до смерти, вылезая из-под письменного стола и топоча к двери между моей комнатой и незанятой частью дома; и

там он усаживается и выпускает в щель один за другим гнусавые вопли, пока не успокоится и не протопаёт на свою подстилку со вздохом, в котором чудится разочарование. Я знаю, что это всего лишь крыса за панелью стены или кошка в подполе, но что, о мои бедные нервы, если это более страшное животное – человек?

Однажды, лежа без сна после полуночи, я услышала звук, который ни с чем не спутаешь, – шаги по тропинке. Шум шагов невозможно спутать ни с какими другими звуками. Его узнаёшь сразу – в нём отдается вес тела и, так внушает вам ночь, едва ли не вес души. Тяпа залаял так громко, что дальше не было смысла прислушиваться к шагам. Я подумала, не выпустить ли Тяпу на улицу преследовать незваного гостя, но, пока я размышляла об убийстве и скорой смерти, о том, не будет ли это в конечном счете менее мучительно, по крайней мере проще, чем кислородная палатка и внутривенные вливания, сон одолел меня, и на следующее утро я ни о чем не помнила. Вспомнила, только когда вышла из дома и обнаружила Тяпу, обнюхивавшего чрезвычайно ясный отпечаток ноги на влажной тропинке и долго пытавшегося взять след по высокой траве к калитке. Но в конце концов он отказался от этих попыток. Кем бы ни был пришелец, он, должно быть, сошел с травы на тропинку, и как раз тогда я единственный раз услышала звук шагов. Так или иначе, славный Тяпа спугнул его.

Даже в дневные часы случаются мимолетные приступы страха. Клен прижмется бледным листом к оконному стеклу, словно чье-то лицо, пытающееся заглянуть внутрь, и, когда такое случается, я чувствую на мгновение, что за мной следят. А однажды я пошла на рынок и тщательно закрыла дверь, но, вернувшись, обнаружила, что оставила настежь распахнутым окно на нижнем этаже. Ничего как будто не пропало, но, конечно же, я не оставляла свои шлепанцы

вставленными друг в друга на табуретке на веранде и не оставляла выдвинутым ящик письменного стола! А разве мохеровый шарф не висел на спинке кровати, когда я уходила? И хотя шарф обнаружился в гардеробе, а из ящика ничего вроде бы не пропало, никуда было не деться от неприятного чувства, которое внушали шлепанцы на неполюженном месте и пустое пространство на спинке кровати, откуда обычно меня приветствовал мой голубой шарфик. Тяпу, казалось, заразила моя тревога, и он принюхивался здесь и там, словно чуял чужого. И все же лучше перетерпеть небольшое одиночество и случайные страхи, чем разменивать существование на всякие пустяки. Приятно войти в пустой дом, зная, что там внутри ни с кем не придется вести разговоры. А синяя папка растет и растет, несмотря на ежедневный процесс сокращений и упрощений. Как дерево.

Солнце будит меня в субботу утром, наполняя радостью, одновременно инстинктивной и благожелательной. Я рада за свою хозяйку и ее мужа – или, может быть, я всего лишь рада тому, что мне не придется их жалеть, если воскресенье им испортит плохая погода. Я думаю, ближе к истине последнее, потому что весь день я слежу за небом с той тревогой, которую можешь испытывать лишь за себя. И чувство облегчения, которое я испытываю, когда они появляются под сверкающим солнцем, почти абсурдно – я отказываюсь доверять ему.

Вот они идут, держа в руках плащи и тяжелые сумки с покупками. Тяпа как бешеный бросается им навстречу и яростно лает, словно не узнает, но уже у самых их ног начинает ластиться к ним. Я, напротив, быстро ухожу в свою комнату и закрываю дверь. Я жду несколько минут после того, как услышу ее движения за тонкой стенкой, чтобы дать ей возможность поздороваться или, как она иногда делает, отпереть дверь со своей стороны и просунуть голову в про-

ем. Сегодня она не делает ни того, ни другого – никогда не знаешь, как поведет себя Лариса Андреевна – а мне не хочется выглядеть так, словно я счастлива ее приветствовать, хотя на самом деле я вовсе не счастлива. И все равно я не выдерживаю. «Это вы, Лариса Андреевна?» – кричу я, будто откликаясь на неразборчивый шум.

Моя хозяйка и ее муж составляют привлекательную, молоджавую, я имею в виду лет под пятьдесят, пару. Она голубоглазая, светловолосая, выглядит свежо; у нее отличные зубы, изящные руки и нигде ни следа тучности, свойственной среднему возрасту. Некоторое отсутствие стиля компенсируется умением одеваться. Если б мне только удалось удержать в памяти ее черты, когда она исчезает из виду. Стыдно признаться, но я никогда не узнаю ее, встретив за пределами ее территории. Даже в своем саду она превращается в незнакомку, всего лишь повязав цветной платок на голову или надев брюки. Ее лицо словно только что вытертая классная доска, готовая принять новый образ, сквозь который, однако, проглядывают черты других бесчисленных женщин. Не то что бы я принимаю ее за кого-то другого – я просто не различаю ее.

Ее муж, напротив, всегда остается самим собой, будь он скромный служащий в темном костюме или владелец дачи в выцветших голубых джинсах, – всегда любезный и добродушный, всегда Сергей Михайлович. Могло бы показаться, что его круглая голова с крупным меланхоличным лицом сидит на теле неустойчиво, но только будь она менее массивной. Под глазами у него мешки, как у мастифа, но взгляд его так неотразим, что проходит время, прежде чем замечаешь толстый темный нос и впалый рот. Когда к нему обращаются, он оставляет свои занятия и поворачивается к вам всем лицом с видом неописуемого благоволения, даже галантности, если разговор идет с дамой, но прежде всего

симпатии, кто бы это ни был. Он поднимает бровь в мою сторону над сложенными на черенке лопаты руками, и я чувствую, что меня наконец поняли. Под этим взглядом испаряется даже суровое выражение с лица Эм; я сама видела, как в ответ оно стало лукавым. Сергей Михайлович никогда не заговорит первым, только когда к нему обращаются, да и то не всегда. Вы не знаете, где опорожнить кухонное ведро? Сергей Михайлович выпрямится при вашем приближении, устремит на вас свой несказанный взор и укажет большим пальцем через плечо на кучу компоста. Если из подметки моего ботинка выскочит гвоздь, Сергей Михайлович без слова отложит в сторону совок или мотыгу, отнесет ботинок к сараю с инструментами, трижды резко ударит молотком, пока я стою на одной ноге, опираясь на ствол вишни, и вернет ботинок жестом, который, клянусь, не назовешь иначе, чем рыцарский. Перегорел предохранитель? Нужно открыть консервную банку? Я зову Сергея Михайловича со спокойным чувством уверенности, что доставляю ему удовольствие. Если роли меняются и услугу по-соседски предлагаю я, Сергей Михайлович не тратит слов на излишние выражения благодарности. Однажды я высунулась из окна и крикнула ему, что слышу, как что-то вовсю кипит на керогазе, и он лишь слегка наклонил свою благородную голову, проходя мимо моего окна. Иногда ему приходится дать прямой ответ, и тогда на помощь его молчаливости приходит сам русский язык, который позволяет давать односложные ответы, все же менее резкие, чем простые «да» и «нет». На вопрос, был ли почтальон, вполне удовлетворителен ответ «был»; если вы спросите садовника, «можно ли мне полкило клубники?», слово «можно» выражает вежливое согласие. И никто не пользуется этим удобным свойством столь умело, как Сергей Михайлович. Лишь однажды он оказался в затруднении, когда я оторвала его от подвизывания поми-

доров, попросив подойти и взглянуть на Антона в коляске. Он подошел со свойственной ему готовностью, быстро заглянул в непроницаемое личико ребенка, кивнул, улыбнулся, так как какой-то ответ от него несомненно ожидался, и с видимым облегчением поспешил к своим томатам.

Лариса Андреевна может быть говорлива, если ею овладеет такое настроение, и всегда умеет подать реплику. Я прожила в ее доме десять летних сезонов, один за другим, находясь с ней в тесной близости по два дня в неделю и по целому месяцу во время ее ежегодного отпуска. Я так же свыклась со стрекотом ее швейной машины, как она с треском моей пишущей; она знает, когда я стираю и когда не стираю, потому что мне приходится одалживать у нее корыто; и я знаю, что она красит волосы, потому что она делает это во дворе. И, однако, мы инстинктивно воздерживаемся от большей близости, редко одалживаем друг у друга такие простые вещи, как чашка или почтовая марка, или просим о самой пустячной услуге. Мы встречаемся, здороваемся, говорим о погоде и о цветочных клумбах; во время ее месячного отпуска у нас были многочасовые беседы, когда мы поверяли друг другу саги наших рождений, смертей и браков, но любопытство Ларисы Андреевны, как бы оно ни было огромно, легко удовлетворялось оглавлением, и мне до сих пор страстно хочется знать, что скрывается за ее улыбками и многообразными масками.

Воскресное утро оказалось не из тех, когда дневной свет заливает весь дом, стоит только приоткрыть двери. Воздух был плотен, и хотя дождь, по сути, уже прошел, ясно было, что он кончился только-только и очень скоро начнется вновь. Но неутомимая пара уже трудилась среди фруктовых деревьев и цветочных клумб, прикрывая землей кору яблони, словно пораженной артритом, от которой на прошлой

неделе они тщательно убрали ее естественный покров опавших листьев. Для чего? – думаю я. Лариса Андреевна, которая прекрасно выглядит в сероватых джинсах и свитере с высоким воротом, выкапывает кусты клубники и высаживает их редкими, скорбными рядами. Она смотрит на меня и приветствует благожелательным восклицанием «Доброе утро!», вспыхивая двумя рядами крепких зубов, столь же белых и устрашающих, как зубы мистера Каркера²⁵. Я отвечаю ей, пытаюсь, как могу, подражать ее интонации, но зубы свои держу при себе. Сергей Михайлович завязывает шнур вокруг укрытого материей дерева. Его мне хочется поприветствовать, и я говорю что-то о том, как солнце не сдержало своих обещаний, просто чтобы принудить его к медленной, мягкой улыбке, мягкому, глубокому взгляду. «Не сдержало», – говорит Сергей Михайлович, источая доброжелательность. Он ждет, пока я пройду, чтобы вернуться к работе.

Уборная возвышается, как будка часового, между кучей компоста и глубокой ямой, образованной двадцать пять лет назад взрывом немецкой гранаты; она никогда не пересыхает и никогда не переполняется, и владельцы дачи используют ее как удобное хранилище воды для полива клубники и помидоров. Компост теперь покрыт садовым мусором и опавшими листьями, скрывшими от взгляда мерзкое содержимое кухонных ведер; вездесущий вьюнок укоренился на верху кучи, у дальнего ее края, и взбирается теперь на стену уборной.

Тяпа погнался за крысиным хвостом, высунувшимся из компоста; всю прошлую неделю пес каждое утро пытался поймать его, но и теперь никак не может найти точку опоры в куче листьев и вынужден отступить. Муж и жена деликатно отошли на другой конец сада, потому что от внутренней стороны двери уборной оторвалась ручка и теперь ее нельзя

закрывать до конца. Без их деловитого присутствия сад выглядит беднее и печальнее; немногие астры и георгины, склоняющиеся над спутанными сорняками, как половые щетки, скорее наводят тоску, чем радуют взор; не слышно и пения птиц. Не о чем и петь. «Одинокий», «брошенный» – вот, кажется, единственные слова, которые применимы к саду и ко мне. Но когда пальцами, жесткими, как дверные петли, я тяну на себя дверь, из темноты мне кивают пестрыми головками три вьюнка, как пятна света во тьме.

Возвращаясь в дом, я останавливаюсь на миг, услышав несколько резких нот, прозвучавших во влажном воздухе. Глупенький дрозд, думаю я с жалостью, ему бы давным-давно уже быть в Пакистане. Ноты повторяются, громкие и случайные, – это всего лишь мальчишка свистнул на дороге.

И все же сердце мое забилось веселее, и весь день я вспоминаю три вьюнка. Я знаю, что они завянут и опадут на следующий день – у цветка вьюнка нет завтрашнего дня, но я насчитала девять остроконечных почек на стебельке. Нескольких солнечных дней и света, просочившегося сквозь неплотно пригнанные доски, хватит, чтобы росточки могли просуществовать все то время, что мне осталось пробыть на даче. Каждый раз, как я прохожу мимо хозяйки и ее мужа, я задаю себе вопрос, заметили ли они этих ярких гостей. Но ни слова не сказано по этому поводу, и я, не в силах сдержаться, спрашиваю Сергея Михайловича, который обрезает веточки и побеги на вишне, видел ли он их.

Как обычно, он выпрямляется и смотрит мне в глаза. «Видел».

А на следующий день, когда я прохожу по садовой тропинке и открываю дверь уборной, меня встречают мрак и запустение. Я погружаю пальцы в щель и извлекаю кусочек бледно-зеленого стебля, который, очевидно, был обрезан с другой стороны. Только тогда я вспоминаю, как замер лязг

садовых ножниц, когда я проходила мимо Сергея Михайловича, и понимаю, что это я предала вьюнок этим ужасным лезвиям. О женский язык, всегда готовый поведать о своей любви! О любви, о которой следует молчать.

Я не встретила ни одного из них до самого вечера, когда Сергей Михайлович вышел из дома, одетый по-городскому, оставив открытой дверь для жены, которая была еще в доме.

– Сергей Михайлович, – спросила я его, – зачем вы срезали *convolvulus*? Он скрашивал мое одиночество. – В волнении я употребила английское, в сущности латинское, название, но, будучи садовником, он понял меня. Вновь вежливый кивок, легкая улыбка, насмешливо приподнятая бровь и глубокий-глубокий взгляд. Весь набор трюков. Но он больше не работает. Я чувствую себя так, как, наверное, чувствовал Иона, когда Господь произрастил растение и оно поднялось над Ионою, чтобы над его головой была тень, а на следующее утро послал червя, чтобы тот подточил растение и оно засохло, а потом спокойно спросил Иону: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?»²⁶. Как Иона, я могла бы ответить: «Очень огорчился, даже до смерти».

Лариса Андреевна, выйдя из дома, повторила с упреком, закрывая и запирая за собой дверь: «Он скрашивал ей одиночество». И тепло улыбнулась мне. Впервые за все время.

– Зачем он это сделал? – спросила я.

Она пожала плечами.

– Спросите у него. *До свиданья, Айви Вальтеровна.*

Над страницами
своих рассказов



Айви Вальтеровна с внучками



За работой. Лондон

ДА, ЭТО ДАНИИЛ

Одна из четырех лопастей вращающейся двери ланч-бара на Оксфорд-стрит вытолкнула даму к высокому табурету у стойки. Любезным, но не допускающим возражений тоном она заказала чашку черного кофе и сэндвич с сыром, положила на стойку роскошно изданную книгу карманного формата, облокотилась на нее довольно острым локотком, подперла чересчур острый подбородок ладонью и стала разглядывать улицу сквозь окно. Бармен Фред, отнюдь не введенный в заблуждение ее тщательно отработанной, сияющей улыбкой, решил, что ей лет пятьдесят, ни больше ни меньше, но прежде чем он успел как следует к ней приглядеться, она уже вскочила с табурета и снова была на улице. Минуту спустя она вернулась, ведя за собой джентльмена в пальто из верблюжьей шерсти. Вдвоем они прошествовали к брошенной книжке, полной чашке кофе и нетронутому сэндвичу и, прислонившись к стойке, завели громкий душевный разговор, словно бы, как с неодобрением подумал Фред, помещение принадлежало им одним. Фред ждал, скрестив руки, среди своих алхимических приборов, но второго заказа не последовало; у джентльмена не было ни минуты времени, и они продолжали стоять, изливая друг другу душу, пока всем в баре не стало известно, что ее зовут Джейн, а его Дэн и последний раз они виделись в отеле «Метрополь» в Москве двадцать пять, нет, двадцать шесть лет назад. Мужчина, Дэн, торопился на встречу, на которую уже опаздывал, когда Джейн выхватила взглядом через окно его

лицо и плечи. Фред видел теперь, что у него добрые умные глаза и слабые лицевые мышцы. Джейн осталась одна, допила свой остывающий кофе, откусила от сэндвича, расплатилась у стойки и выскочила из бара.

На улице Джейн на мгновение остановилась, чтобы взглянуть на свое отражение в зеркале, выставленном в витрине мебельного магазина; фигура ее, подумала она, была хороша, как всегда, но не лицо; несмотря на постоянный массаж, зарождающийся мешочек под слишком острым подбородком был покрыт паутинкой морщинок, и еще ей казалось, что с каждым днем ее глаза и рот проваливаются все глубже, становясь все ближе к костям черепа. Ей не удавалось вспомнить свое лицо двадцать шесть лет назад, хотя она точно помнила, как была одета в тот день, когда встретила Дэна в Москве. Капризным движением она отвернулась от зеркала и направилась дальше, спрашивая себя, чего ради она устремилась к Фортному и Мэйсону¹ за апельсиновым чаем для человека, который, вероятно, предпочитает кофе. И почему, в конце концов, она позвала Дэна на завтрак? Разве ланч не был бы удобнее для обоих? Она прекрасно знала почему – каждый день к ланчу возвращалась Оливия, а Джейн хотела, чтобы Дэн принадлежал только ей.

Чайник, тонкие ломтики бекона, клинышки тостов на фарфоровой решетке уже с полчаса стояли на плитке; сама Джейн была готова уже час назад – бледный свитер и песочного цвета брюки, помолодевшие (как она надеялась) кожа и волосы. Но прежде чем в ней успело накопиться раздражение, за стеной остановился лифт и колокольчик на двери задергался, движимый неумелой рукой.

Дэн стоял в дверном проеме с шляпой в руке, переводя взгляд с голубых тарелок на шкафу на бархатцы в фаянсо-

вой вазе кремового цвета, пока Джейн не попросила его повесить шляпу и поставить кейс.

– Не стой тут и не разглядывай этот хлам, ты заставляешь меня нервничать. Все досталось мне из Суффолка, после смерти последней моей тетки.

– И даже эти старинные английские обои?

Джейн объяснила, что шпалеры в цветах на стенах и колокольчик на двери были неудачной задумкой декоратора; она давно собирается избавиться от них.

– Я побелю эти стены, сделаю их белыми с голубоватым оттенком.

Но Дэну обстановка нравилась такой, какая есть – Маленький Домик в Аллингтоне, что в Блумсбери².

– Теперь я знаю, что представляет собой Блумсбери.

Джейн возразила ему, что ничего он не знает: Хэндел-стрит это не тот Блумсбери, о котором он думает.

– Писатели здесь не живут – если только не считать писательницей меня, – Вирджиния³ бы меня к ним точно не причислила.

– Я не знал, что ты писательница, Джейн.

– Я веду колонку для женщин в журнале.

– Миссис Одинокие Сердца!

Когда же Джейн попыталась вытянуть из Дэна сведения о его писательстве, он отвечал уклончиво и, как ей показалось, погрузился. Разговор как-то переключился на игру в скрэббл; Дэн, как оказалось, всегда оставлял место для складной доски в чемодане или рюкзаке и часто играл правой рукой против левой в ночные часы в номерах отелей. Джейн предпочитала анаграммы⁴; она находила, что они лучше, чем скрэббл, снимают напряжение, и для них не надо ни искать карандаш, ни составлять утомительные колонки цифр. Она достала коробку со словом «Анаграммы», написанным на крышке ложноготическим шрифтом. Дэн

был поражен сумасшедшим проворством, с каким она откинула крышку секретера восемнадцатого века и извлекла из ящичка не доверху наполненную бархатную сумочку. Резкий стук, с которым она вытрясла содержимое сумочки на крышку, напомнил Дэну, выросшему в деревне, звук орехов, высыпаемых на пол сарая. Джейн объяснила простые правила игры в анаграммы, но Дэн не был убежден, что выкладывать слова из букв сверху вниз такое уж расслабляющее занятие. Они сыграли одну игру, за ней другую, когда дверь распахнулась и крепко сложенная молодая женщина влетела в комнату с хозяйственной сумкой, свисающей с одной руки, и с лилией в горшке, которую она прижимала к груди. «Оливия, – воскликнула Джейн, – иди сюда и поздоровайся с Дэном». Молодая женщина проследовала мимо Дэна к узкой дощатой двери за его стулом, и его любезная попытка взять из ее рук сумку осталась не более чем бесцельным движением в воздухе. Она зашвырнула сумку за дверь и вернулась в комнату, держа горшок в вытянутых руках. Серебристый колокольчик лилии вздрагивал в такт ее резким движениям, а тугая гляцевитая чашечка цветка отбрасывала зеленый отблеск на широкое лицо женщины с заметными морщинами – не такое уж, в конце концов, и молодое.

– Иди сюда, поздоровайся с Дэном, – повторила Джейн уже менее сладким тоном.

Даже не взглянув на нее, Оливия убрала газеты и журналы со столика в эркере и поставила на него горшок.

– Оливия большая почитательница «Красных пастбищ», – сказала Джейн. В ее словах послышалась увещательная нотка, очевидно, специально предназначенная Оливии, которая наконец произнесла «О, привет!» и протянула крепкую ладонь гостю, но отдернула ее, прежде чем Дэн успел ощутить тепло ее пожатия.

– Правда, славно, Джейн? – спросила она. – Разве это не абсолютное совершенство?

Прищурившись, Джейн изучила композицию:

– По-моему, совершенно очевидное решение.

Оливия вспыхнула до кончиков ушей и подняла горшок, отчего плотная блестящая головка цветка закачалась из стороны в сторону, а узкие зазубренные листья задрожали.

– Куда мне его деть? – пролаяла она. – В водосточную трубу? Вон из окна?

– Поставь его где хочешь, – пролаяла в ответ Джейн.

Дэн почувствовал себя, как Человек-невидимка, и уже подумывал, не лучше ли ему незаметно ускользнуть, как Джейн внезапно вспомнила о хороших манерах.

– Где доска для скрэббла? – спросила она. – Дэну не нравятся анаграммы.

Не обращая внимания на уверения Дэна в том, что ему действительно пора уходить, Оливия прошествовала к шкафу, подняла крышку необъятной серебряной супницы, стоящей на нем, и погрузила руку в ее глубины. Оттуда на свет появилась плоская металлическая коробка.

– Дорожный скрэббл! – воскликнул Дэн.

Рука Оливии вновь погрузилась в супницу и извлекла оттуда замшевую сумочку, которую она швырнула Джейн. Джейн ловко поймала ее и вручила Дэну.

– Так что насчет моей книги? – робко запротестовал он, при этом, однако, развязывая шнурки сумочки и нащупывая в ней крохотные пластинки, подобно пилигриму, перебирающему четки внутри своей сумы.

– А, так вы пишете новую книгу? – спросила Оливия и выхватила у него сумочку. – Тогда, конечно, вам надо идти домой.

Она положила сумочку и доску обратно в супницу, но Джейн уже ставила на стол высокую черную бутылку и бокалы.

– Семь новых бесов хуже, чем один прежний, – сказал Дэн. Джейн наполняла бокалы под пристальным, хотя и бессознательным, наблюдением Дэна и Оливии.

Дэн не особенно ловко чувствовал себя в обществе двух женщин и бутылки вина. Он откинулся в кресле и поведал о своей проблеме. Он оказался неспособен соответствовать большим ожиданиям, которые породил успех его «Красных пастбищ». Писательский тупик.

– Нам не надо спрашивать, пробовал ли ты психоанализ.

Эти слова произнесла Джейн, но Дэн переводил взгляд с одной женщины на другую, как будто они были сказаны обеими. Он рассказал им, что пробовал всё, от гипноза до групповой терапии; он пытался жить один и жить не один. Дамы пожелали узнать, означает ли «жить не одному» брак.

– Необязательно, – отвечал он. Одна американская приятельница пригласила его на свое ранчо в Аризоне, чтобы там он мог поработать над книгой. Она предоставила ему длинную комнату, стены и потолок которой были обшиты коричневыми лакированными досками, как внутри горного приюта для лыжников в швейцарских Альпах.

– Или как в купе поезда-экспресса, – предположила Оливия.

– Иногда я чувствовал себя как последняя сигара, оставшаяся в коробке с закрытой крышкой.

Женщины засмеялись его шутке; в их смехе был, пожалуй, избыток сочувствия.

– Похоже, обстановка была не слишком стимулирующей, – поспешила сказать Джейн, чувствуя, что их смех был бестактным. – На фоне вертикальных планок картины книжные полки и все прочее должны выглядеть ужасно.

На стенах не было никаких картин, только портрет Брэнды стоял на письменном столе. Брэнда полагала, что он послужит стимулом – ее дух побудит его к работе.

– И он побудил?

Нет. Творческий порыв случился у Дэна лишь однажды, когда его изгнали из дома и ему пришлось поселиться в комнате в местном баре, чтобы освободить место для знаменитого композитора, который, прожив там две недели, не сложил ни ноты. Дэну не хотелось возвращаться в идеальный кабинет, его вполне устраивала комната в баре, под которой располагался гараж, куда целый день въезжали и откуда выезжали машины. Все это было ему больше по сердцу, чем единение и совершенство, созданные ему Брэндой.

– Как студия в мансарде, которую Джейн Карлайл создала для Томаса⁴, – заметила Джейн.

– Я думал о студии, которую Мэри Хемингуэй создала для Эрнеста, – сказал Дэн. А Оливия заметила:

– Мне это напоминает «Урок мастера»⁵.

Все это было хорошо понятно Джейн; некоторые из своих лучших вещей она создала, сидя на кровати и поставив машинку на тумбочку в каких-нибудь отелях в маленьких городках, в номерах, выходящих на деловую главную улицу. «Можно писать где угодно, если тебе поставлен срок».

Оливия читала в «Ридерс Дайджест» или где-то еще, что писателям не следует печатать на машинке: стук клавишей возбуждает в клетках мозга вибрации, препятствующие мысли.

– Не прерывай его, – сказала Джейн.

– Ты сама начала, – ответила Оливия, и снова Дэн почувствовал себя здесь лишним. Но обе они одновременно смирили свой нрав и попросили его продолжить рассказ. Они сказали, что это ужасно, захватывающе интересно.

Он рассказал им, как сидел за письменным столом, утро за утром, день за днем, неделя за неделей...

– Месяц за месяцем, – быстро встала Оливия. – Ну ладно, расскажите нам, что вы написали.

Рассказывать особенно было нечего. Написанное в один день уничтожалось на следующий; много раз придумывалось и затем отвергалось новое начало. Бывали дни, когда ему едва хватало сил снять чехол с пишущей машинки; он уходил на прогулку, возвращался ради новой попытки, тайком играл в скрэббл. Труднее всего было спрятать доску для скрэббла от Брэнды, которая бывала страшна в гневе. Часто ему не хватало сил подняться и сделать глоток апельсинового сока. Удивительно, как пропадал всякий вкус к апельсиновому соку, хотя требовалось лишь достать кувшин из холодильника. Ну, совершенно никакого удовольствия.

– Одно время ходили слухи, что ты отправился на войну в Испании, – сказала Джейн, наполняя его бокал.

– Я собирался, я даже начал учить испанский, но Бренда решила, что не закончить работу над книгой после стольких принесенных жертв будет сродни дезертирству.

– Жертв?

– Да, знаешь ли, то, что она прожила на ранчо ради меня целый год, и все ее хлопоты и расходы...

– И вы так и не закончили книгу? – спросила Оливия, и обе они были удивлены, услышав, как Дэн ответил, что нет, он ее закончил. Он снова съездил в Советский Союз, посетил еще много колхозов и заводов, и этот опыт дал ему наконец толчок к завершению рукописи. Но его литературный агент ничего не смог с ней поделывать: времена изменились, и спрос на восторженные описания жизни в эпоху коллективизации исчез. Все требовали от него, чтобы он написал автобиографию – ведь какие приключения были в его жизни, с какими людьми он водил знакомство. Но Дэну так и не удалось продвинуться дальше первой фразы: «Я родился в городе Дулуте в 1902 году, как, впрочем, и немалое множество других людей».

Джейн и Оливия сочли это отменным началом книги. «Другие тоже», – сказал Дэн и рассказал, что в прошлом году он встретился с одним английским издателем, приехавшим в Нью-Йорк; тот был большим почитателем «Красных пастбищ» и предложил Дэну работу в американском отделении своего издательства и договор на новую книгу. Потому-то он сейчас и оказался в Лондоне.

– А как вы очутились в прошлом году в Нью-Йорке? – спросила Оливия. – Я так поняла, что вы должны были оставаться в Аризоне, пока не закончите свою книгу?

– Так оно и было задумано, но, поскольку ничего из этого не получалось, Брэнда решила, что мне полезно пожить впроголодь.

Дэн ушел, не оставив номера своего телефона, потому что телефон был в комнате Селины, а Селина просила никому не давать этот номер. Они узнали, что Селина была хозяйкой квартиры на улице, выходящей на Фулхэм-роуд, где он сейчас обретался. Он обещал им позвонить через несколько дней и сообщить, как идет работа над книгой.

Как только звук пришедшего в движение лифта объявил, что их гость спускается вниз, обе женщины бросились наводить в комнате порядок, подобно муравьям, обратившим в бегство чужака. Бутылка, бокалы, тарелки были изгнаны прочь, словно свора провинившихся собак, ковер вычищен пылесосом, пока на его ворсистой поверхности не осталось ни крошки, и в мгновение ока комната вновь обрела свое обычное состояние холодного уюта. Джейн откинулась на спинку дивана, имевшего очертания человеческой почки; оттуда в зеркале на стене она могла видеть свое отражение, более польстившее ей, чем то, которое она изучала в витрине мебельного магазина. Элегантный анахронизм узких

брюк и свитера на фоне бледной парчи подействовал на нее умиротворяюще, сигарета, которую она вытащила из стаканчика для бритвы, стоящего на медной каминной решетке, не внесла диссонирующей нотки, а последний номер журнала «Вог» был во всех отношениях у себя дома на столике с изогнутыми ножками. «Оставь посуду миссис Кью!» – крикнула Джейн, откликаясь на звяканье тарелок в мойке. Крикнув в ответ, что она уже покончила с мытьем, Оливия вышла из кухни, вытирая руки о полосатый фартук, который она аккуратно повесила на спинку стула. Она устроилась в конце дивана, приподняв скрещенные ноги Джейн, а потом, уже усевшись, мягко опустила их на подол своего платья. Джейн протянула ей сигарету, и они некоторое время сидели и курили в молчании.

– Дэн оказался таким, каким ты его себе представляла? – спросила Джейн, поняв, что Оливия не воспользуется шансом начать разговор.

– Я о нем никогда и не думала, – прошипела Оливия.

– Ну, ты знала о нем из моих рассказов.

– Ты рассказывала только, что перепечатывала его рукопись в отеле «Метрополь» и что, когда «Красные пастбища» вышли в свет, он так и не прислал тебе экземпляра. Ты была в него влюблена и любишь его и сейчас.

– Нет, – твердо ответила Джейн. – Но я хотела бы помочь ему закончить книгу. Ты не думаешь, что *мы* могли бы создать для Дэна нужную обстановку? Я уверена, что Селина не годится. Эта комната на улице, выходящей на Фулхэм-роуд, по-моему, немислимый притон. Не мог бы он работать в твоей комнате, пока ты у себя в офисе? А я бы перед уходом готовила ему завтрак.

– Следуя по стопам Брэнды и Селины.

– Я была первой, – сказал Джейн. – Это я печатала «Красные пастбища».

– Все женщины подобны Суламифи, которая устроила горницу для пророка над стеной своего дома и поставила туда ложе, и стол, и стул и зажгла там свечу⁶.

– И пророк был очень рад, он остался там.

– Он скоро снова ушел. Ты могла хотя бы дать ему свою фотографию, чтобы он повесил ее над письменным столом у себя на Фулхэм-роуд; только я боюсь, Селина взорвется.

Именно это и сделала Джейн, как только Оливия отвернулась; она вытащила из рамки свое фото, которое, как она считала, дает о ней верное представление, и приклеила его лентой на внутреннюю сторону крышки коробки с анаграммами.

Однажды Оливия повстречалась с женщиной, которая знала о Дэне гораздо больше, чем обе подруги. Ее звали Патриция Гаррис, она руководила литературным агентством с новым направлением: она писала автобиографии для разных знаменитостей и брала половину гонорара, если удавалось продать рукопись издателю. Джейн помнила некое агентство «Пат и Гаррис».

– Я знала Гарриса, но никогда не видела Пат.

– Так вот, теперь она зовется Патриция Гаррис, а никакого Гарриса как будто больше вообще не существует. Все было не совсем так, как рассказал нам Дэн. Дело в том, что Пат останавливалась на ранчо, расположенном недалеко от ранчо Брэнды (по масштабам Аризоны), и работала там над биографией пробочного короля. И Брэнда подумала, что будет неплохо, если Патриция поможет Дэну написать его автобиографию.

– Это оскорбление! Неудивительно, что он удрал оттуда!

– Вовсе нет, ему это пришлось по душе, это сама Брэнда на смогла переварить этой идеи.

– Ты хочешь сказать, что она ревновала?

– Конечно, ревновала.

– Так значит, она дала Патриции отставку?

– Ни в коем случае. Она сказала, что, по ее мнению, Дэну следует поработать самому. А Патриция может заняться автобиографией *самой Брэнды*. И конечно, единственным подходящим местом, где они могли бы работать, был кабинет Дэна. Брэнда была готова помочь Дэну устроиться где-нибудь в другом месте, предпочтительно в Нью-Йорке, где он мог бы установить контакты с издателями. И получилось так, как и говорил Дэн, – он не мог найти никого, кто взглянул бы на его рукопись в Нью-Йорке, и поэтому он поехал в Лондон с этим английским издателем.

Неделю спустя Джейн, поздно вернувшаяся с приема в Клубе писательниц, была встречена Оливией словами:

– Никогда не догадаешься, кто заходил!

– Кто? – холодно спросила Джейн, хотя по торжествующему блеску глаз Оливии она сразу догадалась, что это был Дэн.

– *Он!* Он спрашивал тебя, но я предложила себя на замену, и он как будто не возражал.

– Ради Бога, кто этот *он*?

– Будто не знаешь! Он принес назад ящичек с анаграммами. Завернутый точно так, как и был. Он сказал, что через неделю уезжает из Англии и очень не любит возить с собой вещи. Думаю, он его и не открывал.

– Он возвращается в Аризону?

– Я спрашивала его, и он весьма решительно ответил: «Нет, нет!» Я думаю, он потерял работу.

Джейн смертельно хотелось узнать, находится ли ее фото по-прежнему на внутренней стороне крышки ящичка с анаграммами, но она небрежным движением бросила сверток в секретер и дождалась, пока Оливия выйдет, чтобы купить что-нибудь к ужину, прежде чем снова взяла его

в руки. В мгновение ока она распаковала ящик и, еще не открыв крышку, смотала бечевку в аккуратное кольцо. Внутри не было ничего, кроме четырех блестящих следов в тех местах, где была наклеена липкая лента. В конце концов Дэн, очевидно, раскрыл сверток и взял ее фотографию. «Что он с ней сделал?» – подумала она.

Дэн исчез, как камень, брошенный в колодец. Джейн ловила слухи о нем на литературных вечерах и уикендах, но все они были неубедительны. Одни говорили, что он вернулся в Аризону, но Оливия снова повстречала Пат Гаррис, и та рассказала ей, что Брэнда сейчас увлечена одним молодым скульптором-абстракционистом. Другие слышали, что Дэн в Москве преподает базик-инглиш в рабочем университете, но Джейн знала, что в Советском Союзе базик-инглиш рассматривается как часть империалистической пропаганды, а для преподавания там теперь требуется диплом колледжа и доскональное знание всех шести форм инфинитива. Она была уверена, что Дэн не удовлетворяет ни одному из этих требований. Слух о его согласии занять в Дулуте место умершего отца казался более правдоподобным. Джейн полагала, что из Дэна мог бы получиться прекрасный священник; многие люди приходили бы к нему за помощью и оставались бы, чтобы помочь ему самому, а помощь другим людям приводит американцев в отличное настроение, и в этом, как думала Джейн, и состоит обязанность священника – на втором месте после обязанности заставить их чувствовать себя несчастными грешниками.

Подруги почти перестали вспоминать о Дэне, после того как Джейн овладела идеей, близкая им обеим, а именно ободрать обои в гостиной и вернуться к побеленным стенам (разумеется, с голубоватым оттенком). Некоторая холодность в отношениях возникла между ними, ког-

да Джейн в поисках чистого носового платка наткнулась в ящике с бельем Оливии на свою фотографию, которую она посылала Дэну. Ей уже пару раз во время ночной бессонницы приходила на ум ужасная мысль, что это Оливия, а не Дэн, открыла ящичек и извлекла оттуда ее фото, и теперь она убедилась в своей правоте. Но перемены в облике их гнездышка были настолько важны обоим, что раздоры временно поутихли.

Джейн слышала об удивительной маленькой женщине, которая приходила в вашу комнату и проводила в ней целый день, чтобы впитать в себя атмосферу помещения, прежде чем поставить стенам диагноз. Она смешивала краски сама и имела своего собственного штукатура; говорили, что она весьма разумна. Оливия полагала, что лучше доверить работу одной из крупных фирм, не стоит охотиться за каким-то дилетантом из джунглей (чудесная маленькая женщина обитала в одном из новых кварталов за городской чертой Лондона), и в конце концов им требовалось всего лишь побелить стены. Джейн знала, что маленькая женщина отнюдь не дилетант и что она выполнила прекрасную работу для ее знакомых; а белый цвет один из самых коварных; крупные фирмы превратят комнату в Идеальное Жилище, и их люди, если за ними недосмотреть, всегда добавляют слишком много голубой краски, так что из помещения получается больничная палата. Стены – Джейн не раз имела случай напомнить об этом своим читательницам, когда на рынке появлялась новая краска или вид обоев, – это самая важная деталь комнаты, и у нее даже появилась надежда извлечь из маленькой женщины материал для своей рубрики (кто знает?).

Кончилось тем, что Оливия поехала за город в поисках маленькой женщины, но той не было дома; это, однако, не помешало Оливии рассказать, вернувшись, кучу всякого

вздора. Когда никто не отозвался на ее звонок, она заглянула в окно на первом этаже и обнаружила уютную гостиную. На камине расположились фарфоровые статуэтки, в углу дедушкины часы, ковер выглядел и в самом деле хорошим, а в другом углу стояла огромная ваза из слоновой кости, заполненная чертополохом. В комнате было два стола, один стоял у стены, а на нем зачехленная пишущая машинка и кипа бумаги; на другом столе, стоявшем под самым окном, Оливия, поднявшись на цыпочки, смогла разглядеть плоскую металлическую коробку и замшевый мешочек с распущенным шнурком. Оливия была уверена, что кроме этих знакомых предметов в коридоре, хорошо видимом сквозь открытую дверь, висело пальто из верблюжьей шерсти.

– Это все? – спросила Джейн.

– Не совсем. Я уверена, что в холле, рядом с вешалкой, я видела ручку детской коляски.

– Полно, Оливия!

– Ты хочешь сказать, что не веришь мне?

– Я поверила в вазу с чертополохом и в фарфоровые статуэтки, но ни на секунду не поверила в доску для скрэббла; после этого стало ясно, что ты зашла чересчур далеко и выдала себя.

– Я хотела только посмешить тебя.

– Ты перестаралась. Я сразу поняла, что детская коляска это неправда.

– Откуда ты могла знать?

– Я знаю Дэна.

– Когда-нибудь какая-нибудь женщина покажет тебе, что ты ошибаешься.

– Может быть, это будешь ты. Стоит подождать еще двадцать пять лет, чтобы посмотреть, как ты будешь толкать коляску в Кенсингтон-гарденс.

– Через двадцать пять лет нам будет по семьдесят пять.

Для двух пятидесятилетних женщин эти слова значили не больше, чем для девушки семнадцати лет. Они просто не могли представить себя в семидесятипятилетнем возрасте, как большинство людей не могут представить себя мертвыми.

В тихой заводи Блумсбери перемены и упадок были менее заметны, чем в других местах Лондона. Заборы, заклеенные рекламными призывами выпить чашечку чая или кружку «Гиннеса», скрывали места падения бомб, и дикие вьюнки пробивались за изгородью сквозь навороченные камни; но потом пришли люди с бульдозерами и кранами и в один день снесли заборы и увезли камни вместе с вьюнками. Лишь упорные кусты крапивы продолжали произрастать во все время строительства; дамы больше не приезжали из предместий, чтобы обменять романы у Мьюди⁷, который наконец уступил в конкурентной борьбе более современным библиотекам, раскинувшим свои отделения по всей Англии. Австрийские официанты в Венском кафе уже не вставали нехотя, отрываясь от игры в шашки в задней части зала, чтобы обслужить посетителей, следующих из Британского музея, – все они были интернированы во время Первой мировой войны, которую в то время наивно называли Великой войной. Но ланч-бар на Оксфорд-стрит, из окна которого Джейн увидела голову и плечи Дэна, стоял непоколебимо, он лишь слегка уступил духу времени, вдруг включив пластик в свой интерьер.

В последующие годы события в жизни Джейн и Оливии происходили во все более стремительном темпе. Сначала у Оливии был нервный криз и она провела десять месяцев в больнице. Когда она выздоровела, Джейн отвезла ее долечиваться к своему холостому брату Хилари, который был викарием в Девоншире. Оттуда, ибо чудеса никогда не пре-

кращаются, Оливия вернулась помолвленной с Хилари. Детской коляски в Кенсингтон-гарденс не появилось, но союз этих двоих представлял собой вполне нормальный образчик супружеской жизни; во всяком случае, Хилари теперь питался и одевался лучше, чем когда-либо в своей жизни.

Раньше именно Оливия следила за мелочами быта; она возобновляла подписку на библиотеку «Таймса» и в клубе «Книга месяца», и она же записывала Джейн на сеансы в салонах красоты. После ее дезертирства Джейн уже не так регулярно занималась своей кожей, мыла голову дома, а на маникюр ходила только тогда, когда ее ногти начинали ломаться от ударов по клавишам пишущей машинки. Теперь, если ей хотелось что-нибудь почитать в постели, она скользила взглядом по полкам, где книги, привезенные ею из дома, а также небольшое собрание, купленное у букинистов, когда она впервые появилась в Лондоне, терпеливо ждали своего часа. В ее голове украдкой начал свивать гнездо девятнадцатый век, и теперь, когда незнакомые ей женщины писали ей, обращаясь за советом и помощью (на самом деле желая, как ей было известно, облегчить свою душу), она сравнивала их с неудовлетворенными героинями романов и мемуаров девятнадцатого века. Если Дэн не был истинным Дэном, то не стала ли она сама новой Джейн Карлайл, лелеющей свою обиду на вечно хмурого мудреца, которому посвятила жизнь?

Прошли еще годы, и книга Дэна вышла в свет, тоненький томик с широкими полями, большинство страниц которого содержали причудливые описания эксцентричных родственников: «Мой отец», «Бедный старый дядя Джо, который играл на флейте», «Кузина Иззи», величавая бабушка Перкинс, носившая парик и румянившая щеки до последнего дня своей жизни. Все остальное представляло не более

чем пересказ «Красных пастбищ». Это была Книга Месяца; обозреватели с трудом сдерживали зевоту, а издатели пытались поправить дело такими заголовками, как «Проза, проникнутая чувством» (Скотс Нейшнл Обсервер), «Ностальгическая проза» (Глазго Геральд), «Живые воспоминания о начале коллективизации в Советском Союзе» (Нью Репаблик).

Джейн увидела Дэна год спустя на презентации автобиографии еще одного нового писателя. Входя в зал, она услышала, как одна женщина говорила другой: «Если бы кто-нибудь смог создать ему подходящие условия...» Джейн посмотрела туда, куда смотрела говорившая, в сторону низенького стола, уставленного бутылками и стаканами, в эркере гостиной издателя. Среди сидевших за столом выделялись две фигуры; один, очевидно, виновник торжества, был человек еще молодой, но уже с опустошенным лицом и тревожным взглядом из-под косматых бровей; другой был Дэн, развалившийся, почти улегшийся, в глубоком кресле. Дрожание подвесок хрустальной люстры, висевшей посреди потолка, самым немилосердным образом отражалось в уголках его водянистых глаз. Пока Джейн рассматривала его, добродушный джентльмен подошел к столику и положил руки на плечи обоих писателей.

– Когда же следующие книги, мальчижи? *Follow up, follow up, follow up, till the field ring again and again!*¹⁸. Это секрет успеха, мальчижи!

Вымученные улыбки писателей потрясли Джейн до глубины души. На цыпочках она вышла из зала. Дома у нее была назначена встреча с декоратором, ибо она наконец решилась убрать колокольчик с двери и перекрасить ее.

АСФОДЕЛИ В САДУ

Выглянув из-за журнала, прислоненного к тостеру, Амабель осмотрела лица сидевших за столом. Этим воскресным утром все в Лондоне были мирно заняты едой и питьем, и она понадеялась, что они не откажутся поддержать беседу. И вот, ударив суставом пальца по загнутой уголкем странице, она произнесла:

– Здесь пишут, что, если люди не ведут с кем-нибудь разговора, они обязательно разговаривают сами с собой.

Чарльз поднятием брови в сторону матери обозначил любезный ответ. Дороти поставила чашку и с неожиданной энергией заявила, что это совершенная правда, по крайней мере поскольку это касается ее: иногда она хочет и не может остановиться. Их пятнадцатилетняя дочь Цинтия сказала:

– Гемма¹ всегда говорит с собой, когда она одна. Да, гемма. Сегодня утром твоя дверь была открыта и, проходя мимо, я слышала, как ты говоришь: «Ну куда же вы задевались на этот раз, хотела бы я знать?»

– Я говорила не сама с собой. Я говорила со своими туфлями, – парировала Амабель. Она повернулась к Чарльзу. – Тут говорится, что каждый ведет нескончаемый диалог с собою.

– Как миссис Блум², – сказала Дороти.

Амабель подумала, что их разговор еще более бессвязен, чем непрерывный поток воспоминаний миссис Блум.

– Скорее как мистер Блум, я полагаю.

– Я отказываюсь отождествлять себя с кем-либо из Блумов, – сказала Фрэнсис Лидделл, которая пришла дать урок музыки Цинтии, но ее уговорили выпить сначала чашечку кофе. – И откуда автор из «Сайентифик Америкен» знает, что происходит внутри других людей?

– «Остров полон голосов»³, – предложила в качестве объяснения Амабель.

– «Звуков», – поправила Фрэнсис.

Амабель вздохнула.

– «Голосов» звучит лучше. – Она зацепила уголок страницы большим и указательным пальцами и повернула ее в сторону остальных с видом адвоката, демонстрирующего присяжным Доказательство номер один. – Статья называется «Внутренняя речь», но она больше касается чтения. При обучении детей всегда подчеркивалась роль звукового элемента – как более динамичного или что-то в этом роде, но современные психологи... – Здесь Амабель начала бойко читать текст, напечатанный на странице: – ...современные психологи склоняются к мысли, что упор на слуховое восприятие может ослабить восприятие зрительное.

Дороти посмотрела отсутствующим взглядом, Фрэнсис с негодованием повторила: «современные психологи!», а Цинтия выскочила из-за стола, заявив, что пора вывести бедненького Вогса на прогулку. Услышав свое имя, сидящий скотчтерьер вдруг возник у ног Чарльза и затрусил к вращающейся двери, которую для него приоткрыла Цинтия.

В глазах Чарльза мелькнула искра, пока его мать читала, и теперь он сказал:

– Слуховое восприятие не имеет значения. Глухих можно научить читать.

– Может быть, детей следует учить читать, как если бы они были глухими, – высказала блестящую мысль Амабель,

но Фрэнсис напомнила ей, что американцы пробовали это, но результаты оказались плачевными.

– Вы сами говорили, что они вырастили целое поколение безграмотных.

– Я это говорила? – спросила польщенная Амабель.

– Никто в точности не знает, как мы распознаем символы, – сказал Чарльз. – Это одна из причин, по которой так трудно обучить чтению машины.

– Дети не машины, – возразила Фрэнсис, и Дороти тотчас же бросилась на защиту мужа.

– Чарльз и не говорил ничего подобного.

– Не знаю, как насчет машин, – сказала Амабель, – но я уверена, что *моя* память чисто зрительная.

Все три женщины были готовы немедленно заявить о своих правах в области зрительной памяти. Фрэнсис, неосторожно подыгрывая современным психологам, заявила, что никогда не помнит, сколько букв *c* и сколько *s* в слове *vicissitude*, пока не увидит его написанным. Дороти сказала, что, сдавая экзамен по медицине, должна была несколько раз написать на листке бумаги слова «психиатрия» и «шизофрения», чтобы удостовериться в их звучании. Амабель всегда испытывала желание вставить ненужное *t* в слове *bachelor*, но, сообразив, что это вряд ли является аргументом в пользу зрительной памяти, вовремя осеклась. У каждой была своя история о необыкновенной работе памяти. Дороти однажды посреди переполненного железнодорожного вокзала узнала едва знакомого человека после тридцатилетнего перерыва в знакомстве; Фрэнсис обнаружила свою бывшую воспитательницу из детского сада загорающей на пляже в Брайтоне. А у Амабель уже была готова история, гораздо более увлекательная, хотя, быть может, и менее убедительная. Она откашлялась, прежде чем приступить к великолепному началу: «Когда я была в Женеве...»

Чарльз, уже наполовину поднявшийся из-за стола в ожидании удобной паузы, чтобы удрать к программе новостей, сел снова. Когда из последующих слов Амабель выяснилось, что предстоит всего лишь новая история внезапного узнавания, он выпрямился и направился к дверям, растворив их так широко, как только позволяли петли, но придержав ногой их обратный ход.

– Постарайтесь не говорить по телефону, пока идут новости, – попросил он, переводя взгляд с матери на жену.

– А если позвонит Том? – вполголоса спросила Дороти.

– Скорее кто-нибудь будет звонить и требовать Тома, – тон Чарльза был менее любезен, чем обычно.

Несколько секунд прошли в молчании, а потом, когда зазвонил дверной звонок, все, кроме Амабель, которая его не услышала, вздрогнули. Это была всего лишь Цинтия, вернувшаяся с прогулки с Вогсом, но по выражению лица своей невестки Амабель видела, что она думает о девятнадцатилетнем Томе, который удрал из дома три дня назад и с тех пор не подавал о себе знать. Чарльз остановил резкий, тяжелый взгляд на жене, прежде чем оставить дверной проем и выйти в холл.

Фрэнсис отодвинула свой стул и встала из-за стола.

– Пора начинать урок музыки, – сказала она, – и теперь мы обе, Цинтия и я, должны в полной мере воспользоваться и слуховой, и зрительной памятью.

«И еще кое-чем, чего у Цинтии нет», – проговорил бесенок внутри Амабель. Но другой, не менее бдительный бесенок помешал этим словам вырваться наружу и стать достоянием общественности. Она подвинула тарелку, чашку и блюдо к краю стола для большего удобства Дороти, но не подумала предложить помощь в мытье посуды.

– Так о чем я говорила? – спросила она. – Ах да, Женева. Странно сказать, что единственным человеком, с которым я там подружилась, была жена германского делегата.

Как раз в этот момент Фрэнсис вернулась в кухню за очками.

– Немцы не участвовали в Лиге Наций, – отрубилла она и снова покинула кухню.

– Разве я говорила, что участвовали? – обратилась Амабель к невозмутимо хлопнувшей двери. – Это была подготовительная комиссия конференции по разоружению.

Дороти издала короткий смешок и пустила струю горячей воды на посуду.

– На чем я остановилась? – продолжила Амабель. – Ах да. Фрау фон Бернсдорф. По-английски говорила в совершенстве; некоторые думали, что она в самом деле англичанка. Она носила платья, пошитые у английского портного, и бледного цвета волнистые шали, и еще она была ужасно начитана. Мы часто встречались в книжных магазинах, и я помню ее изумление, когда она обнаружила, что я не читала «Исповедь» Руссо. Она полагала, что мне очень повезло, ибо я смогу впервые прочесть ее в Женеве. На второй сессии мы встретились, как старые подруги, и единственным стимулом для моей третьей поездки туда была надежда снова увидеть фрау фон Бернсдорф.

– Вы хотите сказать, что вам не хотелось туда поехать?

– К тому времени Женева наскучила мне до смерти – каменная унылая Женева. Фрау фон Бернсдорф и чудесные книжные магазины – это были два единственных ярких пятна.

– Но Альпы! Книжные магазины есть и в Лондоне, но здесь нет вида из окон на Альпы.

– Далеко не всегда он есть и в Женеве. Иногда Альпы не видны неделями. Однажды вечером я вышла из дома в совершенно шотландский туман, и вдруг он рассеялся, и передо мной встал Монблан, розовеющий в закатных лучах. А в другой раз... но оставим декорации. Когда мы приехали на третью сессию, я была удручена тем, что нигде не вижу

фрау фон Бернсдорф. Сначала я решила, что их делегация еще не прибыла, но граф присутствовал на открытии, а когда я спросила про нее у одной из их переводчиц, та ответила, что, как ей кажется, фрау не приедет. На следующий день я была записана к парикмахеру на завивку...

– Амабель, вы завивали волосы? – Дороти не могла представить себе гладкую голову свекрови в симметричных завитках.

– Завивала, дурочка, и ко всеобщему восторгу. Я ходила к девушке, которая причесывала также фрау фон Бернсдорф, и она сказала мне, что слышала, будто у фрау был удар. Мне ведь сразу показалось каким-то странным выражение лица переводчицы. Я пыталась встретить графа в кулуарах, но он никогда не был один, и мне не хотелось подходить к нему.

Дороти прервала ее вопросом о том, сколько лет было графине, но этого Амабель не знала.

– Она была, конечно, старше меня. Тогда мне казалось, что все старше меня.

Прервавший ее вопрос изменил ход ее мыслей, и ей пришлось возобновить свой рассказ с более позднего момента.

– В последний день сессии наша мисс Оливер и я, мы пошли съесть шоколад со взбитыми сливками в лучшем кафе Женева – не могу припомнить, как оно называлось. Перед мной стоит вид «Кафе Рояль» с зеркальными стеклами в окнах, разукрашенных золотыми завитками, но нет, безусловно, нет! Может быть, это был «Мажестик»? Даже если...

– Имеет ли это значение? – спросила Дороти.

– А что вообще имеет значение? – отвечала Амабель. – О, я думаю, это было «Кафе дез Альп». Да, это было там. Там из окон открывается великолепный вид на озеро, но посетители больше смотрят на двери в ожидании знаменитостей. И вот, пока мы ждем наши сливки, кто-то входит в ка-

фе и придерживает дверь, впуская старую даму, опирающуюся на руку молодой девушки. Они выглядели, как Смерть и Дева. Думаю, не было в кафе ни одного человека, который не бросил на них взгляда. Девушка за конторкой сдвинула в сторону маленькую зеленую шторку на боковом окошке и наблюдала, как они медленно шли к столику в центре зала, и никто из официанток не двинулся с места, пока они не дошли до него. Когда они устроились за столом, старуха повернулась и оглядела зал, и я ясно увидела ее лицо. Это была фрау фон Бернсдорф, но превратившаяся в старую ведьму. И все же в ней оставалось нечто от ее прежнего «я», которое не могло принадлежать никому иному. Мисс Оливер увидела сходство, как только я указала ей, но сначала не могла поверить своим глазам. Она взглянула еще раз и сказала, что я, вероятно, права. А когда бедняжка стала нетерпеливо дергать лорнет, зацепившийся за складки ее лиловой шали, мы с мисс Оливер переглянулись – мы так часто видели, как она лорнировала ряды столов на заседаниях комиссии. Это и ее лиловая шаль окончательно убедили нас, и с этого момента у нас не оставалось сомнений. Мисс Оливер думала, однако, что совершенно невероятно, чтобы женщина, еще несколько месяцев назад полная жизни, могла превратиться в совершенную развалину после одного удара.

– Такое случается каждую неделю, – сказала Дороти. – Да что там, Амабель, это может случиться... – она осеклась и завершила фразу, промямлив: – ...это бывает часто.

Амабель поспешила вернуться к своей истории, с легким чувством вины за то, что привела в смущение невестку. Но из рассказа улетучилась жизнь; она пустилась в ненужные многословные описания. Когда наконец она позволила себе взглянуть в сторону мойки, то обнаружила, что осталась в кухне одна и, судя по полной неподвижности двери, была одна уже по меньшей мере минуту. Дороти, вероятно,

выбежала из кухни на телефонный звонок с извинениями, произнесенными вне зоны слышимости свекрови. «Я скучная старуха, – снисходительно сказала себе Амабель. – Пойду в свою комнату и останусь там».

Оглянувшись назад у кухонной двери, она вернулась к столу и, обмотав шнур вокруг основания тостера, поставила его на полку рядом с утюгом. У всех членов семьи, даже у вечно спешащей Цинтии, был пунктик: содержать кухню в порядке. Это было, впрочем, нетрудно, нужно было лишь убедиться, что ничего не осталось на столе, повесить салфетки и полотенца на крючки и убрать остатки еды в холодильник.

Выходя из холла, Амабель едва не столкнулась с Доротой.

– Это Том? – спросила она, хотя сияющие глаза Дороты сказали ей все. – Он придет?

Дороты попыталась придать своему голосу безразличие, даже суровость.

– И ни слова извинения! Просто сказал, что придет домой к обеду. Считается, что все мы должны быть счастливы.

– Так оно и есть, – сказала Амабель.

– Я сказала ему, что если он не придет вовремя, то никакого обеда ему не достанется, но сомневаюсь, чтобы он обратил на это внимание. – Дороти прошла мимо, улыбаясь и напевая, а после двух хлопаний кухонной двери Амабель услышала, как она запела во весь голос.

Амабель решила позвонить Деборе, но прежде чем подойти к аппарату, открыла дверь в соседнюю комнату и обнаружила Чарльза дремлющим перед телевизором, с трубкой, зажатой в уголке рта.

– Ты перетерпишь, если я позвоню Дебби? – спросила она.

Не вынимая изо рта трубки, Чарльз отвечал, что он надеется, что ее разговор займет не более получаса. В конце концов в соседней комнате проходил урок музыки.

Теперь, когда он упомянул об уроке, тугие уши Амабель различили бойкую мелодию сонатины Кулау, разыгрываемой с ненавистью и раздражением. Она вручила Чарльзу «Сайентифик Америкен» и пообещала не занимать телефон слишком долго.

Он принял журнал с неодобрительной улыбкой, призванной смягчить любую грубость.

– Я только... – сказала Амабель, закрывая дверь. Она начала набирать номер, но тут же откинулась в кресле с возгласом: «Я слышала, Том возвращается!» Так и не поняв, расслышал ли Чарльз ее через закрытую дверь, она положила трубку, снова взяла ее и опять принялась медленно набирать номер.

Глухое «алло» ударило по ее барабанной перепонке.

– Доброе утро, бабушка Баттс, – радостно воскликнула она, но ответивший ей голос был ясен и холоден.

– Это Сюзанна. Я позову маму.

Проклиная свою неловкость, Амабель принужденно засмеялась в трубку и с облегчением услышала, как голос Дебби, мягкий, делано сердечный, перевел разговор в другую тональность:

– Алло! О, привет, Ам!

– Ах, дорогая, я снова приняла Сюзанну за бабушку Баттс! Голос Деборы стал несколько суше:

– Сью в плохом настроении... О, ничего особенного. Воскресное утро. Дочь поздно выходит к завтраку. Отец ворчит. Дочь огрызается.

– А бабушка Баттс, я полагаю, улыбается в тарелку.

Бабушка Баттс, как оказалось, была отпущена на выходные.

– Ну, чудно! Я хочу сказать, это, по крайней мере, уже что-то. А что поддельвает Ианта?

Ианта ничего не поддельвала. По правде говоря, она еще не вставала.

За этим последовала короткая пауза, чтобы привести в порядок нервы; тут Амабель вспомнила, что у нее есть новости.

– Звонил Том. Он возвращается.

После обмена несколькими едкими замечаниями по этому поводу Дебби спросила у матери, как она спала. Амабель задала встречный вопрос, и они разъединились почти одновременно, но все же Амабель успела услышать конец короткого резкого вздоха.

– Как часто звонишь по телефону, чтобы развлечься, – сказала она про себя, – а заканчиваешь разговор в сплошных огорчениях.

Едва войдя в свою комнату, Амабель ударилась пальцем ноги о медную ступку с пестиком, которую иногда использовали, чтобы подпереть кухонную дверь. Беззлобно чертыхнувшись, она выпихнула их в коридор другой, неушибленной ногой.

Неряшливая обстановка ее комнаты не улучшила ее настроения. Нелегко содержать комнату, в которой живешь одна, так же аккуратно, как комнату, которой пользуется вся семья. На миг ее внимание привлек старый портативный «Ремингтон» на столе – она подняла с пола крышку и накрыла его. Ее душевное равновесие было поколеблено, и теперь уже не имело смысла пытаться закончить длинное письмо к подруге, начатое несколько дней назад, ни тем более прибавить несколько строчек к своим мемуарам. Амабель зевнула. Она пожалела, что в ящике письменного стола нет коробки конфет, но потом порадовалась, что ее там нет. Можно было сыграть с собой в анаграммы, но все были дома и в любой момент кто-либо из членов семьи либо Фрэнсис мог застигнуть ее за этим занятием и подумать, что у Амабель нет другого дела, как с утра до вечера играть в анаграммы. Или могло бы прозвучать столь же малоприятное

предложение: «А не пойти ли тебе пройтись, чтобы нагулять аппетит к обеду?» Больше всего ей хотелось улечься, хотя она встала всего пару часов назад после вполне сносной ночи. «Так я и сделаю», – сказала она себе.

Как раз в этот момент отворилась дверь и в проеме появилось серьезное заискивающее лицо. Дороти хотела занять пять шиллингов до четверга: у Чарльза не осталось пенициллина. Она вошла в комнату, чтобы помочь Амабель найти ее кошелек, такой тонкий и темный, что был почти невидим, хотя Амабель была уверена, что он, как всегда, положен поверх одного из рядов книг. «Но на какой полке?» – спросила Дороти, и Амабель пришлось признать, что она пользовалась разными полками, иногда выбирая для этой цели ряд высоких томов в самом низу, а иногда собрание Троллопа. На этот раз кошелек лежал поверх словарей и справочников.

– Хотела бы я знать, чего ради я храню санскритский словарь моего отца? – спросила Амабель.

– Чтобы класть на него кошелек, – ответила Дороти.

Амабель высыпала горсть монет в ладонь невестки.

– Не лучше?

– Стоит пройти одному, как вскочит другой, – жалобно сказала Дороти. Фурункулез Чарльза был чем-то вроде совместной тайны двух женщин, о которой никогда не упоминалось в его присутствии.

Дороти ушла, тихим движением, но плотно затворив дверь, и теперь Амабель была уверена, что никто не потревожит ее до обеда. Она подошла к книжным полкам, желая выбрать какую-нибудь книгу, читанную несчетное число раз, но не слишком недавно. Ее правая рука начала путь с буквы А, двигаясь от «Арабских ночей» к «Доводам рассудка», и остановилась на мгновение, чтобы взять со своего места «Мэнсфилд Парк»⁴ и переложить книгу в левую руку.

Потом правая рука продолжила свой путь, задерживаясь на «Проселке»⁵, лондонском дневнике Босуэлла⁶, «Неспокойной гробнице»⁷ – все, все слишком знакомо. «Эгоист»⁸ стоял на букву *E*, и она отправила его на свое место, тремя полками ниже. Почувствовав, что движение получилось слишком грубым, она с раскаянием погладила корешок книги, прежде чем пропустить длинный ряд книг на *D*, и затем, совершенно пренебрегая Фрейдом и Флобером на букву *F*, остановилась на *G*. «Любовь»? «Назад»⁹? Не для чтения в постели. Ищущая рука опустилась: «Мэнсфилд Парк», пожалуй, годится.

Огромная красного дерева кровать Амабель удобно вписывалась в продолговатый альков, позволявший в считанные мгновенья превратить спальню в гостиную – достаточно было задвинуть тяжелые синие занавески, и кровать со шкафом для белья исчезали из виду. Теперь она, напротив, раздвинула их и, с трудом откинув тяжелое покрывало (и когда это Дороти нашла время убрать постель?), улеглась на одеяло, не снимая халата, и натянула плед по самые плечи. В комнате с задернутыми шторами было темно, и она включила настольную лампу, прежде чем откинуться на подушку и открыть книгу на первой главе. «Около тридцати лет назад, – читала Амабель, – мисс Марш Уорд из Хантингдона, владевшей всего семьюстами фунтами, посчастливилось пленить сэра Томаса Бертрама из Мэнсфилд Парк, что в графстве Нортхэмптон, и быть, таким образом, возведенной в достоинство жены баронета со всеми приятными последствиями в виде прелестного дома и крупного дохода».

Царапанье у двери и короткое тихое повизгивание заставили Амабель поднять голову. Она могла не услышать электрического звонка, но смиренная мольба Вогса впустить его никогда не проходила мимо ее слуха. Когда она открыла дверь, пес поколебался на пороге, глянул призывно вверх, жалобно – вниз и наконец, понурился тяжелой головой, вилляя

лохматым хвостиком, вошел в комнату и выжидающе остановился на краю ковра, пока Амабель закрывала дверь и допускала его к себе. Тогда только он проковылял к креслу в другом углу комнаты и там вновь остановился, дожидаясь разрешения запрыгнуть. Короткий прыжок, казалось, потребовал от него усилий, и, очутившись на мягком сиденье, он лег на бок, вяло согнув передние лапы и сцепив их с задними. Краешек розового языка и один блестящий зрачок были единственными светящимися точками на его плотном черном туловище. Амабель попыталась расшевелить его ласковыми и глупыми словами, но ничто не блеснуло из щелки за нависшими бровями, лишь один раз вильнул кончик хвоста. Вог спал. «И я тоже засну», – сказала Амабель.

Открыв глаза в густом мраке, Амабель включила лампу и с удивлением обнаружила, что уже половина первого. Она не могла точно припомнить, когда выключила свет, но было ясно, что проспала она полдня и полночи. С одной стороны, это неплохо, но с другой – как ей справиться с теми часами, что еще оставались до рассвета? Она откинула плед, встала с постели и раздвинула шторы. Комнату залил свет, и она поняла, что проспала не более полутора часов. Вог выпрямился на сиденье кресла; уши его стояли торчком, как две башенки. Увидев Амабель, он спрыгнул на ковер и затрусил к двери, очевидно возбужденный отрывочными звуками в кухне. Амабель прислушалась – конечно же, Том. Выпустив Вогса сквозь узенькую щелку, она тихо прикрыла дверь, не выглянув из комнаты. Отчасти она поступила так, потому что не хотела, чтобы ее видели мятую и взъерошенную после сна, но, помимо того, она решила не делать «события» из возвращения Тома. А продолжительное рычание и истерический визг подсказали ей, что Вогс пресмыкается перед вернувшимся блудным сыном (ее-то он не встречал

с таким восторгом, когда она возвратилась после летнего отдыха).

Теперь Том был дома, и по распорядку за этим должен был следовать обед. Амабель пора было одеваться, но вместо этого она сидела на краю кровати, пытаясь припомнить свой сон. Отдых не освежил ее, более того, она чувствовала наступление депрессии. Подобно больному, не знающему, какую таблетку принять, прежде чем он разберется, откуда исходит его боль, она пыталась определить источник своего беспокойства. *О рыцарь, что тебя томит?*²¹⁰ Все возрастающая тревога была слишком сильна, чтобы приписать ее обычным неурядицам. Опыт подсказывал, что нестерпимая тревога всегда связана с чувством вины, и ее мысль, пропутешествовав в прошлое, быстро остановилась на рассказе, который ей не дали закончить. Это была та самая история, которую она когда-то рассказывала матери, и закончила она рассказ на том же самом месте, не зная тогда его окончания. Теперь, почувствовав озноб от беспечных слов Дороти «это может случиться с...», понуждаемая неподкупной памятью, она волей-неволей вспомнила страдальческий взгляд своей матери, который вызвала рассказанная история. Но мама, бедняжка, беспокоилась напрасно. Затяжная болезнь, разрушительный паралич, которых она так боялась, миновали ее; она умерла без малейшего предвестника, мирно (кто может это знать?), во сне. Перед смертью Амабель не видела ее больше года, поэтому не было ни потрясения, ни даже чувства утраты. Но мертвые терпеливы: они ждут, чтобы мы поняли то, что были не способны понять, пока они были с нами, и теперь Амабель вспоминала мать с болью и угрызениями совести.

Амабель сопровождала мужа в Берлин вскоре после поджога Рейхстага. Дипломатические приемы устраивались реже, чем прежде, но они еще происходили, и на одном из

них некая шведская дама, с которой Амабель встречалась в Женеве и не видела с тех пор, подошла к ней с вопросом: «Одна ваша знакомая хочет знать, помните ли вы ее?» Тогда Амабель поняла, что в фигуре, стоящей в нескольких шагах за шведкой, есть нечто особенное: аура, окружающая неузнанного человека, который узнал тебя. На миг аура уплотнилась, а потом рассеялась совершенно, когда Амабель поняла, что перед нею фрау фон Бернсдорф. Она была в своем истинном образе, живая и элегантная фрау фон Бернсдорф из Женевы, а не та развалина, которую втащили в «Кафе дез Альп». Волосы ее были совершенно седые, но уложены ровными прядями, уже слегка старомодными; лорнет заменили очки в роговой оправе, а в вырез ее платья была заправлена полоска оранжевого тюля вместо пышных складок пастельного шифона, как помнила Амабель. Морщины стали обширнее и бледнее, но черты лица сохранили твердость и симметрию: не осталось и следа от поразившего ее паралича.

Амабель пробормотала нечто не слишком тактичное по поводу третьей конференции по разоружению, когда ее приятельница так сильно болела. Фрау фон Бернсдорф подняла брови. Она ни разу не была в Женеве после второй сессии, произнесла она со строгой ноткой. И она никогда не была сильно больна. Почти тут же она ушла вместе с дамой из Швеции. Возможно, она приписала смущение Амабель причинам, связанным с политикой. «Вот тебе и зрительная память», – вздохнула Амабель.

Хождение взад и вперед по холлу, звяканье тарелок на подносе, высокий голос в чем-то оправдывающейся Цинтии, грубоватая реплика и хохот Тома, хлопанье двери и воцарившееся затем молчание подсказали Амабель, что все уселись за обеденным столом. «Они забыли обо мне или, быть может, думают, что я заснула», – подумала она. Но

тут в дверь сильно постучали и, едва дав ей время накинуть халат поверх нейлоновой сорочки, в комнату вошел Том. «Обед готов», – сказал он.

– Здравствуй, Том, – Амабель двинулась к нему, и он сделал шаг навстречу и наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб – за последние несколько лет, когда Том так сильно вытянулся, сама она, напротив, согнулась. Амабель поцеловала его в ярко-красную щеку, а потом подставила свою собственную под поцелуй его пухлых детских губ. – Так-то лучше, – сказала она. – Ненавижу односторонние поцелуи. Скажи, что я сейчас буду.

Она причесалась перед зеркалом в ванной комнате, собрала волосы в пучок на затылке и брызнула в лицо тепловатой мягкой водой. Взгляда в зеркало было достаточно, чтобы поправить шпильки в волосах, но, моя руки под краном, она внимательно изучала свое отражение, чтобы сохранить на лице ту мягкость и ту живость, которые навеяла встреча с Томом.

Когда она вошла в комнату, все взглянули на нее, а Цинтия встала с «места геммы» и пересела на пустующий стул рядом с Томом. Бабушка терпеть этого не могла, и все знали, что она терпеть не может. Неужели она предпочла бы, чтобы они обходили стороной ее место у окна, даже когда ее нет в комнате? *Да.*

– Где же Фрэнсис? – спросила Амабель, разворачивая салфетку.

– Уехала домой покормить Джона, – ответила Дороти. – Она обещала вернуться в три к бриджу.

Посвященная еде часть обеда (так это называла Цинтия) была окончена в половине третьего, и Дороти спросила, не хочет ли Амабель вздремнуть до прихода гостей. «Мы с Чарльзом зайдем их в гостиной, пока вы отдыхаете».

– Я уже отдыхала, – сказала Амабель. – Я не хочу проспать всю свою жизнь. *А почему бы и нет?*

– Я принесу столик для бриджа, – сказал Чарльз. – Я брал его, чтобы просушить негативы. Принести высокий стул для Гнома?

– Нет, – ответила Амабель, – лучше будет энциклопедия.

Крошечный мистер Каррузерс был четвертым членом их карточной компании. Амабель, полагавшая, что признание чьей-то физической немощи причиняет меньше боли, чем попытка ее игнорировать, всегда громко и весело требовала принести том Британской Энциклопедии и положить его на стул мистера Каррузерса, стоило тому только подойти к столу.

Через час в квартире царила такая же тишина, что и в морской раковине на камине. В комнате Амабель игроки в бридж почти не разговаривали; Чарльз и Дороти дремали в своих постелях, а Вогс похрапывал на коврик между кроватями; Цинтия намеревалась удрать из дому, прежде чем ее остановит мать; а Том, свернувшись на диване в столовой, не сняв обуви, спал мертвым сном, переваривая свой, должно быть, первый полноценный обед за последние три дня.

– Все уязвимы¹¹, – объявил Джон Лидделл.

– Телефон! – сказала Фрэнсис.

– Я подойду, – ответила Амабель, которая пропускала эту игру. – Не будем будить детей.

Звонили как раз ей. Это была Дебора.

– Нет, все в порядке, – сказала Амабель. – Я пропускаю эту игру. Фрэнсис, Джон и милый Гном пришли помочь мне скоротать тягостные дни. Не знаешь, что я имею в виду? Так посмотри в словаре: «дни», «тягость», «смерть»...

Амабель оставила дверь комнаты открытой, и игрокам было слышно каждое ее слово. Поэтому, когда она вернулась к столу, ее встретили три улыбающихся лица. Никто

не выказал ни малейшего смущения. Мистер Каррузерс давным-давно открыл, что в их кругу он зовется гномом. Против этого прозвища он имел не больше (и, возможно, не меньше), чем придворные шуты в старину против того, чтобы их называли уродами или карликами.

– Как поживает моя дражайшая Дебора? – спросил он с присущей ему изысканностью.

Амабель зевнула и заняла свое место за карточным столом.

– Все та же смесь бедности, голода и грязи.

Фрэнсис едва заметно выразила неодобрение.

– Ты что-то сказала? – мягко произнесла Амабель.

– Ничего. Я ничего не сказала.

И снова Джон Лидделл напомнил им, что они уязвимы.

Шум в прихожей возвестил о возвращении Цинтии. За ним последовали более сложные звуки. Шаги взад и вперед, кислые упреки и защитные реплики, разговор о невымытой посуде. Чарльз произнес несколько слов спокойным авторитетным тоном; звук льющейся воды между звуками открывающейся и закрывающейся двери; громкий зевот Тома. Хлопнула входная дверь. Последовавшее молчание было вскоре прервано приглушенным визгом в прихожей.

Фрэнсис, пропуская очередную игру, встала и потянулась.

– Схожу поставлю кофе, – сказала она и, не дав Вогсу времени на церемониальные колебания, мягким движением впихнула его под зад в комнату. Сбитый с толку, он стоял на краю ковра, переминаясь с лапы на лапу; потом, выгнувшись, подошел к Амабель, маша хвостом, и обнюхал ее лодыжки.

– Да, да, ты меня очень любишь, когда никого нет дома, – сказала Амабель.

Роббер был окончен, и они живо обсуждали игру, когда появилась Фрэнсис с подносом.

– Что ты там делала? – с подозрением спросила Амабель. – Надеюсь, не мыла посуду? Дороти будет в бешенстве.

– Мне пришлось ею немного заняться, чтобы подобрать к столу, – миролюбиво отвечала Фрэнсис. – Там еще полным-полно осталось.

Кофе был выпит в расслабленном молчании, словно всеми внезапно овладела усталость. Затем сыграли еще один роббер, посредине которого стало слышно вернувшееся семейство. Амабель хотелось бы спросить, что они видели, но она знала – они не войдут в ее комнату; они никогда не заходили, когда она принимала своих друзей. Но кто-то приоткрыл дверь и выпустил Вогса, которому пора было на вечернюю прогулку.

И вот сыгран последний роббер и сказаны слова прощания. Джон Лидделл стоял, глядя на Амабель, как будто снова собирался произнести «все уязвимы», но лишь отвесил полупоклон и поблагодарил за чудесный вечер. Мистер Каррузерс склонился над ее рукой, словно хотел поцеловать, но не сделал этого. Фрэнсис и Амабель обменялись заговорщицкими взглядами и кивнули друг другу.

Когда дверь тихо затворилась за ними, Амабель вышла в прихожую потушить свет. «Если Чарльз забыл оставить мне газету, он негодай, – подумала она. – Конечно, не оставил, он никогда этого не делает. И, наверное, Том утащил ее себе, не подумав о бедной старой бабушке, которая лежит без сна и которой нечего почитать. Если он ее взял, я вытащу ее у него из-под подушки, разбужу я его или нет – как будто его кто-нибудь в силах разбудить».

Но «Обсервер», сложенный вдоль, лежал на телефонном столике. «Ну а почему бы и не быть готовой к худшему, – подумала она. – Это страховка от неприятностей».

Как всегда воскресным вечером, Амабель вспомнила, что ее муж начинал дома трудный кроссворд с греческим названием и забирал его с собой в Форин-офис, чтобы закончить, как он говорил, *in Collegium*, – и приносил газету, чтобы они с мамой могли заняться легким кроссвордом. Ей теперь редко удавалось довести дело до конца; в свое время у ее мамы это получалось лучше.

Амабель разделась, пробежала взглядом первую страницу, но, оказавшись в постели, открыла литературный раздел. Всю страницу занимала статья о Мередите; окончание предполагалось на следующей странице, и тут Амабель внезапно вспомнила свой сон. Ей приснилось, что Мередит умер и она тому виной. Целых десять минут она лежала на спине с сомкнутыми глазами и пыталась найти ассоциации. Ничего не приходило в голову, но депрессия вернулась в полную силу. Она знала, что справиться с ней можно, вспоминая приятные события прошедшего дня – беседа за утренним столом была очень мила; Том вернулся; обед удался; партия в бридж сложилась успешно; Чарльз и Вогс были милы, а Дороти приветлива. Но что во всем этом пользы, если в конце дня ее ждал Мередит?

Теперь уже не обойтись без золотистой таблетки, которая приносит трехчасовой сон, и зеленой таблетки, которая дает сон в оставшуюся часть ночи. Амабель с усилием встала с постели, чтобы сходить за водой – тепловатая будет лучше всего: таблетки растворяются в ней легче. *Мередит.*

СТАРУХА

Мало кто был способен заметить разницу в возрасте обеих мисс Гулливер. Известно было, что одна из них старше другой года на три, на четыре, но кто именно, знал только страхового агент. Они были не так уж и стары, то есть не восьмидесяти и даже не семидесяти лет. Да так, знаете ли, лет шестьдесят с чем-нибудь, а впрочем, уже под семьдесят. Пожилые дамы. И вовсе они не так уж похожи друг на друга. У одной из них были голубые глаза и выступающие зубы, а у другой бородавка на подбородке и очки; но люди самым бесстыдным образом приписывали мисс Мадж зубы мисс Джессики, а бородавку мисс Джессики – мисс Мадж, и никак не могли припомнить, кто из них кто. Никто не задерживался на них взглядом дольше, чем нужно, чтобы в мозгу успела запечатлеться мысль: «Я видел этих мисс Гулливер» или, при встрече лишь с одной из них: «Я видел одну из этих мисс Гулливер сегодня утром на почте». Даже их дальняя родственница, жившая в Хеддерсфилде, не могла отличить одну от другой или, вернее, как и все остальные, не знала, кто есть кто, и когда – не слишком-то часто – она приезжала в Лондон и на ее стук дверь открывала одна из сестер, ее так и подмывало сказать: «Ты становишься все больше похожей на Джессику», даже не зная, кто стоит перед ней. А однажды она сказала по секрету мисс Мадж: «Ни за что не скажешь, что ты старшая», хотя прекрасно знала, что старшая на самом деле мисс Джессика.

Когда-то все было по-другому. Для отца и матери они были Джесси и Мадди, и никто не забывал, что старшая из них

Джесси. Во все время их детства Джесси считалась умной девочкой, а Мадди веселой и доброй. Тогда не возникало сомнений насчет того, кто из них старше на два с половиной года. Когда они шли куда-нибудь по поручению родителей, а позже в школу, дорогу, по которой они следовали, всегда выбирала Джесси, а Мадди плелась за ней с яростью в сердце. И даже если Мадди спрашивала «Может, порисуем?» или «Может, полепим из пластилина?», выбор всегда оставался за Джесси. Книги в библиотеке тоже всегда выбирала Джесси, и Мадди приходилось читать «Маленьких женщин»¹ или «Эрика, или Мало-помалу»², хотя на самом деле она любила рассказы о животных. И все же она всегда уступала, и они всегда были неразлучны. Но отец и мать умерли давным-давно, а они теперь стали мисс Джессика и мисс Мадж, и мир, безразличный к ним, не отличал их друг от друга.

Тень сомнения витала даже над кошкой обеих мисс Гулливер, ибо Нельсон даже в десятилетнем возрасте обладала той фальшиво молодежной внешностью, которую в результате постоянной опеки и сюсюканья приобретают иногда и немолодые особы. И почему существо, столь несомненно женственное, получило вдруг имя Нельсон?

Нельсон появилась на свет в компании четырех других котят в день битвы при Трафальгаре³; всех их молочник объявил мальчиками и под этой маркой распределил среди друзей и знакомых. Когда, почти одновременно, все они произвели на свет еще по пять котят, в пяти лондонских домах царил ужас. Нельсон производила потомство примерно раз в полгода, и в конце концов обе мисс Гулливер поняли, что не в силах посвятить жизнь подыскиванию — раз в несколько месяцев — приюта для новорожденных котят. Но перспектива периодического уничтожения невинных существ ужасала их котололюбивые сердца, и вновь призванный на совет молочник посоветовал отнести Нельсон к ветеринару.

Это и было сделано после долгих терзаний; за обезболивание заплатили лишние полкроны, и Нельсон вернулась домой, надежно избавленная от нового потомства. До этого события она и сама была игривой, как котенок, а теперь стала степенной и сонливой и едва подымала голову, когда перед ее носом бросали шарик для пинг-понга, и презрительно отворачивалась от заводной мышки. Все же ее хозяйкам стоило труда не подпускать ее близко к аквариуму; а еще она могла часами сидеть на подоконнике, наблюдая за ласточками, порхающими меж ветвей старого платана в саду, время от времени вытаскивая из-под себя сложенные лапы и нервно ерзая. А то, бывало, изогнутое перо от подушки, парящее над ковром, или пушинка, колышущаяся в солнечном луче, вдруг будили ее заснувшие рефлексy, и мисс Джессика с мисс Мадж прижимались друг к другу, когда покоящаяся статуэтка вдруг оживала и их одалиска прыгала на пушинку в воздухе или, растопырив лапы, бросалась на порхающее перышко. Но ее хищнические инстинкты угасали, и уже никогда она не приносила к ногам своих хозяек мертвую мышку или колышущуюся массу лягушачьего тельца.

Затем она утратила и прожорливость, которая так восхищала ее хозяек и которую они старались удовлетворить с таким радостным рвением. У нее пропал аппетит, и нечастого гостя, пришедшего в дом в тот момент, когда кошку уговаривали поесть, мисс Джессика (или это была мисс Мадж?) встречала, приложив палец к губам, тогда как мисс Мадж (или мисс Джессика) сидела, положив на колени вязанье. Оглянувшись по сторонам, гость не находил ничего, кроме кошки, лакавшей молоко из блюдца с того края, что был подалеже от ее подобранных под себя лап. И лишь когда она, лениво облизываясь, отворачивалась от блюдца и мощным прыжком забиралась на диван, мисс Джессика (или, быть может, мисс Мадж) предлагала посетителю стул и с заиски-

вающей улыбкой объясняла, что при малейшем беспокойстве Нельсон может отказаться от еды.

Четвертым в этой не слишком жизнерадостной компании был Сильвер, рыба-гольян. В гостиной дедушкины часы с маятником отмеривали секунды, а те слагались в часы, возвещавшие о себе тяжелым звоном; но раскатистые удары, от которых углублялись морщины на лицах обеих мисс Гулливер и чья тяжесть давила даже на более упругую плоть Нельсон, что могли они сделать с двухдюймовой рыбкой, то и дело выскакивавшей из гущи крохотных водорослей и снова погружавшейся воду в тот самый миг, когда казалось, она уткнется своим тупым носом в бортик аквариума? Глаза Сильвера оставались выпуклыми, ни одна бороздка не пролегла по его сверкающей броне, и его четкие обводы не расплывались от возраста. Гости иногда удивлялись, почему мисс Гулливер не заведут попугая. Птица не лучше, но и не хуже, чем рыба, годится для совместного проживания с кошкой, но зато она способна доставить гораздо больше радости. Когда-то Сильвер был им «послан», оставлен чьей-то неведомой рукой в банке у задней двери дома, и у них не хватило духа отослать его обратно. Да и куда бы его можно было отослать? И они внесли банку в дом и поставили ее на пол в кухне. Тут же появилась Нельсон, хотя перед этим в ее поисках был тщетно перерыт весь дом. Словно замороженные, они смотрели, как кошка запустила лапу в сосуд, быстро выдернула и стряхнула с нее холодные капли. Машинальным движением она облизала подушечки под когтями, не отводя хитрого, злобного взгляда от маленького серебряного бумеранга в банке. Во второй раз жестокая лапа погрузилась в воду глубже и появилась на поверхность не пустой, но гольян набрал в жабры воздух, метнулся вверх и камнем упал обратно в сосуд. Нельсон сделала еще одну попытку, проведя по поверхности воды лапой, но струйка,

плеснувшая вверх и ударившая ее в нос, казалось, отбила у нее всякую охоту. Раздосадованная и сбитая с толку (мисс Джессика и мисс Мадж знали и умели понимать все выражения ее мордочки), Нельсон подняла лапу, быстрым коротким движеньем языка облизала ее, грациозно поставила на пол и засемила из кухни. Мисс Джессика сделала ужасное предложение сварить рыбу Нельсон на ужин, но мисс Мадж поняла, что она говорит не всерьез. Она сказала это «нарочно», чтобы подразнить сестру. Мисс Мадж поняла это по тому движенью, с каким мисс Джессика подняла банку из-под варенья и выгнала на задний двор Нельсон, которая к тому времени вернулась и смотрела на сосуд блестящими глазами.

Сильвер был водворен в аквариум, который мисс Мадж достала из шляпной коробки, хранившейся на чердаке. Об этом аквариуме сестры вспоминали с угрызениями совести, которые трудно передать словами. Когда-то в нем томились три золотые рыбки, утешение последних лет их прикованной к постели матери. Все они померли вскоре после ее похорон, ибо ни одна из сестер (они были так молоды и так бессердечны) не могла согласиться с тем, что *именно она* должна давать рыбкам корм...

Мисс Мадж долго сидела на полу чердака и, держа в руках аквариум, смотрела на него со слезами на глазах. Сквозь его стеклянную грань ей была видна блестящая черная стенка шляпной коробки; поуже внизу, она изящно расширялась кверху, подобно распускающемуся цветку; или, быть может, она была похожа на перевернутую шляпу, точнее, цилиндр. Когда-то в ней и в самом деле находился цилиндр, и на дне ее, завернутая в шелковистую бумагу, еще лежала зеленая бархотка, предназначенная для того, чтобы приглаживать глянцевиные бока шляпы. Цилиндр принадлежал ее отцу; будучи истинным воплощением его достоинства, шляпа извлекалась на свет лишь по поводу свадеб и похорон, а также

для периодического осмотра. Еще долгое время после смерти отца коробка стояла под супружеской кроватью, но когда умерла и мать, мисс Джессика отнесла коробку на чердак, а сам цилиндр отправила на распродажу. Единственный раз в году, в день Гая Фокса⁴, за покупками отправлялась лишь одна из мисс Гулливер; другая оставалась дома с Нельсон, закрыв окна и задернув шторы, — хлопки петард и хриплые крики приводили Нельсон в истерическое состояние, и они не любили оставлять ее дома одну. И вот как-то раз в день Гая Фокса мисс Мадж узнала цилиндр своего отца, пляшущий над страшным бледным ликом чучела, которое провезли мимо нее на тележке. Позже днем она прошла к тачке, брошенной в углу пивной. На ней осела фигура с надвинутым на лицо цилиндром. Этой ночью ей снились сны, в которых смешались Панч, Джуди, собачка Тоби⁵ и вместе с ними безвольная фигура, устремляющаяся вниз, всё вниз, во мрак. А теперь она сидела с хрустальной чашей аквариума на коленях и вспоминала, как отец любил ее больше всех и как они с Джесси дурачились, и целовались, и ссорились, но Джесси всегда делала все по-своему... И как проходила жизнь, а с ними так, по сути, ничего и не случилось.

Сильверу угрожало скорее чрезмерное внимание, чем пренебрежение. Мисс Мадж проявляла к нему больше заботы, чем того требовали его примитивные нужды; она вечно беспокоилась, что он выглядит голодным или что вода несвежая. Мисс Джессика настаивала на том, чтобы каждый день на два часа зажигать электрический свет над аквариумом, — где-то она вычитала, что рыбы нуждаются в ультрафиолетовых лучах. Мисс Мадж опасалась, что яркий свет вызовет у Сильвера головную боль, и купила синюю лампочку огромной мощности. В душе мисс Мадж не заглохла поэзия; простое созерцание могло доставить ей радость, чего она едва ли не стыдилась (она была из тех немногих жен-

щин, которые могут наблюдать за играющим ребенком, не испытывая желания потискать его). Однажды, вернувшись из церкви с утренней службы, она обнаружила, что цветок дикого ириса в бутылке на подоконнике вылез из своего кокона; не пойдя она в тот день в церковь, она могла бы стать свидетелем того, как с тихим щелчком раскрывается темница и нежный желтый цветок выходит на волю (одна лишь мысль об этом заставила ее возненавидеть викария). Она была способна освободить муху, застрявшую в сиропе, и долго-долго наблюдать за ее потугами счистить тонкую пленку, налипшую на крылышки, и смотреть, как одна за другой падают на стол крошечные капельки. И она никогда не уставала следить за четкими биениями Сильверова хвоста и за тем, как сквозь ворсинки на нем просеивается вода.

Сильвер был единственной рыбой в доме, но это служило, пожалуй, единственным и не очень веским доказательством его подлинности. Его пол был приписан ему с самого начала, хотя никто не мог бы в нем поручиться. С тем же успехом он мог оказаться и дамой. А однажды к задней двери их дома пришел маленький мальчик и принес в банке изпод варенья другого гольяна. Он объяснил, что это он в свое время оставил Сильвера у дверей их дома, а теперь принес еще одну рыбу, чтобы составить ему компанию. Эта идея привела обеих мисс Гулливер в чрезвычайное возбуждение, и рыба из банки была мгновенно перемещена в аквариум под острым, заинтересованным взглядом Нельсон. Мисс Джессика милостиво разрешила мальчику зайти на следующий день и посмотреть, как устроились две рыбы. Она даже угостила его печеньем и посмотрела ему вслед...

Вернувшись в гостиную, она застала мисс Мадж и Нельсон в необычайном волнении. Новая рыба плавала по поверхности воды кверху брюхом, а Сильвер безмятежно совершал круги на глубине. Победоносный Сильвер! Он не по-

терпел соперника в своих владениях. Конечно, обеим мисс Гулливер было жаль несчастного пришельца, но они отдали его Нельсон. И им было очень жаль, когда пришлось сказать мальчику, что новая рыба погибла. Они разрешили ему зайти в гостиную, где он уверенно объявил, что гольян, с торжествующим видом выплывший из водорослей, был именно новый гольян: он знал каждое пятнышко на его теле. Если поверить этому ужасному мальчику, то именно Сильвер был повержен, убит чужаком, брошен Нельсон для игры и, наконец, съеден ею. Но убедить в этом обеих мисс Гулливер было невозможно, они так же знали каждое пятнышко на теле своего гольяна. Мисс Мадж знала даже его особые повадки и по изменению ритма, в котором двигались его плавники, могла угадать, когда он утомлен или не в духе. И все же с этого времени Сильвер был окружен загадочным нимбом неопределенности. Был он или не был настоящим Сильвером? Обе мисс Гулливер решительно отмели все сомнения, но в глубине души ни одна из них не была уверена *вполне*.

С Сильвером в жизнь обеих мисс Гулливер вошли новые хлопоты; теперь каждая из них жила в постоянном страхе, что другая оставит открытой дверь в гостиную. И даже когда одна из них была в комнате, даже когда они были там обе, приходилось все время быть настороже, опасаясь, как бы Нельсон не прыгнула на подоконник. Однажды они подошли в последний момент и еле успели вытащить из воды ужасную, согнутую крючком лапу; да и одно лишь присутствие на подоконнике Нельсон, дремлющей, подогнув под себя лапы, заставляло Сильвера лихорадочно метаться по дну аквариума.

Каждое утро обе мисс Гулливер отправлялись на торговую улочку, параллельную Джослин Террас, за покупками для своих питомцев. Пройти туда они могли и по Бэддстрит, и по Люпен-стрит, и по Кэйтлин-плейс, ибо их дом

находился в середине Джослин Террас. Мисс Джесси была согласна идти по любой улице, лишь бы это была не та улица, которую выбрала ее сестра. Если мисс Мадж делала движение в сторону Бэдд-стрит, мисс Джесси решительно направлялась к Люпен-стрит. При малейшем намеке на то, что мисс Мадж собирается остановиться у светофора, мисс Джессика следовала к другому переходу, и мисс Мадж тащилась за ней, переживая свое поражение. Проведя однажды месяц в больнице, мисс Мадж подумала было, что теперь мисс Джесси предоставит ей, как больной, какие-нибудь привилегии. Но нет, мисс Джессика, как и прежде, выждала момент, когда ее сестра уже готова была повернуть на Кейтлин-плейс, а сама прошествовала по Люпен-стрит, уверенная, что та следует за ней. «Ну и пусть ее!» — сказала про себя мисс Мадж и упрямо потащилась по Кейтлин-плейс. С этого дня они ходили в магазины по разным улицам, и теперь возникла новая забота: надо было предугадать чужой выбор, чтобы собственный не выглядел как уступка. Обычно они, не улыбнувшись друг другу, встречались у лавки мясника или у магазина, где продавали корма для животных. Но иногда они останавливались посреди пути, пораженные одновременно одной и той же страшной мыслью, что могли забыть закрыть дверь в гостиной. Они могли бы легко избавиться от этих мук, если бы одна из них оставалась дома или если бы они ходили в магазины по очереди, но их жгучая ревность делала это невозможным.

Для безразличного взгляда проходившие годы не оставляли следов на сестрах, а небезразличным взглядом на мисс Джесси и на мисс Мадж уже давно никто не смотрел. Усиливающаяся глухота, слабеющее зрение, астматическое дыхание, рассеянность, доходящая едва ли не до потери памяти, — все это само собой разумеется, когда речь идет о старых людях. Дрожание рук и тик, заставляющий клониться

голову, замечались немногими, а кто и замечал, не мог сообразить, у кого это дрожит левая рука, у мисс Джесси или у мисс Мадж, и у кого клонится голова, у мисс Мадж или... «Ах, да помолчи же!» — говорили люди, не давая довести до конца размышления на эту тему.

Мисс Мадж ушла первой (вспомните месяц в больнице). Она ничем не болела, ни дня не провела в постели, но однажды днем, когда они молча сидели со своим шитьем перед камином и мисс Джессика подумывала, не пришло ли время спросить, не пора ли ставить чайник, шитье упало на колени мисс Мадж и она тихо позвала: «Джесси!» И это был конец. К ужасу мисс Джессики, тут же Нельсон с громким мяуканьем принялась прыгать на колени мисс Мадж и обратно на пол, так что пришлось прежде всего выдворить кошку из комнаты. Прислонившись высохшей щекой к еще теплой голове сестры, она подумала: «Меня назвали Джесси последний раз». И тут же в ее голове пронеслась абсурдная и едва ли не кошунственная в данных обстоятельствах мысль: «А как бы меня назвала Нельсон, умей она говорить?»

В первый раз мисс Джессика заплакала, увидев, как мисс Мадж лежит на своем ложе среди весенних цветов, безмятежная и прекрасная. Но потом ее посетила мысль: «А кто заплачет по мне, когда я умру?» — и она зарыдала.

А однажды утром она увидела, как Нельсон лежит на боку у камина в гостиной, и кончик ее языка высовывается сквозь стиснутые зубы. На следующий день мисс Джессика перенесла легкий удар. Посреди этих смертей и опустошения один Сильвер продолжал молотить воду, словно бросая вызов времени и смерти.

Мисс Джессика, казалось, мало изменилась после удара, лишь подобие борозды пролегло по ее лицу от левой брови до кончика подбородка. Из Хеддерсфилда приехала родственница, посоветовались с поверенными и продали дом и боль-

шую часть обстановки. Некоторую ценность, как оказалось, имели только дедушкины часы; их отхватил как предмет эпохи некий рышущий в поисках добычи американец, как только они были выставлены в витрине магазина на Фулхэм-роуд. Для мисс Гулливер нашли коттедж у моря и перевезли туда удобное кресло, кровать, ковер из гостиной и другие непроданные вещи. Миссис Йорк из соседнего дома обещала присматривать за мисс Джессикой, а вскоре в ее жизни появился новый Нельсон. Он объявился у ее дверей в самом плачевном состоянии после одной штормовой ночи, когда у самых утесов пошел ко дну корабль со всей командой. Была принята романтическая версия, что кот послан ей, чтобы утешить в ее одиночестве. Никто не знал, что думает по этому поводу сама мисс Джессика, но она дала пришельцу — еще наполовину котенку, черного цвета, с большой манишкой и одной белой лапой — имя Нельсон. Столь старой даме было чересчур утомительно все время удерживать шустрого кота вдали от аквариума, поэтому Сильвера пришлось отдать двум маленьким мальчикам, которые вместе с родителями останавливались у миссис Йорк. В конце концов, кот был более подходящим обществом, чем голян, да и мисс Джесси никогда не была так привязана к Сильверу, как мисс Мадж. Когда отдыхающие возвращались в город, они не взяли с собой Сильвера, и муж хозяйки отнес аквариум к морю и выплеснул его в нахлынувшую волну, где Сильвер немедленно умер.

Никто больше не называл мисс Джессику ее именем и вообще каким-нибудь именем. Рыбаки называли ее старухой, что рядом с миссис Йорк, а мальчишка-рассыльный из магазина, передавая миссис Йорк заказанные мисс Джессикой продукты, всегда добавлял: «Чай и горшочек с супом для той старушки».

Мисс Джессика спокойно перенесла зиму, а Нельсон вырос в великолепного мурлычущего кота. Когда вновь при-

шло лето, новые отдыхающие приходили погладить кота, горделиво восседавшего под сенью листвы, а маленькая девочка, остановившаяся с родителями у миссис Йорк, повадилась проводить время у дверей дома мисс Джессики, лаская животное и болтая со старой дамой. Люди видели, как шевелятся губы мисс Джессики и как маленькая Патти глядит ей в лицо, кивает с серьезным видом и, запинаясь, произносит не слишком членораздельные фразы, и удивлялись, о чем эти двое могут говорить друг с другом. Отец Патти, лет десять назад выставившийся в Королевской Академии, нарисовал крыльцо, на котором Патти сидела у ног старой женщины, только лица их были едва различимы, а Нельсона не было вовсе. Уезжая осенью в город, они забыли послать Патти попрощаться, а следующим летом мисс Джессика умерла и в ее коттедже поселилась семья из Лондона.

— Жаль, — сказала мать Патти. — Он как раз подошел бы нам. И нужно было пойти и попрощаться с бедной старушкой.

Отец Патти тоже сказал, что ему жаль. Он надеялся закончить рисунок и послать его в Академию. Но Патти разразилась слезами.

— Почему она умерла? — спрашивала она, устремив ввысь яростный взор. — Я не хочу, чтобы она умирала.



КОММЕНТАРИЙ

НЕ СЕГОДНЯ, ТАК ЗАВТРА

Название рассказа в оригинале *Any Day Now*.

¹ Баллады, популярные в кругах ирландского освободительного движения (зеленый – национальный цвет Ирландии).

² Компания, занимавшаяся различными перевозками; основана в 1860 г., просуществовала до 1933 г.

³ *Auchinleck* – маленький город в Шотландии, рядом с которым находилось поместье *Auchinleck Estate*, принадлежавшее Джеймсу Босуэллу (1740–1795), известному юристу, писателю и автору дневников. *Notre Nid, Beau Lieu, Sans Souci* – «Гнездышко», «Чудное место», «Без забот» (*фр.*).

НЕТ, ОНА НЕ ОШИБЛАСЬ

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1968).

Название рассказа в оригинале *She Knew She Was Right* восходит к названию романа *He Knew He Was Right* (1869) известного английского писателя Э.Троллопа (1815–1882), одного из любимых авторов А.Л.

¹ «Фортнум и Мэйсон» – универсальный магазин на Пикадилли в Лондоне, известный своими экзотическими продовольственными товарами.

² Речь идет об англо-бурской войне 1899–1901 гг.

³ В оригинале здесь обыгрывается имя героини рассказа: настоящее название упомянутого места – Хай Викоуб (*High Wycombe*).

⁴ Адмирал Коллингвуд (1748–1810) принял командование британским флотом в Трафальгарской битве после гибели адмирала Нельсона (см. примечание ³ к рассказу «Старуха»). Памятник ему установлен на возвышенности в устье реки Тайн.

⁵ Беда Достопочтенный – ученый-монах, живший в VII–VIII вв., автор «Церковной истории англов» и других трудов.

⁶ Ч.Э.Мьюди (1818–1856) основал сеть общедоступных библиотек в Англии, пользовавшихся большой популярностью в XIX и начале XX в.

⁷ Драма известного английского драматурга А.Пинеро (1815–1882).

В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Название рассказа в оригинале *Pru Girl*.

¹ Рамсгейт – город на юго-восточном побережье Англии, морской курорт.

² Джордж Крукшенк (1792–1879) – знаменитый английский карикатурист и книжный иллюстратор.

³ Урия Гипс – персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфильд»; его имя стало нарицательным как воплощение лицемерия.

⁴ Согласно средневековой легенде, влюбленные друг в друга Тристан и Изольда клали между собой на ложе меч, чтобы не нарушить клятву верности супругу Изольды королю Марку.

⁵ «Сад Аллаха» – любовный роман английского писателя Роберта Хиченса (1864–1950).

⁶ *La vie Parisienne* — «Парижская жизнь» (название журнала).

⁷ Англиканская церковь делится на две, несколько различающиеся по учению и обрядности ветви, Высокую и Низкую, из которых первая ближе к католической церкви, от которой англиканская откололась в середине XVI в. при короле Генрихе VIII.

⁸ Розамунда — возлюбленная английского короля Генриха II (1140—1176); в посвященных ей сказаниях упоминается, что она тайными знаками указывала королю путь в свою опочивальню.

⁹ Фил Мэй (1864—1903) — английский карикатурист и книжный иллюстратор.

¹⁰ Книга Есфирь 3, 6, 7.

¹¹ Книга пророка Ионы.

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1969).

Название рассказа в оригинале *Call It Love*.

¹ В оригинале английская речь Белкина как иностранца изобилует грамматическими и стилистическими ошибками, которые с трудом поддаются переводу.

² «Роща» (The Grove) — владение в лондонском квартале Хэмпстед; его главное, отличающееся своей красотой строение, возведенное во второй половине XVIII в., запечатлено на картине Дж. Констебля. В описываемое в рассказе время в двух соседних домах владения жили известный историк Дж. Фортеस्कью и знаменитый писатель Дж. Голсуорси.

³ Горница пророка — см. примечание ⁶ к рассказу «Да, это Даниил».

⁴ *de trop* — лишняя (*фр.*).

⁵ Белкин путает близкие по произношению английские слова *sheep* (овца) и *ship* (корабль); слово *ship* в английском языке женского рода, хотя вообще неодушевленные существительные в нем не имеют рода.

⁶ См. примечание ⁶ к рассказу «Нет, она не ошиблась».

⁷ Фрогнал – квартал в северо-западной части Лондона между Хэмпстедом и Западным Хэмпстедом; это же имя носит главная улица этого квартала.

⁸ *Populus tremula, nigra, alba* – тополь дрожащий, черный, белый (лат.).

⁹ Эта фраза, очевидно, перекликается со знаменитой строкой из пятой главы Дантова «Ада», рассказывающей о любви Паоло и Франчески: «*Quel giorno piu non vi leggemmo avanti*» («И больше в этот день мы не читали»).

АПАРТЕИД

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1970).

Название рассказа в оригинале *Apartheid*.

¹ В рассказах «русской» части сборника встречается немало русских слов и даже предложений. В переводе такие места, как правило, выделены курсивом.

² Сказки и песни (фр.).

³ Сын (фр.).

⁴ Дочь (фр.).

БАБУШКА

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1968).

Название рассказа в оригинале *Babushka*.

¹ Моей милой маленькой ученице от любящей «мисс Алли».

СВЕТЛЫЙ БЕРЕГ

Первая публикация этого состоящего из двух частей рассказа в журнале *New Yorker* (1970). Название в оригинале *Bright Shores*.

1. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

Название рассказа в оригинале *Portrait of a Lady* восходит к одноименному роману (1881) известного англо-американского писателя Генри Джеймса (1843–1916).

¹ «Морнинг стар» (*Morning Star*) – газета британской коммунистической партии, одна из немногих иностранных газет, доступных гражданам Советского Союза в описываемое время.

² *drastic* – решительный.

³ *extreme* – радикальный.

⁴ *severe* – резкий.

⁵ «Тихий американец» – роман Гр. Грина (1904–1991), пользовавшийся популярностью в описываемое время.

⁶ «Над пропастью во ржи» – роман Дж. Сэлинджера (1919–2010), исключительно популярный в описываемое время.

2. БЕГСТВО СО СВЕТЛОГО БЕРЕГА

Название рассказа в оригинале *Flight from Bright Shores*.

¹ «Кентавр» – роман Дж. Апдайка (1932–2009), популярный в описываемое время.

² Я буду любить тебя / Всегда / Настоящей любовью / Всегда – куплет из песни «Always» знаменитого американского композитора Ирвинга Берлина (1889–1991), подаренной им своей невесте в день свадьбы.

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1970).
Название рассказа в оригинале *The Boy Who Laughed* восходит к роману Виктора Гюго *L'homme qui rit* («Человек, который смеется»).

¹ Владимир Пахман (1848–1933), знаменитый пианист, особенно прославившийся исполнением произведений Шопена.

В ДОМЕ ОТДЫХА

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1970).
Название рассказа в оригинале *Holiday Home*.

¹ «Сага о Форсайтах» (1913) – роман Дж. Голсуорси (1867–1933).

² Примерно соответствует русской поговорке «Не буди лиха, пока спит тихо».

³ «Темный цветок» (1906–1921) – роман Дж. Голсуорси.

ГДЕ ТЫ БЫЛА СЕГОДНЯ, КИСКА?

Первая публикация в журнале *Blackwoods Magazine* (1973).
Название рассказа в оригинале *Pussy Cat, Pussy Cat, Where Have You Been?* – первая строка детского стишка:

Pussy Cat, Pussy Cat, where have you been?
I've been to London to visit the Queen.
Pussy Cat, Pussy Cat, what did you there?
I frightened a little mouse under her chair.

В переводе С.Я.Маршака:

- Где ты была сегодня, киска?
- У королевы, у английской.
- Что ты видала при дворе?
- Видала мышку на ковре.

¹ Строки из английской фольклорной песенки, повествующей о любовном романе Филина и Кошки: «О Киска, ты прелесть, о Киска, ты клад, о Киска, любовь моя!».

ПРОЩАНИЕ С ДАЧЕЙ

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1967). Название рассказа в оригинале *Farewell to the Dacha*.

¹ «Анаграммы» – игра в составление слов.

² Вези (Vesey) Элизабет (1715–1791) – образованная богатая дама, покровительствовавшая литературе и искусствам, основательница женского кружка «Синие чулки», где обсуждались вопросы литературной и политической жизни. Триммер (Trimmer) Сара (1741–1810) – известная английская писательница, автор главным образом произведений для детей.

³ Пепис (Pepys) Сэмюэль (1633–1703) – английский государственный деятель (первый секретарь Адмиралтейства и член парламента); остался известен своим дневником за 1660–1669 гг., который содержит ценный материал по истории того времени; впервые был опубликован в XIX в.

⁴ Integer – целое число.

⁵ Gecko (гекон) – ящерица небольших размеров, обитающая в южных странах; две последние буквы этого слова (*ko*) совпадают с принятым сокращением слова *knock-out* (нокаут).

⁶ Жоусе – английское женское имя, совпадающее с фамилией писателя Джеймса Джойса (*James Joyce*).

⁷ Jason (Ясон) – герой греческого мифа об аргонавтах. Слово *painter* (художник) может также означать швартовый канат на корабле, что делает вопрос кроссворда и особенно ответ на него совершенно загадочными.

⁸ To bellow – вопить, неистовствовать; видимо, имеется в виду сцена из Первой книги Царств (18: 10), когда Саул «бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах».

⁹ «Лексикон» – игра в составление слов; «Ридданс» и «Твистер» – варианты этой игры.

¹⁰ Трейл (Thrale) Эстер (1741–1821) – английская писательница, автор дневников. Инчболд (Inchbold) Элизабет – английская романистка, автор пьес и актриса; «Обеты любовников» (*Lovers' Vows*) – одна из ее пьес.

¹¹ Делани (Delany) Мэри (1700–1788) – английская писательница и художница, член кружка «Синие чулки».

¹² Разговор между героиней рассказа, ее приятельницами и членами семьи идет на английском языке с вкраплением русских слов, в отличие от ее разговора с хозяевами дачи (см. ниже), который идет на русском.

¹³ Бартлетт (Bartlett) Джон (1820–1909) – американский писатель и издатель, составил сборник цитат (*Bartlett's Familiar Quotations*) – труд, считающийся классическим.

¹⁴ «Как мимолетно ангела явленье...» – строка из стихотворения шотландского поэта Т. Кэмпбелла (Campbell, 1777–1844) «Радости надежды» (*Pleasures of Hope*).

¹⁵ *from heart* (правильно *by heart*) – наизусть.

¹⁶ «Мой кузен Перси» (*My Cousin Percy*) – роман (1879) К.Ф. Ли (Crocus Forster Legh), малоизвестного английского писателя викторианской эпохи.

¹⁷ Элиот (Eliot) Джордж (псевдоним М.Э. Эванс, 1819–1880) и Остин (Austen) Джейн (1775–1817) – знаменитые английские писательницы XIX в. Ниже упоминаются произведения Дж. Элиот «Миддлмарч, или История провинциального города» (1869), «Даниэль Деронда» (1876), «Адам Беде» (1859) и «Мельница на Флоссе» (1860) и Дж. Остин «Мэнсфилд Парк» (1814) и «Доводы рассудка» (1816).

¹⁸ Мистер Микобер – персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд».

¹⁹ Ричард Карстон – персонаж романа Ч. Диккенса «Холодный дом».

²⁰ Мэгги Тулливер – героиня романа «Мельница на Флоссе» (см. примечание ¹⁷).

²¹ Тэлбот (Talbot) Кэтрин (1721–1770) – английская писательница и поэтесса.

²² Уолпол (Walpole) Хорас (1717–1797) – английский историк искусств и литературы, политический деятель; Тви-тенхэм – местность на юго-востоке Лондона, где находился его дом.

²³ Картер (Carter) Элизабет (1717–1816) – английская писательница, влиятельный член кружка «Синие чулки».

²⁴ *déjà lu* – буквально «уже прочитанное» (*фр.*) – выражение, введенное по аналогии и созвучию с известным выражением *déjà vu* («уже виденное»), означающим психологическое состояние, при котором человек ощущает, что уже находился ранее в данной ситуации.

²⁵ Мистер Каркер – непривлекательный персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын».

²⁶ Книга пророка Ионы 4: 6, 7, 9.

ДА, ЭТО ДАНИИЛ

Название рассказа в оригинале *To Be a Daniel* представляет собой цитату из «Венецианского купца» Шекспира:

О, это Даниил

Пришел судить! Да, это Даниил!

Привет тебе, о мудрый судия!

Акт IV, сцена I

¹ См. примечание ¹ к рассказу «Нет, она не ошиблась».

² Блумсбери – район в центре Лондона, где селилась художественная интеллигенция.

³ Имеется в виду, очевидно, знаменитая английская писательница Вирджиния Вульф (Woolf, 1882–1941).

⁴ Карлайл (Carlyle) Томас (1795–1889) – знаменитый шотландский писатель и историк, автор «Истории французской революции». Его жена Джейн также была писательницей; их брак всеми рассматривался как исключительно неудачный.

⁵ «Урок мастера» (*The Lesson of the Master*) – роман (1892) Генри Джеймса, повествующий о причудливых связях между литературными занятиями, личной жизнью и жизнью в обществе.

⁶ В четвертой книге Царств рассказывается о женщине, устроившей над стеной своего дома горницу для пророка Елисея, где бы он мог отдохнуть (4: 8–11). Выражение «горница пророка» (*prophet's chamber*) вошло в английский язык как обозначение небольшого жилого помещения. Надо заметить, что в Библии имя этой женщины не упоминается, и то, что в рассказе она названа Суламифью, остается на совести автора или героини рассказа.

⁷ См. примечание ⁶ к рассказу «Нет, она не ошиблась».

⁸ «Вперед, вперед, пока труба зовет» – строка из припева песни «Сорок лет спустя» (*Forty Years On*), сочиненной в

1872 г. поэтами Э.Э. Боуэном и Дж. Фармером. По традиции эту песню исполняют хором выпускники британских учебных заведений.

АСФОДЕЛИ В САДУ

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1966).

Название рассказа в оригинале *Sowing Asphodel*.

Асфодель – растение с бледными цветками, которое, согласно античному мифу, на лугах загробного мира радуется своим видом души усопших.

¹ Гемма (gammer) – бабушка (*разг. англ.*); так члены семьи Литвиновых всегда обращались к А.Л. и так называли ее в своих разговорах.

² Миссис и (ниже) мистер Блум – персонажи романа «Улисс» Джеймса Джойса, написанного в форме «потока сознания».

³ Цитата из «Бури» Шекспира:

Ты не пугайся: остров полон звуков –
И шелеста, и шепота, и пенья;
Они приятны, нет от них вреда.

Акт III, сцена 2. Пер. М. Донского

В оригинале есть созвучие *voices – noises*, что делает оговорку более понятной.

⁴ См. примечание ²³ к рассказу «Прощание с дачей».

⁵ Роман (1930) английского писателя Адриана Белла (1901–1980).

⁶ Джеймс Босуэлл (1740–1795) – шотландский эссеист.

⁷ Роман (1944) английского писателя Сирила Коннолли (1903–1974).

⁸ Роман (1879) английского писателя Джорджа Мередита (1828–1909).

⁹ Романы (1945, 1946) английского писателя Генри Грина (1905–1973).

¹⁰ Первая строка из знаменитого стихотворения *La belle dame sans merci* английского поэта Джона Китса (1795–1821); перевод С. Сухарева.

¹¹ Термин из игры в бридж. Каждая игра в бридж (роббер) состоит из двух или трех партий. Сторона, выигравшая первую партию, называется уязвимой, и в следующей партии ее очки оцениваются особым образом. Если каждая из сторон выиграла по одной партии, то в решающей партии обе стороны становятся уязвимыми.

СТАРУХА

Первая публикация в журнале *New Yorker* (1973).

Название рассказа в оригинале *Old Woman*.

¹ Популярная детская книга американской писательницы Луизы Олкотт (1832–1888).

² Одна из наиболее популярных детских книг в Англии XIX – начала XX в. (1858), написанная Ф.У. Фарраром.

³ В морском сражении под Трафальгаром 21 октября 1805 г. британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромил объединенный франко-испанский флот, но сам Нельсон погиб.

⁴ Гай Фокс и его сообщники пытались взорвать здание английского парламента в день совместного заседания обеих палат в присутствии короля (5 ноября 1605 г.). Заговор был раскрыт, а Фокс казнен. Впоследствии этот день превратился в день массовых гуляний, в ходе которых жгут костры, устраивают фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса.

⁵ Фольклорные персонажи.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М.Г. Лебедев.</i> Предисловие	5
Не сегодня, так завтра	17
Нет, она не ошиблась	34
В страховой компании	54
Такая любовь	78
Апартеид	115
Бабушка	129
Светлый Берег	
1. Женский портрет	145
2. Бегство со Светлого Берега	160
Мальчик, который смеется	182
В доме отдыха	194
Где ты была сегодня, киска?	219
Прощание с дачей	234
Да, это Даниил	257
Асфодели в саду	275
Старуха	295
Комментарий	307

Айви Вальтеровна Лоу-Литвинова

Бегство со Светлого Берега

Редактор Л.С.Еремина
Художник Д.А.Сенчагов
Корректор Г.В.Заславская

Подписано в печать 3.09.2012. Формат 70x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20. Уч.-изд. л. 13,5. Тираж 500 экз.
Отпечатано в ООО «Информполиграф»
111123 Москва, ул.Плеханова, 3а.

Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья»
127051 Москва, Малый Каретный пер., 12

